

Любовь Знаковская

ШАЛОМ, МАМИ...

Повесть и рассказы

Израиль

2019

Любовь Знаковская
ШАЛОМ, МАМИ...
Повесть и рассказы

В творчестве Любови Знаковской взаимосочетаются поэзия и проза. Она издала 9 поэтических сборников, в том числе две книги для детей. За «Книгу сонетов» (2017) удостоена Премии имени Давида Самойлова.

Вышли в свет и три книги прозы, среди которых есть книга по краеведению Крыма и сборник очерков о ветеранах Второй мировой войны – жителей израильского города Тверия.

Книга в твоих руках – «Шалом, мам» – своеобразное продолжение первого, изданного в Израиле сборника художественной прозы «Мы вчерашние дети». Но если этой «неисчерпаемой и вечной теме войны» первая книга посвящена от начальной до последней строки, то вторая книга, примерно, на треть её страниц. Помимо войны, автор знакомит нас и с учительскими буднями и праздниками, и с первыми годами абсорбции вчерашних «совков» в Израиле.

Конечно, она в чём-то автобиографична, но в основном, – общечеловечна.

Редактура и корректура авторские
ISBN

Тель-Авив, издательство «Bridge»

© – Все права принадлежат автору

© Контактные данные автора:

E-mail: lubaznak@mail.ru


Тел. 0503034134

ИМЯ ЕГО

повесть

С того самого страшного, жаркого, августовского полдня, когда их рота, частично уцелев в бою, попала в окружение, мир, в котором жил Матвей Дротман уже чуть более двадцати лет, словно бы перевернулся. Одно только сознание того, что он в плену у немцев, бросало в дрожь, приводило в ужас, а тут ещё и жестокость «братьев»-украинцев с белыми повязками на руках! Так и норовят то прикладом в спину двинуть, то подзатыльник такой отвесить, что – держись! Но самое неприятное – это отчуждение своих, не просто однополчан, но земляков, даже соседей!..

В первое же утро, очнувшись под окрики полицаев «Ауфштейн!» в каком-то загоне для скота, под открытым небом, Матвей стал высматривать их, всех троих своих соседей и однополчан, но они, стоя друг за дружкой, его вроде бы и не замечали. Между тем, сами – и Брайнер, и Вольфсон, и Фридланд – словно бы загоразивали друг друга от немцев и «белоповязочников». Особенно, когда в первое же утро расстреляли всех серьёзно раненных, всех чернокудрых и смуглых, кроме азиатов, а мимо него, Мат-



веза, прошли, даже не взглянув... Возле тех троих – чуть помедлили, потому что кто-то из задержанных попытался вырваться. Его тут же уложили выстрелом в затылок. А остальных увели за стожки с сеном метрах в трёхстах от их загона и расстреляли.

Не на виду!.. Не на глазах у вчерашних своих однополчан...

«С чего бы такая щепетильность?» – подумалось хлопцу, но, увидев в руках палачей узлы и связанные попарно «кирзачи», всё понял:

«Мародёры проклятые... Надо же – стесняются...»

Глянул вправо – туда, где судьба пощадила его земляков, но они в его сторону опять же не смотрели.

Что же такого он сделал?.. В чём перед ними провинился?..

Несколько раз пытался он заговорить, объяснить, но наткнулся на такое непонимание, такой холод в тёплых еврейских глазах вчерашних друзей, что даже выругался, чего себе прежде не позволял:

– Та... вашу мать, хлопці, послушайте...

– А ну, хлопче, йди собі. Тут і без тебе тісно... Давай, давай... – и не дали даже присесть рядом, когда через два дня принесли пленным котёл с баландой.

В тёмном вареве этом плавали картофельные очистки, волосатые бураки и ещё что-то, мимо чего прошёл бы прежде, отвернувшись и зажав нос... Сегодня же подставил свою чудом сбережённую алюминиевую кружку под черпак полица и радовался, что перепало ему немного мут-

ной гуци...

Выхлебав горячую эту мешанину минуты за полторы и не утолив голода, а только чуть-чуть успокоив резь в животе и тошноту, Матвей спрятал ложку за голенище сапога и снова оглянулся на тех троих... Они сидели спиной к нему, ссутулившись, не глядя по сторонам, медленно ели втроём из одного котелка и, кажется, даже одною ложкой, передавая её друг другу... Острая зависть захлестнула его. Захотелось крикнуть им что-то обидное, как в детстве, когда его, самого маленького, не брали они с собой: «Три пузатых немца съели чужеземца!» или «Фрид, Фрид, Фрид – по верёвочке бежит»... Представив ситуацию, чуть было не рассмеялся. И в эту минуту старший из них, Фридланд, оглянулся на него, точно почувствовав немой оклик Матвея. Что-то было в его взгляде, но тут Вольфсон протянул приятелю ложку и покачал головой: мол, не оглядывайся!

«Да что ж это такое? За что ж вы меня так, братцы?» – Матвей присел в дальнем углу, не сводя глаз с земляков.

В эту ночь, видя отчаяние Матвея, способного выкинуть какую-нибудь дурость, к нему пробрался раненный в руку Брайнер и, свернувшись калачиком за его спиной, прошептал ему в самое ухо по-украински, с примесью идишских слов:

– Слухай сюда, хлопче. Ты ж не похож на айда*. Спасайся! У тебя есть шанс. У нас его нет. В тот раз они просто до нас не дошли...В следующий нам вряд ли повезёт... А ты ... Здесь вроде бы земляков, кроме нас, нету. Так что смени имя – и живи! Живи, друг!.. Прощай! А мы – чу-



жие...

И с этой минуты все трое словно забыли о нём. А он остался один на один со своим чёртовым шансом!.. Не умея ни хитрить, ни притворяться, он лихорадочно обдумывал каждый свой шаг, каждый жест и даже редкое словцо. Только бы не обмолвиться даже какой-нибудь русской фразой: «москалей» тут не жаловали доброхоты-полицаи. Только и слышно было:

– Кажешь, украинець?.. А ну, скажи – «паляныця», «паця», «цяця»!*


Редкий «русак» мог произнести этот чисто украинский мягкий «ц», и из-за этой самой «паляницы» не один из них отправился за тот же стожок...

Ай, да братья-украинцы!.. Ай, да «нерушимый Союз трудовой»! И когда только успели «перекинуться» на другую сторону?!.

Правду сказать, в основном, это были «западники», «западенцы» – жители присоединённых к Советам накануне войны западных территорий – Волыни, Ровенщины, Закарпатья. Высокие, чернявые, длинноусые, с тягучим, каким-то у-кающим говором: «худимо», «вуйку», «куфаець»*, – они были злы, жестоки и подозрительны. Когда в один из дней пленных, наконец, решили переписать, Матвей, выпустив из-под линиялой пилотки пышный свой золотокудрый чуб и пригладив отросшие рыжеватые усы, хрипло выдал:

– Иван Шибецкий.

Писарь-«белоповязочник» черкнул два слова в тонкой




школьной тетрадке и, лениво перекидывая сигарку из угла в угол приоткрытого рта, равнодушно перевёл глаза на следующего. Матвей же всё не мог сдвинуться с места. Столбом стоял, будто ждал приговора.

– Ну, чого тобі? На стусана чекаеш?* Так в мене недово... – и он, плюнув в ладонь, занёс было кулачище над ухом пленного, слегка приподнявшись.

Но Матвей вовремя отпрянул, столкнувшись однако с сутулым, узколицым чужаком, который странным, долгим взглядом прошёлся по хлопцу и вроде бы заговорщически подмигнул ему. Матвей ничего не ответил. Да и что ответить тому, кого первый раз в глаза видишь?.. И чего ему надо?.. Почему-то в недобром предчувствии сжалось сердце...

И не напрасно. В один из томительных, тревожных расцветов проснулся он, будто услышал мамин тихий голос: «Моти!.. Мотэлэ!..» И в это время за стожками раздался два выстрела, затем крики полицейских: «Держи его! Держи жида!» А за стожками скошенного ещё в мае (ещё до войны!) сена бежал долговязый Янкель Фридланд, бежал в никуда, в открытое поле, где и собаке негде было бы скрыться. Бежал, ничего не видя перед собой, потому что очки его валялись раздавленные у выхода из загона... Знал, что сейчас подстрелят, но бежал, так свободно прощаясь с жизнью, бежал наперегонки со смертью вчерашний тридцатипятилетний учитель математики, доброволец Красной Армии... «Фрид, Фрид, Фрид! – стучало в голове Матвея. – По верёвочке бежит!» Вот и оборвалась его ве-



рёвочка: всё же попали в него братья-славяне, как на волка, охотясь на человека, совсем немного успевшего дать людям, но хотевшего отдать всё, чем владел...

А тех двоих убили уже там, под стогом. И тоже не без приключений. Не пожелавший больше сам стаскивать сапоги с трюпов полицай крикнул Брайнеру:


– А ну, скидай чоботы, жидяро!..

Худенький сутулый Брайнер внимательно взглянул на мародёра и неожиданно быстро шлёпнулся на тощий, костлявый задок, задрав кверху ноги в крепких, аккуратных своих сапожках:

– Бери, разве мне жалко?! Только сам, а то ж у меня рука перебита!

Но когда потерявший соображение от жадности полицай, ругаясь по-чёрному, наклонился к своему «жидяре», тот изо всех последних сил обеими ногами так въехал в лицо палачу, что, видимо, расквасил и нос основательно, и передние зубы оказались лишними... Ну, а расплата не замедлила явиться, да только пуля оборвала такой счастливый молодой смех, что Вольфсон, умирая не от пули, а от жестоких побоев бандитов, удивлённо прислушался и порадовался за друга...


...Так и подошёл конец сентября – затянувшегося в этом злосчастном году лета, и жара резко сменилась обычной полесской осенью, с её холодными, долгими дождями. Под ногами вместо каменно утопанной земли вдруг образовалось сплошное склизкое месиво, в котором и устоять-то было сложно, не то, что с горячей баландой дочапать до



своего закутка! Но труднее всего было ночью под пронизывающими, хлещущими ветрами. Каждое утро два здоровяка из похоронной команды (то ли по кличке Близнюки, то ли по фамилии) выносили до десятка невесомых трупов-хиляков и закапывали их неподалёку от загона. За это получали они ещё пару черпаков баланды и что-то похожее на горбушки чёрного хлеба. Матвей ни разу не получал его. Другим доставалось. Видно, за какие-то услуги...

Зато у Матвея была шинель! Какое счастье, что он сберёг её в огненно-жарком июле-августе, не выкинул, как другие, во время непосильно тяжёлого отступления и блуждания по болотам, лесочкам и неубранным полям!.. И теперь, в эти промозглые ночи, как же благодарно он вспоминал своего комроты, который сам её снял со своего ординарца, заслонившего его в последнем том бою под Белокоровичами, и отдал ему, Матвею. Командир же был расстрелян в первый день пленения: он не снял с себя гимнастёрку с петличками краскома, да и без неё вряд ли бы выжил: густой чёрный чуб с проседью, орлиный нос, чуть навывкате глаза – нет, не славянская, тем более, не арийская была у него внешность!.. Конечно, не новой досталась хлопцу та шинелишка, а добре-таки приношенной, в двух местах чуть прожжённой, зато длиннополой и тёплой. И так спасала его в эти невыносимо холодные ночи, когда он, улёгшись на одну полу, другою укрывался с головой...

Да «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», как любил напевать бедняга Брайнер... По утрам Матвей, проснувшись, всё чаще стал чувствовать на себе чей-то



упорный, недобрый взгляд. Совсем по-звериному, инстинктивно угадывал он в нём опасность, но не знал, откуда она исходит, пока ранним серым утром не встретился глазами с тем сутулым высоким чужаком, что столкнулся с ним у стола регистрации. Тот вроде бы избегал взгляда напрямую, но оглаживал глазами его шинельку, точно оценщик добрую корову на базаре...

И в одну из самых, наверное, пронизывающих ночей он проснулся оттого, что его трясли за плечо. Попытался было сесть, но кто-то невидимый в темноте придавил, прижал его к земле и хрипло прошептал в затылок:

– Цыть*, пархатый! Я знаю, кто ты, я знаю, откуда ты – с Олевска! Даже имя твоё знаю. Назвать или нет, жидкопалихмахер?!

Матвей молчал. Глаза уже привыкли к чёрной влажной тьме. И теперь он краем скошенного глаза увидел над собою чётко обозначенный, узкий, как бритва, профиль и сутулую спину.

– А могу и смолчать, – продолжал ночной непрошенный гость. – Только заплати мне.

– Нема в мене грошей, – сдавленно прохрипел парень.

– Зато у тебя есть шинелька. Отдай её мне. Разве жизнь не стоит того? Га?..

Матвей промолчал: без шинели та же смерть, только по-медленней...

– Шо молчишь? Вряд ли она тебе долго прослужит. Не я, так другой признают в тебе св... – он странно осёкся было, но тут же добавил. – Признают в тебе собаку жидов-

скую. Понял? Так что скоро встретишься со своими пострелянными дружками-земляками...

«Гад, и о хлопцах знает!.. Давно, значит, следил...»

Что было делать?.. И Матвей отдал ему шинель...

Вряд ли он долго продержался бы в своей тонкой гимнастёрке и таких же драных галифешках, под которыми было только заношенное исподнее, если бы не тот счастливый, тот судьбоносный случай...

...К их ограждению иногда приходили деревенские бабы с узелками гостинцев в руках. Приносили варёной мелкой картошки, лука, редко сухие горбушки хлеба и бросали за ограду, в толпу, с жалостью глядя, как голодные «солдатики» набрасываются на еду, ловят на лету «бульбочку» и глотают, почти не жуя, будто гуси...

Матвей стоял в стороне, но в животе сердито урчало, резкой болью отдавало снизу вверх. Он знал, что ему всё равно не достанется... Зачем же лезть в драку? Чтобы только изгваздаться в этой вонючей жиже?..

Из-под насупленных, выгоревших добела бровей и длинного отросшего чуба разглядывал он жалостливые лица крестьянских «соломенных вдовушек», пока не поймал на себе долгий, оценивающий взгляд молодой, крепко сбитой бабёнки.

– Ой, смотри, Катря, это ж мой Иван! – закричала вдруг она, указывая на него пальцем.

– Это ж мой Ивасик, муженёк дорогой!

Два охранника у входа и ещё один за колченогим столиком наострили было уши. Но последний, хитро ослабив-



шись, погрозил ей тупым чёрным пальцем:

– Ой, брешешь, молодичка!

– Та не брешу! Правду кажу! Ты ж Иван, сердце моё?

Матвей только кивнул, не в силах промолвить ни слова, но мгновенно вспомнил, что при регистрации назвался именем соседа – Иван Шибецкий!

– Вот видишь – Иван! Отпустите же моего мужа, ироды!

– она так кричала, так верещала, так звала его чуть ли не выкатившимися из орбит глазами, что Матвей и не заметил, как оказался прямо против неё, отгороженный лишь этой страшной, высокой, колючей стеной проволоки, унёсшей уже не одну пленённую жизнь...

Странно, но из его глаз лились настоящие слёзы. Ещё мгновение – и он, подобно молодке, разрыдался бы вслух, в голос, как говорят украинцы.

Однако в это мгновение он почувствовал увесистый, крепкий пинок в зад:

– Да пошёл же, пошёл вон, вояка сраный!..

И ещё одним пинком его вышибли наружу через распахнувшиеся на мгновение ворота...

Эти три картофелинки он помнил всю жизнь, и не было ничего вкуснее их и слаще. Но первая вроде бы проскочила сама, он только успел языком и пересохшим нёбом на миг ощутить упругую и твёрдую её оболочку. Вторую же и третью Катря вырвала из его ладони и попыталась очистить от чёрной, грубой, мозолистой кожуры, но он вскрикнул, как от боли, и замотал головой:

– Нет, нет, не надо!..

Тогда она разломилла их на части и стала кормить его с руки, как ребёнка, вполголоса приговаривая:

– Потихоньку, помедленней, слышишь? Говорю тебе – жуй потихоньку! Нельзя ж так сразу...

Он послушно открывал рот и, по-собачьи преданно глядя в голубенькие, полные жалости глазки, медленно перекатывал во рту холодные сладковатые мякиши чуть подмёрзшей картошки.

А та, что выкричала его у охранников (Катря звала её Стехой), сидела на подводе спиной к его спине и правила парой медлительных чёрно-белых волов. Видно, изредка она поворачивалась к своим спутникам, спрашивая о чём-то глазами у товарки, потому что Катря раз от разу пожимала плечами, поглядывая поверх его головы. Наконец, Стеха не выдержала:

– Ну, шо, Иван, небось, рад-радёшенек, что вырвали тебя у смертушки? – вроде как хохотнула, обернувшись к ним.

Он кивнул головой, глядя на Катрину уже пустую ладонь.

– Нет, нет, хватит, парень! – ответила женщина на его немую мольбу. – Нельзя, нельзя после такой голодовки...

– Ишь ты какой на еду охочий! – продолжала с усмешечкой Стеха. – Но сначала заработать её надо. Правда, ты такой смердючий, такой вонючий... Рядом же ж сидеть невозможно! Небось, ещё и весь завшивел?

– Перестань, Стеха, что ж он по своей вине, что ли? –



отозвалась вполголоса Катря.

– А что это ты так защищаешь его? Уже глаз на него положила?! – внезапно враждебно, исподлобья зыркнула та на товарку. – Так ты, видно, забыла, кто его с того света вытащил? Небось, не ты! Ты себе молча стояла да глазами только жалостно луп-луп, а я его у смерти вырвала!

– Правда твоя, подружка, только нельзя ж так...

– Спасибо вам, девчата... – он впервые заговорил, да так хрипло и сдавленно, что сам не узнал свой голос. С непривычки закашлялся, а потом и зашёлся в тяжёлом каком-то застойном хрипе, но, с трудом одолев его, замолк, тяжело дыша.


Женщины молча переглянулись.

– Эй, хлопец, я слышу, ты ещё и болен... Часом, не туберкулёз у тебя?! – как-то недобро спросила Стеха, попридержав вожжи. – Так, может, тут и высадим? Ты ж работать не сможешь! А сейчас задарма кормить, да ещё и лечить – сам понимаешь!..

– Да, нет, нет, девчатки, какой туберкулёз! – просипел Матвей. – Я ж здоровый, как бык! Может, трохи застудился этой ночью под дождём с ветром... Мне б помыться да исподнее постирать, а там и выгоните меня, если что...

– Ну, ну! – промычала Стеха примирительно. – Там посмотрим. Может, и помоешься, и постираешься...

До хутора они плелись на волах долго, подъехали уже под вечер, неожиданно безветренный и тихий. Несколько хаток, низко надвинувших тёмные от долгих осенних дождей соломенные стрехи-брыли, стояли поодаль друг от



друга, вглядываясь в тёмные воды медлительной неширокой реки.

– Цоб-цобе, ряба холера! Цоб-цобе! – низким голосом прогудела Степанида.

Волы остановились, покачивая на широких холках скрипучее ярмо.

– Ну! Так что, товарка, всё ж таки к себе его хочешь взять, я вижу? – насмешливо покачивая головой и несколько не стесняясь Матвея, будто о купленном телёнке, спрашивала нараспев Стеха.

– А куда ж его ещё, Стёшенька? – торопливо, будто горошинками сыпала Катря, оправдываясь. – Да твой Ларивон его в первую же неделю задавит! А то и с тобой вместе.

– Может, и так! А отпускать неохота, девка! Ох, неохота!.. Славный из него мужик выйдет, если отскрести трохи от ржавчины, отмочить в золе, – громко захохотала она и сладко потянулась. – Жалко, что ты не дала мне до него дорваться там, под теми порушенными амбарами... Хотелось мне проверить, чего стоит он сам да и его мужичонка!.. Работящий ли?.. А?..

Она всем телом повернулась к застывшим на мгновение ездокам, хмыкнула по поводу смущенно опущенных глаз Катри и, перегнувшись, всмотрелась в усатое, с широко раскрытыми глазами лицо Матвея.

– Ты чего испугался, Иван? Глянь, Катруся, у него глаза вот-вот на лоб выскочат! – и зашлась в неудержимом похотливом каком-то смехе с повизгиваниями. – Ой, не могу,

да он, как девка, застенялся меня! Так, может, ты и девок ещё не щупал, хлопче, а тем паче не топтал, га? Давай, признавайся, как на духу!

– Ну, хватит! – у них это вырвалось одновременно, но Матвей сделал протестующий жест в сторону Катри. – Не надо, Катруся, меня жалеть. Я ж таки живой, не мёртвый. А про свои мужские победы меня ещё мой батька учил не хватать. Придёт время – делом докажу, а пока – хватит с меня на сегодня... Куда идти мне? – и скрипнул зубами.


И всё же тихая, молчаливая Катря оказалась сильнее нахрапистой подруги. Она решительно соскочила с повозки, подошла к Степаниде, просто глянула ей в глаза, и та почему-то осеклась. Потом повернулась к Матвею и лёгким кивком повела за собой по едва приметной тропке к кособокому перелазу.

А Стёшка что-то громко и сердито выговаривала усталой паре волов, звонко шлёпала ладонью по пятнистым бокам, так что самой было больно, и с трудом протаскивала их через не до конца распахнутые воротца своего подворья.

В Катриной выстуженной за день мазанке было чисто, но невесело, как в доме, где нет детей, нет стариков и давно, видно, поселилось одиночество. Строгая божница в красном углу над столом была убрана белоснежным вышитым рушником, и Катря, перекрестившись, первым делом зажгла лампадку у иконы. А, зажигая другую над широким зевом печи, смущаясь, укоризненно спросила:

– А ты что же – в дом заходишь, а лба не перекрестишь?

– А я не умею. Я детдомовский, а там этому не обучали,



– он сам не понял, как выкрутился из труднейшей ситуации.

Но вроде бы обошлось, и Катря с жалостью глянула на него:

– Досталось тебе, хлопче, на твоём недолгом веку...

– Да, ничего, Катеринка. Видишь: живой...


– Живой-то, живой... Это я вижу... Да шатаешься. Садись вон на лавке. Да не стесняйся ты. Всё отмоется, – она понимала его смущение и неловкость. – Но как же тебе помыться?.. Баню вроде бы поздно топить, да и не моя это баня – соседская, Стёшина.

– Нет, нет, не надо к Стёше. Может, лохань какая для стирки найдётся или балия? Я и в холодной могу помыться...

– Ещё чего не хватало! Да тебе пропариться надо как следует! Кашель такой – аж страх берёт! А чтоб балию наполнить, хлопче, всю ночь воду таскать да греть! Да ничего, парень! Глаза боятся, а руки работают.

И правда, под её быстрыми да ловкими руками уже потрескивали заранее приготовленные в печи куски берёзовой коры и сосновые полешки. На припечек она подняла ухватом и поставила большой чугунок и стала наполнять его глиняным кухлем из деревянной бадейки у самой двери.

Вдруг в сенях дзенькнула клямка. И через мгновение в распахнутой двери встала Стёшка, разрумившаяся, щечастая, в аккуратном вышитом переднике, с закатанными рукавами тёплой вязаной кофты.




– Давай, хлопец, в баню! Да побыстрее, пока не остыла! – и повернулась к подруге, поясняя: – Старики мои мылись сегодня, хорошо протопили. Не любят они при Ларивоне... Тому и полена лишнего жалко для моих!.. Вот и повезло тебе, Иван. Вдругорядь за сегодня повезло. Аж самой завидно!.. Давай, давай! Да не трусь! Никто тебя не тронет. Катря, проводи! А то ж он со мной побоится, не пойдёт! Ага?!

Так он и остался у Катри, одинокой, молчаливой, худенькой, как подросток. Было ей чуть-чуть за тридцать – значит, почти на десять лет старше Матвея. Но по виду не скажешь: неволя не красит, и Матвей казался старше своих лет, хоть и худой был, как жердь, так что даже свои армейские, выстиранные и залатанные галифешки подвязывал простой бечёвкой. Ремень отобрали ещё в первый день плена. А чьи-то посконные, вручную сшитые порты из бездонной Катриной скрыни* он наотрез отказался надевать, к немалому удивлению хозяйки. На её молчаливый вопрос только насупил брови:

– Нэ хочу!..

Хотя первые дни, можно сказать, дни то ли беспамятства, то ли беспробудного сна после той душной, похожей на библейское чистилище баньки, пролежал он на печи в чужой старенькой, пожелтевшей от времени, льняной рубахе. Придя в себя, точнее, обнаружив себя лежащим на тёплой печке поверх старого тулупа-кожуха, Матвей пришёл в ужас оттого, что на нём не его одежда! Кто-то ж его раздевал и одевал! Кто-то ж видел его «мужичонку», да и



понял, что он за птица! Отчего же он ещё тут?!

Он попытался встать, и снова мокрый тяжёлый кашель точно накрыл его. А Катря уже стояла рядом, коленками на лежанке, и протягивала ему кухлик с каким-то горчайшим душистым отваром:

– Пей, Иванко, пей, несчастье моё, прошу тебя... – повторяла она, чуть не плача. – Неужели ж мы тебя спасли, чтоб ты тут, на печке моей, помер?..

– Нет-нет, Катеринка, не помру, – прохрипел Матвей, с усилием делая глоток за глотком. – А помру – так от твоей полыни... Будешь потом жалеть, что отравила меня...

Катря от изумления чуть кухоль не выронила: только что без признаков жизни лежал, потом всю хату сотрясал своим хрипучим кашлем, а тут – на тебе! – ещё и шутит да над ней посмеивается! И она неожиданно для самой себя вдруг молодо, по-девчоночьи рассмеялась. Женщина поймала себя на мысли, что ей захотелось шутливо, вызывающе шлёпнуть его по плечу, а потом прижаться к нему, согреться или согреть... Но она спрыгнула с лежанки, подобрала с домотканой дорожки свои стёганые бурки и обулась, пряча от парня покрасневшее своё лицо.

Со стороны посмотреть, вроде бы ничего и не изменилось в её жизни. Но вот ещё чище стал небольшой дворик, ещё яростнее отскребала она деревянные ступеньки своего крылечка до первозданной желтизны! И для самой себя неожиданно отдала вдруг «жебрачке»-нищенке старую отцовскую стёганку-«куфайку», висевшую на гвоздике у входа, сколько себя Катря помнит, а взамен её повесила

свою, из скрыни, почти новую...

Конечно, ничего особенного. Но вот Стеха-Стефания – эта всё подмечала!

– Что-то ты, девка, летаешь с утра, а? И чего тебе не лежитя, не спитя? Ну, задала корму подвинку, козу подоила – и опять на перинку!

– Отстань, Стёшка! Сама спозаранок на ногах! Уже сколько дел переделала! А я что – хуже тебя? Или уже не хозяйка у себя на подворье?

– А ты со мной не ровняйся: я – мужняя жена. Моё дело мужу угодить, накормить-напоить, чтоб с утра не гавкал! А тебе что? Ты – вольная птица! Или уже нет?! – с ехидцей выпрашивала у товарки.


– Отстань, подруга! Не серди меня! Я терплю-терплю – но...ты меня знаешь!..

– Да ладно тебе! Уймись! Уже и пошутковать нельзя? Лучше скажи, как там наш Иван? Полегчало хоч трохи? А то ж ты, видать, и не спишь ночью?!

– Вроде полегчало, в эту ночь уже не так грохотал! Хочешь проведать? – Катря с невинным видом подняла на подругу тихие свои незабудковые глазки.

– Да нет, не сегодня! А то с перепугу с печки свалится!.. Кышш! – Стёшка рванулась было от плетня отогнать петуха, что норовил через забор сигануть на дорогу, но с полдороги вернулась.

– Слухай, а чего это он меня будто побаивается? Мне аж обидно! Я его, может, от смерти спасла, а он от меня – как от чумы!..



– А про это сама его и спросишь! – и Катря тоже независимо так передёрнула плечиками и повернулась лицом к своей хатынке, невольно любуясь чисто промытыми окнами. А потом, будто подражая подруге или поддразнивая её, снова обратилась к ней:

– А впрочем, хочешь умное словцо услышать? Не доучай ему, бабонька, не дразни! Подумай лучше, из какой он беды вырвался! Ну, да, я и не спорю: с твоей помощью! А разве ты уже мне ничего не должна, подружка ж ты моя верная?!

Последнюю фразу она не проговорила, а почти прокричала, прорыдала неожиданно для самой себя. Точно вырвалось что-то из неё такое наболевшее, такое затаённое...

– Ну-ну! – только и услышала вдогонку Катерина.

Ему снилась мама. Даже во сне он был рад её видеть: вроде бы понимал, что её здесь нет, и всё же был рад. Светлоглазая, с седыми завитушками, выбивающимися из-под белой косыночки в маковое зёрнышко, она склонилась над ним и щекотала его за ухом золотистым петушиным пёрышком:

– Мальчик мой! Ой, как стыдно долго спать! Так всё на свете проспийшь! А люди спросят, чей это сынок такой ленивый, такой сонливый? И что же я им отвечу?.. А?..

Он хотел было ответить что-то, попытался выпростать руки навстречу этому родному шёпоту. Но вдруг уловил чужое дыхание, чужие запахи и тихий шёпот, повторявший едва-едва слышно:

– Иванку!.. Иванку!.. Я тут, я не дам тобі вмерти... Я нікому тебе не віддам, серце мое...

А вот пёрышко всё-таки было, и уху, как в детстве, было щекотно...

Тихо-тихонечко приоткрыл он веки и сквозь выгоревшие добела ресницы разглядел заплаканное курносое лицо молодой женщины так близко от своего, что на миг замерло дыхание. Она не склонилась над ним, она просто лежала рядом, а головка её не на подушке лежала, а уютно покоилась на обнажённой по локоть его руке... А свободной рукой она и впрямь мягко, ласково проводила пёрышком у него за ухом.

Что делать? Он боялся пошевелиться. Боялся испугать свою спасительницу. Но чувствовал, что за этой его поддержкой дыхания сейчас накатит мучительный кашель... Матвей притворно жалобно застонал, пошевелился, так что густые, давно не стриженные волосы закрыли всё лицо, но сквозь их завесу разглядел, как испуганно вскинулась Катря, как протянула руку к его всё ещё горячему лбу.

–Иванко! А, Иванко! – вполголоса окликнула она парня. – Может, проснёшься, горяченького попьёшь? Или съешь чего-нибудь?..

Он успел отвернуться, чтобы нечаянно не обрызгать её слюной во время очередного приступа такого тяжёлого кашля, что казалось, сейчас грудь разорвётся. Но Катря не отклонилась, а напротив, сухой льняной тряпочкой легонько касалась его вспотевшего лба и шептала что-то ласковое, когда он в изнеможении откинулся на подушечку


в цветной ситцевой наволочке.

– Какая ты... хорошая, Катруся!.. Какая добрая!..– слегка задыхаясь, проговорил Матвей. – Ей-богу, я не заслужил... такой доброты!

– Тихо, тихо, Иванко! – она приложила палец к его потрескавшимся, кровоточащим губам. – Тихо! Не напрягай голос. Тебе нельзя сейчас разговаривать. Вот попей лучше отвара моего. Ничего, ничего, что горькое. Это лучше всяких лекарств. Тут и ромашечка, и шиповник, и мята, и подорожник...

То, что они в конце концов сблизились, не было неожиданностью ни для них, ни для Стехи, ни для ещё нескольких хуторян-соседей: а для чего ж приводят бабы мужика в дом, как не для этого житейского дела? Но всё же для Катри и Матвея (а в мыслях никогда он себя не называл Иваном) это были особые отношения, совсем особые...

Дело в том, что Стеха-то была права: не было у него до Катри женщины! Первой она оказалась в его жизни, самой первой! И огромная благодарность к этой хрупкой, преданной ему женщине-подростку, её нежность-жалость к нему, почти материнская, захлестнули его с такой силой, что он, как говорится, голову потерял! Какая уж тут разница в возрасте?! Ему хотелось заботиться о ней ежеминутно. А когда она выходила из дому, а в деревне хоть летом, хоть зимой больше работы на подворье, чем в хате – это ж ясно, как белый день! – просто смешно рассказывать: он через минуту не мог себе места найти! Да пока она козу



доила, он тут же стоял, в дверях сарайчика, будто боясь, что она домой не вернётся! Хоть и от ветра шатался после недельной горячки, но топор из рук её вырывал, сам поленья рубил, сам вёдра из колодца-журавля таскал, хотя Катерина чуть не дралась с ним. А то и её на руках в дом вносил! Ну, видели вы такое сумасшествие?..

Всё же мало-помалу успокоился, перестал, как телёнок, по пятам за ней ходить. Да и работы в сельском доме полным-полно. Особенно, если уже несколько лет этот дом мужика не знал!

Солнышко пригрело – а он, глядишь, с крыши слежавшуюся комками солому сгребает, новой перекрывает, да так ловко – залюбуешься! Каждый день из-под козы навоз чистит – а что с той козы навоза? Там и раз в неделю бы достало! Нет, работает парень! Забор дощатый вокруг усадьбы поправил, ворота, чтоб не скрипели, смазал на стыках. Задвижки на всех сараюшках-курятниках укрепил. Будто изголодался по мирной, невоенной работе! И то правда: рушить, ломать – дело нехитрое, да противное природе человеческой; а строить-чинить – это как раз для мужских рук дело.

Нет, нет, не подумайте, что он забыл о войне, об оккупации, особенно его родного местечка... Просто был он очень молод, от природы здоров и сейчас стремительно восстанавливался, благодаря живительной силе любви. Да и отсиживаться на хуторе было ему не по душе. Что делать? Куда податься? Как прорваться к своим? Да и где они, свои-то... Стёшка на базаре слышала, будто до самой Мос-

квы отступили наши... Это что ж получается?.. Враг под Москвой?! Нет, нет, об этом и думать нельзя!..

– Ну, это, брат, как хочешь, – Ларивон со вкусом хрустнул солёным огурцом. – Но я вот этими ушами сам слышал по радио. Да нет, не по-немецки, а по-нашему, по-украински, шо готовится большой парад в Москве.

– Шо за парад?

– Немецкий парад готовится, братец ты мой!.. Ну, и чего ты вызверился на меня?! Я, что ли, тот парад готовлю?! – Ларивон с досадой было насупился, а потом всем телом повернулся к Матвею и окинул соседа долгим-долгим, недобрый взглядом.

– Ты чего это? – в свою очередь вскинулся Матвей.

– А того! Чтой-то ты больно, хлопец, за Москву переживаешь. А ты, случаем, не комиссар или, как там теперь говорят, политрук?

– А не пошёл бы ты?! – Матвей угрожающе приподнялся с крылечка.

– Да ладно, ладно! Уже и пошутить нельзя! – примирительно поднял кверху ладони Ларивон. – Давай лучше выпьем, сосед, по-братски...

Откашлявшись и смачно сплюнув, они присели на приступочки перелаза, каждый со своей стороны, поначалу за самокрутками крепкого табака-самсада, а потом Ларивон, втянув голову в плечи и воровски оглянувшись на кухонное окошко своей хаты, вытянул откуда-то из-под полы своего добротного чёрного кожуха небольшую пузатую бутылку зелёного стекла с плавающей поверх мутноватой

жидкости красной загогулиной перчика.


– Чекай, чекай, хлопче! Вот я щас подсуечусь, – и он действительно засуеллся, подыскивая, на что бы поставить «от эту пляшку».

– Ох, и знатная вещь, я тебе скажу – злая, как моя Стефка, да и сладкая такая ж! – и он захохотал, сам радуясь своей шутке-находке, уже не оглядываясь на кухонное окошко.

Под руку ему попала печная заслонка, на которую он бросил какую-то пёструю тряпку, сушившуюся тут же, у перелаза. Затем ловко прикрутил заслонку к заборчику – и вот уже походный столик накрыт стёшкиным передником, а на нём будто выросли одновременно две глиняных чарки, посредине – полумисок с солёными огурцами, а на полотняной тряпочке – добрый шмак сала. Матвей только головой крутил туда-сюда, туда-сюда, а сосед, ни на минуту не замолкая, нарезал сало толстыми кусками и взялся было порезать огурцы, но передумал «таку красоту портить!»

– Ну, так за что ж выпьем, соседушка мой дорогой?! – хитро прищурив узкие глазки в припухших веках, Ларивон выжидательно уставился на Матвея.

– Наверное, в моём положении надо бы сказать за любовь, за коханных наших женщин... Но я всё-таки скажу: за Победу! – и Матвей, не дожидаясь реакции Ларивона, опрокинул чарку в широко открытый рот. А вот закрыть не смог... Будто огнём прожгло ему гортань, ножом полоснуло заднюю часть языка, перехватило дыхание так, что слёзы хлынули из выпученных от ужаса глаз...



– Ага! Вот тебе и победа! Сначала пить научись, а тогда уж и побеждай!!! – раскатисто грохотал сосед. – Ишь ты как осмелел на Катриных харчах!

Матвей наконец прокашлялся, вытер рукавом мокрое от непрошенных слёз лицо.

– Спасибо тебе, Ларивон, за угощение. Спасибо и за то, что душой не кривишь – не притворяешься дружкойм... Но, извини, с врагами я не пью. Позови лучше Омелька-полицая, – он медленно поднялся, каждой клеточкой тела ожидая то ли удара, то ли окрика.

Но ничего этого не последовало. Наоборот, спустя минуту, уже у крылечка своего дома он оглянулся и увидел, что Ларивон, разведя руки в стороны, идёт за ним и что-то бормочет себе под нос примиряющее.

– Да брось ты свои совдеповские штучки: этот ему друг, этот ему враг! Живи, как живётся, браток... Жить хочется? Я спрашиваю – жить тебе хочется?!

Матвей машинально мотнул головой, продолжая стоять у крыльца и тщательно вытирать свои «жирзачи» о мокрую мешковину.

– Ну, вот и живи себе, хлопец, не загадывая наперёд... А я тебе, если правду сказать, и не друг, и не враг, а так – сосед на сегодняшний день. А что будет завтра – только Ему ведомо, – и он выразительно поднял вверх чёрный, словно прокопченный, указательный палец. – Но ты не серчай, хлопец... Мне и вправду надо с тобой посоветоваться об одном деле. А больше вроде бы и не с кем...

Он словно сам удивился этой неприятной, только что

открытой им истине.

– Вот то-то, сосед, – в тон ему иронично подтвердил Матвей. – Жизнь, можно сказать, наполовину позади, а ты ни друзей, ни врагов так и не нашёл, а?

– Можно сказать...

– Ну, а как же жёнка твоя Стефания Батьковна, супружница сладкая? Ей, что ли, не доверяешь свои дела?..

Ларивон, который всё это время осторожно, как бы невзначай возвращал Матвея к перелазу, легонько приобняв за плечи, при этих словах снял руку с плеча:

– Чуешь, я думал, ты разумнее, а ты... – и он обиженно, с досадой махнул рукой.

Матвей только усмехнулся.

– Да ладно, тут без чарки не разберёшься. Давай садись!

– А ты не командуй! Ишь, командир какой! – и Матвей уже с улыбкой оглядел соседа.

– Ладно, Иван, давай ещё по чарке, а то я совсем плохо соображаю на трезвую голову. По мне видать, правда? – хохотнул мужик.


– Есть немного, – улыбнулся в ответ Матвей и покачал головой, взявшись за глиняную стопку.

– Что, брат, крепкая дюже? Страшно?

– Есть немного! – повторил парень, уже открыто смеясь вместе с соседом.

– Ну, шо? Вроде без тоста не годится, а ссориться неохота, – Ларивон опередил нахмурившегося было хлопца.

– Но есть один на все времена. Хороший, наш украинский тост – «Будем здоровы! Будьмо!»



Оба опрокинули чарки, и Ларивон тут же ткнул хлопцу в зубы ледяной хрустящий огурец а, чуть погодя, подвинул к нему чёрную горбушку хлеба, сало, лук.

– Давай, парень, не стесняйся, отъедайся...

– Ага, а потом попрекнёшь своими харчами... Ладно, ладно, спасибо... Я ем, а ты выкладывай, что у тебя ко мне за дело такое...

– Ну, нет, я так не люблю! – опять надул перемазанные салом губы Ларивон. – Я люблю, чтоб рядом да ладком. А так вроде как допрос!

– Здоровеньки булы! – удивился парень. – Не хочешь рассказывать – не надо! Никто тебя за язык не тянет. Тем более не допрашивает! Ну, ты даёшь, сосед!..

– Да, понимаешь, не так всё просто. Это связано с партизанами, с лесными гостями разными... Секретное, в общем, дело, – уже вполголоса, дохнув луковым, вперемешку с самогонным духом прямо в лицо Матвею, пробормотал мужик.


– Партизаны?.. Секретное дело?.. Ну-ка, ну-ка, соседушка! Неужто откликнулся на мои просьбы свести меня с ними?!

– Да тут дело не совсем в них...

– А в ком? – Матвей, чтоб не выдать внезапно охватившего его волнения, продолжал медленно что-то жевать.

– Понимаешь, Иванко... Тут дело во мне, в тебе и в яв-рзях...

Будто что-то взорвалось в голове Матвея. То ли кусок чёрной горбушки, то ли кусок огурца застрял в его глотке



на вдохе – и ни туда, ни сюда!...Казалось, ещё мгновение – и он задохнётся вот так, с выпученными глазами, не в силах справиться с бедой! Но могучий кулак собутыльника с такой силой шваркнул его по загривку, что едва было не прибил к столу. Зато изо рта Матвея вылетело что-то скользкое, слюнявое, и он наконец замычал, мотая головой, откашливаясь и отплёвываясь.

Ларивона даже передёрнуло от отвращения:


– Слухай, хлопец, ты, смотри я, не только пить, ты и поест по-человечески не умеешь! И с кем я связался, господи прости!

– Нет, это ты меня прости, пане-брате! Я сейчас, на минутку до ветру! Ой, что-то скрутило меня, посторонись-ка!

– Нет, ну, вы видели такое?! – аж взвился Ларивон. – Теперь его ещё и *швидка Настя* скрутила!

А Матвей и вправду едва добежал до конца огорода, где возвышалась аккуратная будка, под крышей которой темнело вырезанное на двери сердечко. Там его крепко вывернуло с обеих сторон, и он немного успокоился... Но уже через несколько минут, когда мыл руки под глиняным рукомойником, в ушах его вновь прозвучали слова соседа: «А дело во мне, в тебе и в яврэях...» Да, да, так ведь и сказал «в яврэях»... Неужто о чём-то догадался?..

А впрочем, не стоит заранее паниковать. А то на той неделе он чуть было не вляпался в историю... Нёс с реки, от проруби, две цеберки с чистым, выполосканным Катрусей бельём. Она ещё достигивала там мелочёвку какую-то, как вдруг он услышал за спиной крики деревенских пацанят-



голодранцев: «Держи его! Держи жида-жидяру! Стёпка, забегай наперёд!»

Как у него достало сил не оглянуться?! Но каждой клеточкой спины он ощущал эту погоню, этот вечный вопль толпы: «Держи жида-жидяру!..»

А пацанва промчалась мимо за подбитым воробышком, то взлетающим, то падающим наземь. И Матвей, оцепенев на мгновение, неожиданно вспомнил, что здесь воробьёв кличут жидами! Может, и яврэями какую-то живность зовут?..

Ан, нет! Речь, как видно, о них, о родимых!..


– Так то, шо я хочу рассказать тебе, хлопец, – всё это про между нами. Понял? – с места в карьер, сразу же, без ожидаемых Матвеем насмешек, начал Ларивон.

– Ну, понял, понял. Давай уже, выкладывай свою тайну...

– А ты не нукай! Не запрягай раньше времени. Молча слушай и мотай на ус! Понял?

На этот раз Матвей промолчал, только кивнул головой и как бы безразлично снова захрумкал огурцом.

– Так вот, сосед, должен я тебе сказать, что недели за две-три до твоего тут появления немцы в райцентре и по сёлам собрали всех евреев и постреляли, – и, неожиданно приглушив голос, добавил, глядя прямо собутыльнику в глаза. – А если честно, то этим делом ведали не только немцы. По сёлам как раз наш брат-украинец управлялся! Было такое, шо сжигали их вместе с детьми в какой-нибудь клуне, подальше от села...



Матвей мысленно благодарил Б-га, что беседа велась под покровом рано сгустившейся темноты, а то бы не скрыть ему своего волнения, тем более, что после этой неожиданной тирады последовало довольно продолжительное молчание, нарушаемое только медленным, каким-то коровьим чавканьем с обеих сторон...

И вдруг Ларивон словно бы хохотнул, отчего сердце у Матвея аж зашло в недобром предчувствии:

– Но ты подумай, сосед, шо за иродово племя! Думаешь, их всех повывели! Ага! Дульки тебе с маслом! Их и сейчас в лесу ховаются сотни две-полторы! Веришь?

– Не-а! В лесу?! Такой морозной зимою?! Быть не может! – Матвей порывисто схватил чарку с недопитым самогоном, но поставил её тут же.

– Давай-давай, Иван, глотни, а то, гляжу, ты вроде бы замёрз! Дрожишь – что ли...

– Да есть немного, да ещё ты страху нагнал тут! Я ж в лагере спал под ледяным дождём без шинели. Правда, под снегом и в мороз не пришлось. Да уже издох бы, наверно! – и он опрокинул остатки спасительной самогонки прямо в глотку.

– О! Вот это по-нашему! А ты неплохой ученик, я вижу!

– Ну, так есть же у кого учиться! – и оба рассмеялись, довольные друг другом.

– погоди, Ларивон, ну, и шо ты мне этой тайной заморочил голову!

– О! Вот это, я бы сказал, вопрос по существу, как говорил наш довоенный председатель колхоза, упокой, госпо-

ди, его душу грешную... Так слухай дальше. Я их пока что не видел, но, говорят, среди них много детей.

– Ну и?..

– Ну и надо их оттуда вывести.

– Куда? – вскрикнул Матвей. – К немцам на расстрел?!

– Тю, дурень! Я тебе шо – душегуб какой-то? Я истинно христианская душа, и ничьей крови на мне нет! – он трижды перекрестился, глядя на своё окошко.

– А на мне есть! Я до окружения фашистов несколько убил, и сейчас бы рука не дрогнула! Матвей смотрел прямо в немигающие глаза соседа: а будь что будет!

– Вот этого я от тебя и ждал, друг ты мой сердешный! Поэтому я ж к тебе за советом... за помощью даже...

– ?

– В общем, партизанская связная передала мне то ли приказ, то ли просьбу командира (он с опаской оглянулся на свою хатынку) вывести эту кучу малу детей, баб, стариков из этой зоны немецкой власти. В общем, перевести через линию фронта.

– Ну, а ты?


– Я?

– Да, да, ты?

– Честно?

– Конечно, честно, если не шутишь...

– Так вот тебе моя честность – не хочу! – и, не дав Ивану слово молвить, продолжил: – Я не хочу опять на эту бойню! Я не вояка, понимаешь? Я хочу вот этими руками, – он поднёс к самому лицу Ивана свои чёрные, шершавые, не



гнущиеся от работы ладони, – вот этими руками пахать землю, сеять хлеб, убирать навоз и сажать «бульбу». А воевать не хочу, потому как жить хочу!

– Так тебя ж не на фронт посылают, тебя ж в проводники только...

– Вот именно, шо в проводники. А провожать кого – яврзев. Да за ними ж как охотиться будут! Им разве дадут выжить? Не дадут! Значит, и мне не жить... А я жить хочу, понял?

– Да понял я, давно всё понял!

– Ну, раз понял, тогда выручай!

– Я?!

– Да ты, ты! Пойдёшь вместо меня?

– Пойду! – Матвей аж подскочил. – Когда идти, дружище?!

Однако не так скоро, более трёх месяцев, пришлось ждать Матвею этой странной, опасной, невысмысленной встречи с соплеменниками, из которых, наверное, за это время не менее полусотни перемерло...

Командир отряда решал этот вопрос не один, ждал распоряжений из Центра. Кроме того, никак не наступало потепление, видно, весна, как назло, загуляла где-то в Европе... И всё же на одном апрельском долгожданном рассвете они встретились – чудом выжившие в землянках, норах, подвалах сожжённых хат полторы сотни этих чумазых, одетых и обутих в лохмотья беженцев, и группа их сопровождения – человек семь, среди которых – одна молодень-




кая девушка. Седьмым был Матвей.

Партизан было не более трёх-четырёх, в том числе командир Савелий Вишняков и санитарка Аннушка. Ещё четверо, как узнал потом Матвей, были присланы специально, сброшены на парашютах для сопровождения. В общем-то, в группе сопровождения их должно было быть не менее пятнадцати, но, как сказал бы, наверное, Ларивон, пусть и на том спасибочки скажут...

Все были в ватниках, треухах, солдатских сапогах. Двое проводников из местных, вообще, в тёплых, добротных кожухах-гулупах.

Зато беженцы являли собою не просто жалкое, очень нелёгкое зрелище... Понятно, что нормальных мужиков среди них не было. В основном, старики обоого пола, а в большинстве, конечно, пожилые женщины и подростки. Но самое страшное – это малые дети. Младшенькой не было и двух лет. Ходить она не умела. Говорить тоже. И всё плакала, плакала на руках вконец измученной матери или инвалида-отца с оторванной по локоть левой рукой... Да у этого дитяти хоть родители были, а большинство-то осиротели!.. Матвею всё чудился немой вопрос в глазах мальчугана, чей возраст он не мог определить: огромные, почти чёрные, запавшие глазища словно сверлили Матвея: «За что это, дядя? За что нас так мучают?» На вид ему было не более четырёх. Он едва ходил: видно, стёр в кровь пятки кривоватых, раскоряченных ножек. На первом же привале Матвей подошёл к нему. Присел рядом на корточки. И тут же рядом оказалась девочка-подросток, встревоженно пе-



реводя взгляд с малыша на «дядьку Ивана», как с лёгкой руки командира стали все звать Матвея.

– Дядьку Иван, Вы не волнуйтесь, он не помешает. Если ему хуже станет, мы по очереди его понесём...

– Да ты что, девонька, я не обижу его! Как ты могла подумать такое?

– А что ж тут думать: его не разрешали брать... Знаете, как мне пришлось уговаривать вон тех двух дядек-партизан... Вы только не смотрите туда, а то они подумают, что я жалуюсь. Может, они и правы: он очень слабенький. Говорят, не жилец мол, и чего зря мучиться с ним... Оставим при кухне. Там его соседка тётка Палажка подкармливать будет, а он, как услышал про неё, так горько, так тихо заплакал... Я не смогла его оставить

– А кто ты ему?

– Я?.. Да никто. Это мой октябрёнок из 1-го «А».

– Кто «октябрёнок»? Ему ж года четыре-пять...

– Да нет, ему уже семь! Он на год раньше в школу пошёл... Успел первый класс с «Похвальной грамотой» закончить. Правда?

Малыш, чуть улыбаясь серыми потрескавшимися губами, только кивнул. В это время кто-то окликнул девочку:

– Лэйка, помоги...

– Бегу, бегу... – она с готовностью вскинулась, чуть задержавшись взглядом на Матвее, как бы прося присмотреть за мальчуганом.

– Не тревожься, я с ним побуду. – Матвей наклонился к мальчонке и тихо-тихо спросил:

— Тебя как зовут, малец?

— Моти, Мотэлэ, — одними губами прошептал ребёнок.

У Матвея от неожиданности навернулись слёзы и перехватило дыхание: это было его детское имя... Так звала его мама, даже взрослого, а теперь — только во сне... Он взял себя в руки и тихо сказал:

— А теперь ты Матвейка, понял? Так тебе будет легче.

Мальчуган, ничего не отвечая, одними глазами спрашивал: «Почему?» Потом тихо повторил: «Матвейка»...

А среди женщин выделялась высокая худая дама (иначе не скажешь!), с густой проседью в волосах и в белой большой шали на плечах. Она всё время была окружена детьми: кого-то успокаивала, кому-то косичку заплетала, кого-то недолго несла на руках, хотя за плечами у неё был большой узел... Дети звали её Серафимой Давидовной.

— Нет, я не Серафима, я Сарра-Фима, — спокойно, но настойчиво поправила она Матвея, когда он при случае обратился к ней. — У меня двойное имя. Так принято у евреев...

Матвея поразила горделивость, с которой всё это говорилось. Ей-богу, впору было бы посмеяться над этой несчастной, учитывая обстоятельства, при которых эта беседа происходила: вражеский тыл, весенний быстро темнеющий лес, пугающий трясинной и ночными заморозками, промозглая, обволакивающая сырость и эти на всё, казалось, готовые глаза голодных еврейских детей. А тут эта «дама под шалью» со своим еврейским снобизмом... Но не

до смеху было, хотя на душе как-то потеплело: мол, знай наших...


Но самой интересной фигурой был, конечно, командир. Искренний, открытый, душевный, он всё же не допускал фамильярности, панибратства не только к себе, но и к другим, особенно к женщинам. Услышав в первый же день из уст одного из партизан громкую, как оплеуху, матерщину и вслед за нею увидев дрогнувшие и втянутые от страха в плечи головки девочек-подростков, он остановил усталую толпу и громко и грозно предупредил:

– На первый раз не стану разбираться, кто себе это позволил. Ещё раз услышу – накажу по законам военного времени! А пока – вперёд марш!..

И зашуршало-зашебуршало это море человеческое, дёрнувшись в едином порыве, но с просветлёнными лицами, с угаёнными улыбками на отвыкших от радости обличьях...

Да, командир был прежде всего человеком. И Матвею через пару дней уже казалось, что они знакомы всю жизнь. Спокойный, доброжелательный, но умеющий как-то держать дистанцию между собой и небольшим составом партизан-проводников, особой деликатностью не отличавшихся, он всегда был в курсе дел беженцев. Матвею казалось, что у него даже цвет глаз менялся, когда он общался с малышами. Строгие, серые, они неожиданно голубели в тёплых лучиках, возникавших в уголках глаз.

– Ну, что, детка? Очень устала? – подходил он к прихрамывающей четырёхлетней Фейгале. – Полезай-ка ко мне на спину да покрепче за воротник держись, птенчик.



Он сдвигал набок увесистый солдатский мешок, и на левой лопатке уютно устраивалась счастливая малышка с румяными от радости щёчками...

Через несколько дней все десантники-сибиряки, сколько их было, человек 5-6, уже тоже помогали самым слабым и малым детям. А из партизан только Матвей не спускал со спины своего тёзку. Остальные, шли, конечно, не налегке, но на себе не несли никого. Может, завшиветь боялись, может, просто чурались «чужого племени»...


Вот только Аннушке командир не разрешал детей нести на закорках.

– У тебя и так ноша не по силам, – участливо оглядывал он её худенькую фигурку. – И себя ж надо побережь!

И в самом деле: лекарства, банки с мазями, перевязочный материал, спирт и целебные варенья-отвары, большие пучки сушёных трав – всё это на спине и в обеих руках несла молоденькая 17-летняя Аннушка, успевшая к началу войны закончить курсы медсестёр, одновременно со школой 10-летней.

Зато мальчишки-подростки, иногда по двое-по четверо, несли на самодельных носилках своих стариков, окончательно обессиленных в первые три недели.

По большей частью шли они ночью. Держались плотной массой и по строжайшему приказу молча, изредка перешёптываясь. Впереди шли налегке, только с заплечными торбами со своей снедью местные парни-партизаны из здешних крестьян, точнее, колхозников. Но у каждого из них в руках была длиннющая палка-тычка, которой они




осторожно протыкали землю, прежде чем ступить далее, как только под ногами начинало чавкать... Леса полесские изобиловали болотами.

Командир редко общался с проводниками. Видно, была ему не по душе их отъединённость от общей массы. Даже если они отдельно от всех, не предлагая никому разделить с ними короткую трапезу, но и не просили ничего... И Савелий Степанович терпел.

А лес, щедрый и мудрый, словно бы тоже жалел обречённых, то укрывая их, то скрывая в густой, разрастающейся зелени кустов, мхов и в ветвистой кроне могучих дубов. Словно чудо какое-то, восприняли не только дети, но и взрослые открывшуюся им в глухом кустарнике нарядную, словно девочку, молодую яблоньку, сплошь увешанную прошлогодними мелкими яблочками-кислицами. Как, каким образом выстояла она в этом дубнячке жестокою, суровую снежную зиму – уму непостижимо! Будто новогодняя ёлочка, стояла она в окружении застывших маленьких оборванцев, не решающихся снять с неё желтовато-зелёные с багровыми пятнышками плоды...

А в сосняках то и дело попадались им беличьи дупла с орешками и сморщенными, пересушенными грибами. Собственно, именно по огрызкам этих грибков, наколотых на острые, колкие отростки сосновых веток и находили подrostки эти самые, хорошо скрытые в густой сосновой хвое беличьи дупла. И как же кстати были для вечно голодной детворы эти нечастые подарки старого леса, так много повидавшего на своём долгом веку, но не разучившегося,




видно, сострадать... Особенно детям.

Когда-то давно, в мирные дни, тёплым летом или ранней осенью сюда сбегались из близлежащих деревень эти весёлые, голосистые, аукающие пострелята, и лес с облегчением одарял каждого кузовком самой душистой земляники или отменных толстоногих грибков, а по осени, в самую ягодную пору — бывало, короб за коробом уносил народ из лесу всё, что душе угодно, – и для дома, и на рынок, и в запасники-кладовые. Но это уже под силу взрослым, хотя и малышня не отставала, с детства трудиться обученная.

Как же случилась эта беда, что та же малышня да старьё-старичьё теперь бродят в поисках крова и в холодном, насквозь промёрзлом зимнем лесу, и в весеннем, с тающими островками сугробов, и сегодня, в начале лета, в ещё сыром, но пропахшем молодой хвоей, под редкое птичье пение оживающем густом сосновом бору?!.

Да-да, так и есть, война и птиц распугала, и пернатым не до радостей обнаружения прошлогодних гнёзд, не до спокойных и беспокойных поисков уютных дупел и кладки яиц. Всем досталось в этом вселенском горе...

Вот и в это позднее майское утро Матвей проснулся не от пения птиц, не от острой ветки, немилосердно колющей плечо, а от давящей, пронзительной тишины, наступившей после долгого многочасового блуждания-бегства после вечерней облавы. И когда уже всё больше несчастных стало отставать, что-то шепча и задыхаясь; когда у подростков не стало сил тащить своих стариков на закорках, а без них мальчишки не двигались с места, Савелий Степанович пе-



редал приглушённым с лёгкой одышкой голосом через неотлучных связных: «Привал... Всем спать!»


Матвей был неподалёку и видел, как бережно командир спустил со спины наземь большеглазую малышку Фейгале и уложил её рядом с Аннушкой, бессильно приникшей к широкоствольному дереву. Сам, видно, спать н не собирался. Присел рядом, посасывая пустую трубку и вглядываясь во вмиг онемевшую темноту.

«Где же он просчитался?.. Где вызвал огонь на себя?.. И никто не виноват – только он. Но вот в чём? В чём?.. И когда?..

И вдруг – точно огнём прожгло: ну, как же?! Третьего дня, на рассвете, сквозь наплывающий тяжёлый сон увидел он в кустах силуэт партизана из этих, местных, из проводников, в объятиях незнакомой дебелиой бабы в сбившемся на затылок чёрном вдовьем платочке. Инстинктивно опустил глаза: уж очень интимный был момент... А открыл только через пару часов... Однако после пробуждения так и не вспомнил: наяву было дело или только привиделось».

А потом, как обычно после тяжёлого долгого ночного перехода вокруг болотной, тёмно-коричневой жижи, они едва плелись, на ходу досасывая остатки чёрных сухарей.

Промокшие от пота и слизи оттаявших кочек, по которым беженцы не только прыгали с помощью длиннющих палок-тычек, но и просто переползали, не отрываясь от спасительной палки, не дававшей им погрузиться в почти чёрное, мрачное чрево Полесья, сейчас они просто нащупывали сколько-нибудь подсохшую полянку. И Лейка, ко-



торой, казалось, всё было нипочём, уже забежала наперёд и приглушённым голосом выкрикивала имена тех, кого не разглядела в едва наступившем рассвете.


Не было хромого Йосика, стёршего ноги до кровавых, никак не заживающих ран, не было раненного в плечо и безрукого Тевье Шустера и его жены Дуси, с вечно плачущей двухлетней малышкой и – о ужас! – ни Лэйка, ни Матвей не увидели среди спасённых Сарру-Фиму с разномастной, будто пришитой к ней малышнёй.

– Тихо, тихо, товарищи. Не паниковать! – это Савелий Степанович успокаивал плачущую Лэйку и шмыгающих носами девчушек. – Только без паники! Ведь кто-то же из них должен был спастись...

Он с надеждой обернулся на проводников, но те, уже передохнув и вроде бы не слыша, спокойно снимали с плеч и развязывали бездонные свои заплечные мешки с какой-то пахучей снедью, готовясь к трапезе.

И всё же через четверть часа Вишняков, назначив Матвея старшим и настрого запретив Лэйке следовать за ним, с группкой подростков покрепче скрылся в противоположной от их выхода на полянку стороне. Именно в той стороне, где-то там должно было быть одно из самых опасных болот, как уверяли хлопцы-проводники, знавшие свой лес назубок с детских лет.

– Не дай бог туды попасть, командир! Оттедова не выбраться. Пацанятам надо наказать: влево от того густого сосняка – ни ногой! – поучал командира один из них, более разговорчивый, чем другие...




Однако прошлой ночью, когда перепуганные постовые – те же пацаны-подростки – сквозь лёгкую дрёму неожиданно услышали тихий треск веточек и следом чужое натужное дыхание, заорали что есть мочи: «Немцы! Облава!»

Вот и бросились кто куда... И всё время, пока они с партизанами отстреливались, перебегая от широкоствольных дубов к разлапистым, почти чёрным елям, Савелий Степанович слышал откуда-то слева, именно с того самого лева, про которое предупреждал проводник, детский испуганный плач. На тот плач и повернули наступавшие на пятки фашисты, дав возможность основной группе беженцев проскочить мимо, укрыться за небольшим болотцем, хорошо знакомым проводникам. И командир слышал, как всё далее вопит срывающимся, каким-то щенячьим тенорком фашистский унтер: «Forwarts! Feuer! Feuer!» И следом раздавались одиночные, словно убежавшие от них выстрелы, пока совсем не стихли. И вот теперь ни тех, ни других, то есть ни своих, ни чужих не слышать и не видеть в этом, почти по-летнему свежем, но уже не холодном лесу.

«Бедные мои! – волнуясь, думал Вишняков. – Такую зиму пережили по подвалам и погребам, такую весну по лесным завалам да землянкам!.. А сейчас, в преддверии лета, пропасть ни за что... Нет. Не такой это народ. Надо искать».

– Тс-с-с! – вцепился в его руку сероглазый Шика. – Здесь кто-то есть.

Горячий шёпот подростка заставил группу затаить ды-




хание. Прислушались, но услышали только тихий всхлип капли с качнувшейся серо-бурой ветки. Даже привычного болотного чмокания не было слышно в это утро. Будто и болото затаилось, не выдавая тайну беглецов.

– Тс-с-с! – ещё тише просвистел Шика. – Слышу детское бормотание. Наверное, моя Берта-плакса.

Он шептал прямо в ухо командиру, и тот едва улавливал отдельные слова своим ещё в начале войны оглушённым слухом. И, приняв кивок Савелия Степановича за разрешение, мальчонка в то же мгновение змейкой соскользнул вниз, к слегка зазеленевшим кочкам, густо поросшим прошлогодним камышом. Окрик так и не вырвался изо рта Вишнякова. А Шика уже едва заметно петлял где-то справа от них, и его нечёсанный чуб того же цвета, что и прошлогодние кусты камыша и палая листва, едва заметно выныривал, удаляясь.

Командир так и держал поднятую вверх ладонь, не разрешая пацанве следовать за Шикой, когда оттуда, снизу, враз поднялись несколько детских головок, обвязанных или украшенных камышовыми стеблями, и над ними, будто старая усталая птица со сломанными искалеченными крыльями, Сарра-Фима в своей неизменной, но сейчас изгвазданной болотной жижей шали.

Встретились молча. Дети прижались к командиру. Женщины старались не плакать, кусая губы. Увидев на руках Шустера его двухлетнюю малышку, Вишняков почувствовал облегчение: плакса Берта своим постоянным нытьём нарушала тишину и, случалось, наводила лазутчиков на их



лагерь. И однажды ночью он услышал ссорящихся супругов и плачущую при этом Дусю – мать малышки. Почувствовал неладное, не удержался и тихонько растормошил спящего рядом Шикю.

– А ну, переведи, сынок, что-то мне не нравится эта ночная серенада.

– И правда, плохо дело, – прислушался к громкому шёпону родителей паренёк. – Хотят Плаксу... ну... это самое...

Шика не мог даже найти подходящее слово, чтоб объяснить командиру попытку родных взвалить друг на друга необходимость погубить дитя и спасти тем самым беженцев...

– Так я и думал! – рявкнул Вишняков и рванулся на шёпот, перекрывая его. – Ещё раз услышу про это и своей рукой расстреляю обоих! И рука не дрогнет, поняли! Перед всем отрядом расстреляю! Вы что – душегубы?! Своё дитя погубить!

И сейчас он уже не надеялся увидеть малышку живой и здоровой, поэтому почувствовал такое облегчение, глядя на замурзанную и странно молчаливую девочку...

– Да. Не густо, не густо, – оглядев прижавшихся к нему детишек и пряча глаза с пробивающейся слезой, проговорил командир.

– Виноваты мы, конечно, – за троих взрослых ответил Тевье Шустер. – Но спасли только тех, кого унесли на руках и тащили за руки...

– И я не меньше виноват! Нельзя было так близко под-

пускать врагов. Постовые-то дети!

Женщины развели руками.

– Где ж я возьму вам другой народ, как сказал мудрец! – грустно протянула Сара-Фима.

Все примолкли. Только Берточка на плечах однорукого отца что-то бормотала на идише.

– Есть, наверное, просит? – порывлся в карманах Савелий Степанович и протянул малышке недогрызенный сухарь.

– Да нет, она о другом просит, – со слезой в голосе прошептала Дуся. – О другом...


– Ну, чего тебе, малышка? – вскинул он брови.

И, глядя прямо в голубые от нежности глаза командира, вчерашняя плакса совершенно серьёзно и внятно произнесла, настойчиво повторив по-еврейски:

– Их вил лебн! Их вил лебн!

– Я хочу жить! Я хочу жить! – эхом откликнулся Шика, и голос его дрогнул.

Через неделю они вышли к железной дороге, точнее, к разъезду Юровичи, что изо всех сил удерживался горсткой красноармейцев во главе с совсем юным лейтенантом. Тот открыто обрадовался неожиданной поддержке и подмоге. Проводников и Матвея тоже, он сразу зачислил в остатки своего взвода, проверив их документы и заручившись рекомендацией командира Вишнякова. Сам же Савелий Степанович, поручив Аннушке и Шустерам присматривать за детьми и стариками, поспешил к начальнику разъезда с документами спасённых беженцев, которых, несмотря на



потери, было не менее ста, чтобы как можно скорее отправить их на «Большую землю». Но документов на каждого не было, и сам Савелий Степанович был задержан «до выяснения обстоятельств».

А между тем из хуторка с тем же именем к станции потянулись сердобольные хозяйки из тех, что не могут не помочь в горе. Прослышав о спасённых из неволи евреях, они кто с чем – кто с ведром отварной и размятой со старыми шкварками картошкой, кто с десятком яиц и парой луковиц, кто с кусками хлеба и глиняными глечиками квашеной капусты – заторопились к станционной будке. Дети, конечно, кинулись к вёдрам с ещё горячей картошкой. Но Аннушка и Сарра-Фима остановили их.

– Дети! – необычно строго обратилась Аннушка к малышам. – Все получите еду, но не более двух ложек. Нельзя. Тихо. Ти-ихо!

В ответ послышался плач детей и ропот подростков.

– Неужели ж мы с вами спаслись, чтоб вот сейчас умереть? Неужели ж мы такие жадные? – голос Сарры-Фимы был настолько убедителен и непреклонен, что дети затихли и молча ждали своей порции еды.

– Ой! Стойтя, ня надо ясти, годи-годи! – к ним торопилась с бидончиками в обеих руках маленькая старушонка в пёстром цветастом платке внакидку. – Вот поешьте мояго кислячка с цибулею – и взавтра можно всё ясти... Ящо скажете спасибо бабке Павлинке.

Сарра-Фима, пошептавшись с Аннушкой и Дусей по поводу неожиданного «лекарства» старушки-знахарки, всё

же разрешили всем его отведаать.

Улыбчивая Павлинка достала из-за пояса деревянную поварёшку и стала каждому вливать прямо в рот кисло-горьковатое месиво из простокваши с проросшими перьями зелёного лука. Малышам поменьше, взрослым и больным старикам побольше...

Хитрый Шика пристроился в очередь дважды. Бабка Павлинка шутя замахнулась на него пустым половником, но всё же наполнила его ещё раз и протянула голодному мальчонке.

Через два часа каждый получил по сухарику или горбушке чёрного ржаного хлебushка и сколько хошь кипятка, настоянного на обломках вишнёвых веточек. Вкуснота!. Остальное решили оставить на завтра и взять с собою в дорогу. И никто уже не возмущался, только прислушивался к тихому урчанию в животе и радуясь предстоящему завтраку...

А командир всё не возвращался.

– Ой, что-то загулял наш Савелий! – покрутил головой Тевье Шустер, обращаясь шёпотом к Сарре-Фиме.

– Боюсь, что не по своей воле... – подхватила его жена Дуся.

– Давайте не будем паниковать заранее, – возразила Сарра-Фима. – Мало ли кто и зачем его задержал. Иначе бы он надолго нас не бросил.

Их окружила группа шушукующихся на идише стариков.

– Хэвре! Нам это очень не нравится, – со слезой в голо-

се прошептал один из них.

– Понимаете, он же там один! Проводников забрали в отряд, и некому его даже поддержать, если что...

– Если что?! Ну что?.. Вы же у своих! Посмотрите, как местные поделились с нами едой! Здесь у нас нет врагов! – настаивала на своём Сарра-Фима, но по красным пятнам на щеках и шее видно было, как она волнуется, как ей самой хотелось бы верить в сказанное.

Подошла Аннушка, помогавшая связисту наладить связь станции с близлежащим городком: уже пора было принимать поезда и, главное, отправить раненых, больных, измученных людей с малыми детьми туда, в счастливое вчера (или завтра?), где не знали того горя, что они испытали здесь... Она тревожно переводила взгляд с одного старика на другого, вслушиваясь в непонятную их речь, пока не расслышала в ней его имя:


– Что? Что с ним? – вскрикнула девушка, на глазах у всех странно белея лицом – Что с командиром?

– Да мы сами ничего не знаем! Успокойся... Ушёл с нашими документами к начальнику станции и больше его никто не видел.

– Да-да, об этом я знаю. Я ж документы ему передала. Часть их у меня хранилась. А связист сказал, что для встречи с нами приехал из райцентра человек из НКВД и будет проверять всех.

Общее «о-о-о-о!» было ответом на эту – увы! – не самую радостную весть...

– Шат, шат, идн! Ша, ша, евреи! – воздел свои полторы



руки к небесам Тевье Шустер. – Что вы так разволновались? Сегодня не 37-й год! Нечего кипятком писять! И при этом бежать впереди паровоза! Давайте ещё часок подождём, а дальше...

– А дальше... – с надеждой протянула вся немалая собравшаяся вокруг толпа.

– А дальше все вместе пойдём к начальнику. Нельзя бросать командира. Он наш спаситель. Вместе выжили, вместе и ответ будем держать! Все – как один!


И толпа откликнулась эхом:

– ...как один!

Между тем усталые малыши уже спали, кто где присел, и женщины быстренько похватили из своих тощих узелков оставшиеся тряпки, платки, полотенца и застелили ими горбатые холмики, поросшие нежно-зелёной травкой под окном станционной будки. На них и положили уже заснувших детей и тех, что ещё томились и бродили, правда, молча, не хныча и не капризничая... Прилегли отдохнуть и женщины, и подростки, очень возбуждённые разговорами взрослых. Только старики и инвалиды присели на крылечке той же будки и, через одного оттопырив сморщенной ладонью красные раковинки ушей, пытались шёпотом в чём-то убедить друг друга.

Через час они, стараясь не разбудить спящих, только поколебавшись насчёт Сарры-Фимы, но всё же пожалев её, тихонько двинулись тёмной кучкой к стоявшему в отдалении вагончику.

– Ой, хэвре, – обратился к друзьям по несчастью Шу-



стер. – Что-то этот тёмный вагон так напоминает мне допер!*

– Ну, что ты заладил «допер-шмопер»! Что ты заранее настраиваешься на плохое? Помнишь, как говорится в мудрых книгах: ждёшь плохого – получи! – возразил, сердясь, самый старый из них.


– Да-да, Тевье, лучше помолчи. А мы все давайте ещё раз помолимся. Может, Он услышит нас...

– Азохн вэй! Боюсь: ему сейчас не до нас... Столько крови льётся... Столько слёз...

– И всё же кашу маслом не испортишь. Помолимся. «Барух ата адонай...»

Над тёмной, затерянной в открытом поле, среди отступивших лесов станцией Юровичи зазвучала, будто тихая горькая песня, неожиданно слегка усиленная вечерним таинственным эхом, эта привычная всякому еврейскому уху молитва. Зазвучала из хрипловатых уст десятка добрых, благодарных еврейских стариков во спасение того, кто избавил их от верной смерти. Может, не до конца, не навсегда, но избавил... И, поддержанная общим «Амэн», смолкла.

Одновременно с этим лязгнуло что-то внутри вагона, и медленно стала откатываться дверь товарняка, открывая перед стоящими уже в полной тьме стариками обычный рабочий кабинет совслужащего довоенного времени: с рабочим столом под настольной лампой, с портретами вождей на стене, с кипой газет и папок на столе и даже стаканом чая в подстаканнике. За столом сидели трое: началь-



ник станции Хоменко, по-доброму встретивший их после выхода из леса, незнакомец-лейтенант в синей милицеевской форме и – к радости наших ходатаев! – их командир Савелий Степанович Вишняков.

– Это ещё что за явление? Что за спектакль? – строго спросил милиционер, чуть повернув голову к Хоменко, сидящему рядом.

– А это, – слегка приподымаясь и близоруко всматриваясь во тьму, кивнул на сидящего против них Вишнякова начальник станции, – видать его лесовики...

– Ну, и что этим самым лесовикам-старикам, только что явившимся с оккупированной территории, нужно под дверью милицеевского кабинет-вагона таким поздним вечером? – милицеевский чин проговорил это неожиданно высокой скороговоркой, чуть покачиваясь и медленно подходя к широко раскрытому дверному проёму.

– Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! – Тевье Шустер, прижимая к сердцу обрубок правой руки, отодвинул левой самого старшего, тем самым как бы прикрывая его собой. – Вы не подумайте чего лихого: просто мы душой изболелись за нашим командиром! Он же нам, как отец!

И тут вся эта «могучая кучка» будто взорвалась:

– Да-да! Как отец родной!

– Дороже отца! Дороже сына!

– Вы нас поймите, дорогой товарищ!

– Он же герой! Его наградить надо! Поверьте нам!

– Мы ж не с оккупированной территории – мы к вам с того света...

– И если б не наш Савелий Степаныч, если б не он!...

– А у нас же дети! Малые дети...

Они уже не кричали – они рыдали. Плакали, как в далёком детстве, когда их незаслуженно обижали, когда им не верили. Плакали, испугавшись, что и на сей раз нет им спасения...

Как ужаленный, вскочил со своего места начальник станции. Всклокоченный петушиный его чубчик, крепко сбрызнутый сединой, мотался испуганно из стороны в сторону. Мужчина то приближался к самому краю вагона, прикладывая палец к усатому рту и длинно протягивая:

– Тс-с-с! Я сказал: тс-с-с... – то его словно отбрасывало к столу, за которым по-прежнему сидел Вишняков, только прикрыв одной ладонью глаза, а другою неловко опершись о стол, будто хотел вскочить, но не посмел.

А что же гость дорогой, коему на роду написано беречь и печалиться о своих людях, в беду попавших не по своей, тем более, воле?.. А он, молоденький, недавний курсантик-выпускник, впервые в такую переделку попавший, совсем растерялся: перед ним, вчерашним мальчишкой, воспитанным в глубоком уважении к старшим, стоят старики – кто на коленях, кто просто упав наземь, рыдая в голос и умоляя сохранить жизнь не себе, не своим близким, а тому, кто вёл их сюда долгие месяцы в холоде, голоде и постоянных облавах и, наконец, привёл... Стоят, в голос рыдают и молятся за него, не сводя с лейтенанта блестящих детских глаз и не скрывая, не стыдясь своих слёз:

– Ой, отпустите с нами нашего командира! Он же ж вы-

полнял задание и партийное, и партизанское!..

– Да вы что, граждане-товарищи? Да чего вы на колени-то грохнулись передо мной? Что вам тут синагога, граждане евреи? Да никто пока не собирался его арестовывать! Но разобраться-то надо! А у вас у многих и паспорта нет! Кому верить?

– А мой паспорт в расстрельной яме, в носовой платочек моей Ханочки завёрнутый и вместе с нею там навеки остался...

– А я внука спасал и сам спасся. Неужто паспорт надо было спасать, сынок?..

– А мой в хате сгоревшей вместе со всей семьёй...


– Да ладно вам причитывать! Хватит, говорю вам! Прекратили концерт!!!

Плач и стенания постепенно сменялись лёгким пошмыгиванием и длинными прерывистыми вздохами. Тогда лейтенант пригладил рассыпавшиеся волосы, поправил портупею и повернулся к Вишнякову:

– Ну, товарищ старший лейтенант, что скажешь по этому поводу?

– А что тут говорить, товарищ лейтенант, всё и так ясно... Верные, надёжные люди. И я в них не ошибся.

– Да и они в тебе тоже, А раз так – вот тебе все твои бумаги. Они тебе ещё ой как понадобятся. И не раз. Так что береги. А от меня получишь проездные документы да немного денег до Москвы. А там – как получится... Счастливого пути. Я думаю, поезда с утра уже начнут ходить и в Юровичи.



– Спасибо, товарищи! – Вишняков обоим крепко пожал руки и стал торопливо складывать в потрёпанную рыжую папку листки и конверты. Свой военный билет и проездные документы – в нагрудный карман.

И вот он уже внизу, в тесных объятиях своих стариков, прежде первыми не решавшимися и руку пожать командиру!

Ещё теплее была встреча, точнее, его пробуждение утром в окружении детворы, терпеливо дожидавшейся этого и тихо сопевшей от усердия, стараясь не шушукаться и даже не шевелиться, как в игре в «Замри!» Но вот он открыл глаза, оглядел эту толпу, знакомую ему до последней заплатки, широко улыбнулся и, ещё шире раскинув руки по траве, совсем по-мальчишески заорал:

– А ну, налетай, мала куча! Куча мала!

Но только Шика, Моти-Матвейка да ещё трое подростков бросились в его объятия.

Остальные просто забыли эту весёлую довоенную возню-забаву, за которую порой доставалось от матери хворостинкой, припасённой ею у входа в дом в наказание за порванные портки и рубашонки... Но где тот дом, та хворостинка, а порой – где та мама?.. И, только поколебавшись пару мгновений, дети поменьше осторожно прилегли рядом с обожаемым командиром...

А в полдень они уже заполнили два пассажирских вагона старого, побывавшего в переделках «Поезда милосердия» и в сопровождении Сарры-Фимы, Аннушки и Савелия Степановича Вишнякова отбыли в распоряжение орга-


низации Красного Креста в Москву...

Иван Шибецкий, в прошлом Матвей Дротман, так и не признавшись, что живёт под псевдонимом, и не поменяв спасших его имени-фамилии, был зачислен рядовым в батальон, в котором и провоевал до самых изнурительных боёв за Кёнигсберг, где был тяжело ранен в ногу и комиссован как инвалид.

Если б кто-то ему тогда сказал, что эта любовь, так неожиданно вошедшая в него – не только в душу и в сердце – но во всю сущность его, в каждую клеточку его тела, эта самая любовь, чуть было не испепелившая его изнутри, – кончится в один день, в один час, в одно мгновение – ни за что бы не поверил!.. И случилось это по приезду Матвея после ранения на хуторок к Кате.

Когда ему в госпитале сказали, что война для него закончена, потому что нога его «не подлежит окончательному излечению», что почти готовы документы к его демобилизации, он вовсе не был рад. Скорее даже растерялся... Ещё идёт война! А он будет где-то отсиживаться?! Да и где?.. Городок его, правда, наши освободили: он сам по радио слышал, но вряд ли кого из своих там сейчас застанешь... Если вообще кто-то в живых остался... Вот так и додумался сначала поехать к Катресе. Забрать её с собою в родные места. Почему-то с нею не так страшно было туда возвращаться.

Что? Не понимаете, чего вообще он боялся? Ну, как же! Он ведь уже входил освободителем в некоторые города и




местечки и видел, что оставили фашисты и их прихвостни после себя. Нет, не только пепелища на месте еврейских домов. Подумаешь, пепелища-пожарища! Что он погорельцев до войны никогда не видел?! И не просто могилы на кладбище! Нет, целые рвы, широкие рвы, наспех заброшенные землѣй, в которых навеки замолкли говорливые старушки и солидные неразговорчивые старики, певуньи-девушки и очкарики-мальчуганы, а главное – дети, малыши, столько малышей! Почему-то в предвоенные годы много детей народилось, нивроку*...

В общем, поехал он к своей спасительнице: ведь слово ей дал, что вернѣтся, если жив останется! И хотя за эти почти три года много воды утекло, много товарищей он схоронил, много горя сам выхлебал, но Катюшу вспоминал частенько, однако ничего о ней никому не трепался, как иные бойцы... Совестно было о сокровенном запросто всей землянке рассказывать. Хотя других слушал с удовольствием и, между прочим, не осуждал... Находились такие рассказчики – заслушаешься!.. Но сам об этом ни слова!..

В общем, много было радости у обоих от этой встречи. Хотя Матвей, если правду сказать, не надеялся на обоюдность прежних чувств: война повыжигала в его сердце много чего. Да и от Катеринки особой пылкости не ждал. А тут ещё и хромота его проклятая, которую врачи не собирались больше лечить! Но увидев, как она бежит к нему навстречу, плача от счастья, был потрясѣн и сам расчувствовался до слѣз...

Только на третью ночь решился на главное: признался



любимой женщине в том, кто он на самом деле... Дескать, вовсе он не Иван Шибецкий, а Матвей Дротман... И теперь не Иван Шибецкий, а этот самый Матвей Дротман просит её стать его женой, расписаться с ним в соседнем сельсовете, чтобы потом отправиться в родной полесский городок и там начать новую жизнь. Да, да, рядом с его родичами, если таковые найдутся. А он на это всё же надеется... Он говорил долго и почему-то шёпотом. Она лежала рядом, как и он, на спине, глядя на белеющий в темноте потолок, не видя ничего, совершенно оглушённая сказанным. Он же, от волнения не замечая её состояния, говорил и говорил, боясь повернуться к ней лицом... Наконец, шёпотом позвал:


– Катюш! Ты что молчишь?..

Она не шелохнулась. Он взял её руку в свои горячие ладони и поразился – они были как лёд.

– Катюш! Что с тобой? Тебе плохо? Я испугал тебя, родненькая моя?

Ничего не говоря, она уткнулась в ворот его рубашки и глухо, точно её душили, сдавленно зарыдала.

Нет, это были совсем не те слёзы, какими его встретила, совсем другие слёзы... Что-то словно оцарапало его сердце, какое-то недоброе предчувствие. Только он не хотел этому верить... А ласки и поцелуи – лучшее лекарство от любого горя, и на рассвете оба заснули, как убитые. Однако по солдатской привычке, реагируя на любой звук, кроме выстрелов и канонады, он проснулся и не обнаружил её рядом. Она стояла на коленях в углу под строгим ликом ико-



ны и горячо молилась, захлёбываясь слезами...

Он всё понял любящей своей душою и не осудил её. А как иначе? Однако сердце его снова больно ёкнуло...


Но наутро, за завтраком, пряча от него распухшие свои глазки-незабудки в красных прожилочках от пролитых слёз, согласилась с его предложением и о женитьбе, и об отъезде. Правда, попросила, чтоб никто на хуторе не узнал, что он еврей... Ведь по документам он всё ещё был Иван Шибецкий.

«Ну, тайна, так тайна! – подумал Матвей. – Катруся ведь от большего отказывается ради меня!»

И, хотя снова недобрым предчувствием что-то куснуло за сердце, он всё же одной рукой привлёк Катюшу к себе, а другую легонько растирал свою некстати разболевшуюся грудь:

– Ничего, моя зоренька, всё обойдётся. Я ж тебя так любить буду! Никто и глянуть косо не посмеет... Ни здесь, ни там...

И вот уже вещи собраны в тот самый бабушкин-прабабушкин сундук. Отдельно мешок с продуктами, отдельно с посудой – «черепками», как ласково подшучивал Матвей. Даже доски приготовлены на утро – окна заколачивать: Катруся не хотела продавать дедово наследство. И Матвей её поддержал: дескать, будешь знать, что есть на земле твой родной уголок-закуток... Решили расписаться уже в районе, чего дважды «туды-сюды рыпаться», как бывало говаривала Стешка. Да и не хочется с каждым объясняться, почему не венчаются в церкви. По этому поводу



бедная Катря всё плачет и плачет... Но тут горю не поможешь. И Матвей в конце концов не выдержал:

– А знаешь, девонька, я что-то побаиваюсь: не насильно ли тебя увожу? А то ты впрямь изрыдалась! Что ж это за жизнь у нас с тобой будет? Слёзы да слёзы?! Да я прежде лишь разок тебя плачущей видел, когда в отряд меня провозжала. А тут два дня не просыхаешь! Нет уж, давай – выбирай. А то у меня сердце не на месте. Будто силой беру замуж, против воли твоей....

– Нет, нет, Иванку, – она опять осеклась, и фонтанчиком слёзки в разные стороны – бзик!


Тут бы впору рассердиться, но Матвей расхохотался так, что и Катря не выдержала – прыснула сквозь слёзы. На том и помирились. Да и ночь разве не помирят любящие сердца?..

Как же он часто её вспоминал потом, эту ночь! Их последнюю ночь... И всякий раз откликалось это воспоминание песней:

Ах, зачем эта ночь так была хороша?!

Не болела бы грудь, не стонала б душа!..

Опять он проснулся перед рассветом, опять её не было рядом и в углу перед иконой не было. Но из кладовки, где хранила она свои запасы, где на полочках аккуратно сложены были разные инструменты, где давно уже приладил он к стенке столик откидной, как в вагоне довоенном видел, из этой-то кладовки свет пробивался. Он на цыпочках по холодному земляному полу прошёлся (половики уже выстиранные в сундуке лежали) и в щёлку глянул. Катря в



накинутой на плечи материнной шали сидела за той полочкой и что-то медленно писала, изредка пошмыгивая и по-детски всхлипывая.

Так же, на цыпочках, он вернулся в тёплую мягкую постель и вздохнул:

– Бедная моя девочка! Как же ей тяжело!

Но сон больше не шёл к нему. Что-то всё мучило – а что? – не понять! Когда же Катря вернулась к нему и прижалась к его груди, как обычно, он вроде бы спросонья спросил:

– Ты что – раскрытая спала? Замёрзла, как цуцик*!

Она в темноте улыбнулась ему:

– Ага, как цуцик

У него отлегло от сердца. Не могла его Катруся ничего такого написать, что бы им повредило, что бы ему не по душе пришлось – такая чистая, безыскусная...

Но утром, когда она всё-таки вышла покормить и подоить козочку, перед тем, как отдать, точнее, подарить её Стешке, он зашёл в кладовку. Письмо лежало на полке, сложенное треугольничком, и надписано было сверху старательным детским крупным почерком:

...МОЕЙ ДОРОГОЙ ПОДРУГЕ СТЕФАНИИ ПЕТРОВНЕ...

Никогда больше после этого случая он не читал чужих писем, хотя на фронте доводилось довольно часто, когда приходили письма погибшим товарищам. Просто оказался самым грамотным в своей роте, с чувством читал, так что

порою плакали, да и сам подчас тоже...

Вот и сейчас ни минуты не колебался – развернул, и каждое слово стало хлестать его наотмашь – вот тебе! и вот тебе! и ещё... если мало!..

«Родненькая моя Стёшенька! Доброго тебе дня и солнечного утра!

А пишет тебе твоя несчастная подружка, что ещё три дня назад думала, будто она счастливее за всех на белом свете. А сегодня я уже и не знаю, где же я теперь, где буду завтра и, вообще, – кто я? Вправду ли я та самая Катерина Назаровна Смолокур, шо ничего в свете не боялась? А теперь я сижу ночью в одной рубашке в своей кладовке и тайно пишу тебе остатнее моё письмо, бо вряд ли выпадет мне другое такое время рассказать тебе про свою беду, в которую превратилось моё позавчерашнее счастье.

Стёшка моя, Стёшенька! Что ж мы с тобой натворили в ту осень 41-го года! Нет, нет, я не жалею, что мы спасли с тобой человека, жизнь его молодую, цветущую. Нет, не жалею. И ты не жалей! Хотя я и знаю, что ты не рада была нашей с Иваном любви. Может, просто завидовала, как по молодости, когда я любила-кохалась с Ларивоном, а ты его увела у меня почти что с-под венца! Ладно, что с возу упало... Но ты ж не унялась! Ну, не можешь ты спокойно видеть, как люди нормально, тихо, без грюков-стуков живут, и натравила пьяного Ларивона на моего несчастного Смолокура, так что тот через время помер, вроде как от туберкулёза. Но я же знала,

что внутри у него всё отбито было... Даже знахарские мамыны травки не помогли... Никто, кроме нас с тобой об этом не знал и уже не узнает... Можешь и меня теперь из свидетелей вычеркнуть, потому что вряд ли мы теперь увидимся.

Ой, что-то я совсем про другое. А надо про нас с Ивановом, который и не Иван-то вовсе!


Стёшка, моя Стёшенька! Я знаю, ты бы сейчас сказала: «Ну, и что, что не Иван? Какая разница! Нехай, хоть Омелько, хоть Конон, хоть Дормидонт какой-нибудь – лишь бы попроторней и на работе, и на перине! Да нет, девонька, есть разница: он не Иван, не Степан, не Омелько-дурень и даже не как его там... Дурмедор, чёрт бы его не взял! И хотя он и вправду проторный и на работе, и на перине, хоть и раненый, и чуть скалеченный, да он же Мотэль – чуешь? Мотэль – а по-нашему Матвей! Да-да, по-нашему красивое имя. Но он-то вовсе не наш. Не наш, Стеха! Он яврэй, ты меня чуешь?! Нехристь он, как говорили наши старики! Что ж мне, золотко моё, делать? Он же меня замуж берёт, на своё яврэйское фамилие переводит – честь по чести! Без обману, подружка. Но я ж сначала не знала, кто он, и с превеликой радостью согласилась и замуж за него пойти, и на родину его с ним уехать.

А вышло вона как! Знаешь, я даже так не боялась, когда полицай меня страцал угнать в Германию! А в его яврэйский Залевск, или как там то местечко по-ихнему зовётся, так боюсь с ним ехать, как живой в могилу кинуться! И

зачем он мне сказал про то да про это?.. Не поверишь, подружка! Раньше я Ивановы рубахи, перед тем, чтоб стирать, обнюхивала, как кошка! А этим утром он меня целует-милует, чтоб не плакала, – а мне он уже яврээм пахнет! Чуешь? Яврээм пахнет!..»

Странное чувство нереальности, невероятной тяжести и одновременно полного отупения овладело им, когда рука его под тяжестью невесомого, так и недочитанного письма обессиленно повисла вдоль тела. Вокруг была гулкая-гулкая тишина. Только это полуграмотное, какое-то кривокорявое слово «яврэй» било его наотмашь по ушам изнутри. Вроде бы кто-то другой, не его ласковая, преданная Катруся, а скорее всё та же Стёшка-спасительница стояла сейчас в узком проёмчике двери кладовки и, подперев свои пышные бёдра, зычно гудела: «Яврэй! Яврэй!»


Он с трудом оторвал ноги от земли, вдруг сильно захромал, припадая больше обычного на больное колено. Споткнулся о невидимый в рассветной полутьме порожек, но устоял и машинально присел на лавку у стола. Письмо положил перед собой «лицом» вниз. Звякнула щеколда, тоненько пропела входная дверь. Он смотрел, как открывается вторая дверь, неделю назад его руками заботливо обитая войлоком для тепла, и Катря тихонько, чтоб его не разбудить, вошла из сенцев, одной рукой ставя на лавку маленький подойник с молоком, а другой развязывая узелок клетчатого платочка. Вот она, отойдя подальше от ведра с молоком, встряхнула ещё не прибранные после сна волосы, подняла на него всё ещё опухшие от слёз, розово - голу-



бенькие свои глазки, и он увидел, как медленно бледнеет и вытягивается её круглое лицо, как резко проступают на нём тёмные крапины веснушек, так что кирпачный её, картофельный носишко стал похож на сорочье яйцо...

Да, да, в одно мгновение она всё поняла. Только глянула на него, даже не видя ещё лежащего письма, но по отяжелевшей фигуре, по исчезнувшей вмиг юношеской его порывистости, по этой так страшно, так неожиданно пришедшей взрослости – поняла, что он всё знает про неё и про её муки, знает больше, чем она хотела бы с ним поделиться и могла бы ему сказать. Она села там же, но глаз не опустила. Прямо смотрели они друг на друга и впервые за все три года не находили слов. Словно кто-то чужой, со стороны пришедший, выкопал между ними страшный глубокий ров, и нет и не будет через него броду...

А ранним летним утром 44-го, за полгода до Победы, Матвей вышел на крыльцо парикмахерской, где уже около месяца работал, и, преодолевая боль в недолеченной ноге, присел на скамеечку. Клиентов пока не было, но он не волновался: была бы шея – хомут найдётся... Что-то после его партизанских лет и, вообще, после войны, для него уже вроде бы закончившейся, не лежит душа к этой семейной, ещё дедовской профессии... Иной раз и бритву в руки страшно брать! Плюхнется этакая холёная морда в кресло, как ни в чём ни бывало... Тройной затылок свесит на засаленный воротник... И надо её стричь, брить, голову мыть, ещё и анекдотами развлекать при этом!



У, гадына, кому война, а этому – мать родна! Так бы и полоснул гада! От таких мыслей в пот бросало даже в крепкий мартовский морозец, а вчера вообще еле опомнился – выскочил на крыльцо, почти задыхаясь. Горбатенький напарник Муля только вздыхал и головой качал:

– Контуженный – что тут скажешь!.. – и втихомолку шептал себе под нос на идише. – Ой вэй! Эр дарф хобм а рыфие аф дэм коп!*


А Матвею казалось – не контузия (ну, подумаешь – присыпало взрывной волной, одновременно ранив осколком почти в самое колено). Он знал, что это ненависть его переполняет, иной раз и не объяснишь, почему...

Вот третьего дня хоронили пастушка, напоровшегося на мину близ леса.

Похоронная процессия шла как раз мимо парикмахерской, на Варваровский шлях, к кладбищу. И красавица-попадья уж так высоко выводила «Аллилуйю», уж так празднично, почти радостно, что он, не помня себя, чуть было не выскочил в бешенстве с раскрытой бритвой в мыльной пене толпе навстречу. Спасибо всё тому же Муле: успел поймать его за завязочки на белом халате и прошептать на идише:

– Ды бист мишиге, Мотл? Халт зих ин ды хент! Одер ды вилст банахт гифинен дем тейт фин ды газлоным?!*

И ночью, вспомнив эту нарядную, ухоженную, самодовольную попадью, упивавшуюся своим роскошным грудным голосом так же, как при фашистах и бульбовцах, он вскакивал с постели, зажигал коптилку и мерил шагами



почти пустое своё жильё... Но тут же в полумраке выплывало прозрачное, бледное лицо несчастной матери пастушка, с немым благоговением внимавшей молитве над узким гробиком с останками её сыночка, и он в слезах зарывался в свой сенник*.

Так же его доводила до слёз, почти до рыданий, одна песня. Причём, только когда её пела Аля-Алевтинка, еврейская девчушка-сиротинка с того самого Варваровского шляха. Голосок у неё был чуть охрипший, будто надтреснутый. И когда по вечерам Матвей шёл проведать кого-либо из вернувшихся в местечко эвакуированных, чтоб хоть что-нибудь вызнать обо всей пропавшей родне, он, бывало, слышал, как малышка поёт подружкам, стоя на завалинке чудом уцелевшей хатки своей тётушки:

Как под старым дубом

Партизан лежит,

Золотые кудри

Ветер шевелит.

А у самой-то белокурые вьющиеся распущенные волосы, серо-голубые глазки, бантики из лоскутков по всему старенькому платьишку... «А шиксалке»* - ласково дразнились взрослые, любуясь ею и горестно вздыхая о сиротской доле малышки.


А над ним старушка-

Мать его сидит,

Слёзы проливает,

Сыну говорит...

Что она «сыну говорит», Матвей ни разу не дослушал: его



так душили слёзы, что он начинал кашлять либо окликал кого-то, пугаясь самого себя... Может, и вправду контуженный он?!

Вот, даже при воспоминании о её надтреснутом голоске коленка правой его ноги поверх левой сама собой запрыгала!

– Всё, хватит, надо успокоиться!.. Благо, пока ни одного клиента. Может, Муля не против моей прогулки вниз, к реке?..

– Нет, Муля не против, если недолго!


– Ты что – уже мысли мои читаешь?!

– Какие мысли? Сидит – сам с собою вслух разговаривает...

– Ладно, ладно, дружище, если что – я тут рядышком, у моста...

Матвей и вправду пошёл к мосту, вовсе не собираясь на него подниматься, просто немного посидеть на сером плоском камне и молча смотреть и смотреть на медленные, почти незаметные волны тёмно-коричневой Уборти, зеркально отражающей высокие грудастые облака. Что-то здесь его успокаивало, и когда он заметил такое воздействие воды на себя, поначалу даже испугался: может, его тянет к себе глубина, омут?.. Да нет, не верит он ни в какие забобоны, бабьи приметы! Просто здесь ему хорошо...

Однако задумавшись, и не заметил, как поднялся по дорожке на деревянный мост через речку, отстроенный уже в войну, при немцах, так как наши, отступая, сжигали мосты за собой – и в прямом, и в переносном смысле. А стро-




или, говорят, евреи, перед своим расстрелом. Старые и малые... Стоп, не надо о грустном, а то опять дрожь в ногах и руках начинается, и голова будто свинцом уже налилась... Он стоял, облокотившись о перила, и смотрел вниз.

Неужели там и его старики были? Про Алевтинкину мать – красавицу Ольгу – он точно узнал от одного из клиентов. Да и не клиент он вовсе – так, пацан пятнадцатилетний, а тогда ему было на три года меньше – осенью 41-го... Рассказывает, была она беременная, но всё равно красивая, вся, как в золоте, в своих светло-рыжих распущенных кудрях... Они глаз с неё не сводили, особенно один из карателей, прибывших из Львова. И первым же выстрелом её снесло в яму... Да, а теперь вот её дочурка, спасённая тёткой, увёзшей её на далёкий Урал, поёт вечерами про золотые кудри...

Матвей вздохнул и хотел было повернуть назад, но услышал резкую команду и мерный тяжёлый топот множества ног откуда-то сзади.

Снизу по крутой протоптанной тропинке поднималась группа пленных немецких солдат, ведомая двумя молоденькими бойцами. Матвею стало как-то не по себе при виде этой разношерстной, убогой толпы. Будто что-то знакомое, давно пережитое, но не забытое кольнуло даже не в сердце, а куда-то в шею... Да, да, вспомнился ему тот страшный август сорок первого, и он машинально стал шарить глазами по рядам-шеренгам, будто ища знакомые лица... И сам усмехнулся: вместо курносых русских и черно-волосых азиатских лиц – эти, хотя и осунувшиеся, мрачно-



ватые, но с правильными, выразительными чертами... Хотя, не все, положим. Вон какой крючконосый, а этот, как боров, – тоже мне арийцы! Он, видно, вслух хохотнул, потому что кто-то из последних, поднимавшихся на мост, искательно улыбнулся ему навстречу. Но Матвей и не взглянул на него: он смотрел на того, кто шёл за ним, и не мог оторвать глаз от этого узкого, острого, какого-то по-птичьи хищного лица, которое узнал бы из тысяч ему подобных. А пленный, подняв глаза, большие, тёмные, с нависшими куриными веками, на миг прикрыл их, тоже, видимо, что-то припоминая. В следующее мгновение Матвей, не помня себя, сделал только один шаг здоровой ногой и рванул его на себя, ухватив за ворот серого мундира:

– Что, гад, узнал? Узнал, бандюга?..

Тот неожиданно повалился на колени и попытался обнять ноги Матвея.


– Прости, брате, прости, бис попутав!

– Простить?! Нет уж! Помнишь мою шинельку, гад? Отдавай её, падлюка! Что, недолго, видно, в ней проходил, сменил на другую, раз сегодня вместе с этими?

А тот только корчился в пыли, как припадочный, и то ли плакал, то ли хохотал, пытаясь дотянуться до ног отпрянувшего на тротуарчик моста Матвея, и хрипел:

– Прости, брате! Так ты за ту шинельку! Ой, прости, ой прости, брате! – и снова корчился в странном этом припадке хохота-рыдания.

– Брате?! Да какой же я тебе брат, гад ползучий? Разве ж брата на смерть обрекают! – Матвей еле сдерживался, чтоб



не садануть ногой по этой мерзкой, тощей, ненавистной роже, не раз являвшейся ему в его кошмарных снах после ранений и контузии.

– Эгей? Что там? А ну, немчура, не прикидывайся! Ишь ты – моду взял больным прикидываться!

Это подошёл конвоир:


– А ну, ауфштейн! Пашшёл, давай, фашист недобитый! Растуды твою мать!

Узколиций, медленно поднимаясь, нашарил под ногами серую с чёрной полосой пилотку, машинально постучал ею о колено, отряхивая, и, не отрывая от Матвея умоляющих слезящихся глаз, боком-боком побрёл к понуро стоящей уже за мостом толпе пленных.

... У Матвея же было такое впечатление, что он оглох и онемел одновременно. Да ещё и врос двумя руками в перила, стоя спиною к ним. Просто не мог двинуть ни рукой, ни ногой несколько минут. Да что ж это такое?! Что это с ним?! Вот сейчас они свернут за угол, пройдут два десятка метров до вокзала, сядут в издалека уже наплывающий поезд – и прости-прощай мерзавец, оказывается, живущий под чужим именем!!! Может быть, шпион, который ещё принесёт кому-то беду?.. А он, как последний трус, молчит?!

Но язык не слушался, ноги не двигались, а тело обмякло, так что он вообще осел на узкий деревянный тротуарчик моста, почти теряя сознание.

Подъехала подвода. Возница, кряхтя, слез и подошёл к Матвею:



– Ну, шо, паліхмахер? Трохи перебрал чі шо? Не можеш і до своєї цирульні дійти? Ну, то давай підвезу, може, коли побризкаєш дікалоном? – пытался шутить мужик, волоча под мышками длинноногого парня по деревянным доскам моста к подводе...


Но везти пришлось не в парикмахерскую, а в больницу, где он провалялся два месяца с подозрением на паралич конечностей и речевого аппарата.

А здесь от довоенного краснокирпичного добротного здания больницы остались только крыша да стены, не было даже кроватей. Набитые соломой прочные немецкие мешки с несмываемыми клювастыми орлами, заправленные серыми простынями с разноцветными заплатками, лежали в лучшем случае на деревянных топчанах, а то и прямо на полу. В окнах не доставало стёкол, их заменяли фанерные обломки щитов с ещё сохранившимися объявлениями: «Ахтунг! Ахтунг! Партизанен!»* Всё это придавало холодной и унылой палате довольно экзотический вид... Матвей, с трудом ворочая шеей, пытался вслух читать, но лишь мычал.

Однако битый и штопанный организм парня всё-таки выстоял, и однажды ночью перепуганная санитарка была разбужена отчаянным, хриплым, будто придушенным голосом:


– Стой, гад, стой, не уйдёшь! Братки! Держите фашиста! Так, спустя полтора месяца он попытался было остановить того, кто воплощал для него зло в чистом виде...

Первое, что он хотел сделать, выйдя из больницы и при-



храмовая ещё больше из-за разболевшегося раненого колена, – это обратиться в милицию и рассказать о той злополучной встрече на мосту, после которой он два месяца провалялся в больнице и до сих пор то ли заикается, то ли пришепётывает, в общем, никак речь свою в порядок не приведёт... Как всегда, ночью, дома, закинув руки за голову, он лежал на своём топчане, уставившись в белеющий в лунном полумраке потолок, и обдумывал, с чего бы ему начать разговор ... С плена?.. А как иначе? Но ведь ему повезло, что пленом этим его не попрекали, как других, когда после партизанского похода попал он снова в армию. Может, сказались характеристики за личной подписью Ковпака и Руднева... Может, сыграло роль ранение в последнем для него партизанском бою, когда он прикрывал собою отступающих в глубь леса товарищей?.. Но ведь не напоминали никогда ему о плене, хотя он ничего в анкетах не скрывал!.. Да разве ж такое скроешь?

И что сейчас делать – пойти и донести на самого себя?! Вот, мол, я такой-рассякой мерзавец, попал в окружение, будучи контуженым, и не застрелился, как того требует красноармейская честь, а оказался в фашистском плену и не был там расстрелян, хотя по национальности еврей... Своими глазами видел я, как убили моего политрука-еврея, моих однополчан – друзей детства... И что? Кто-то тебя после этого слушать будет?.. Да возьмут за белые ручки, а то и за шкуру и отведут дурня куда надо... Что же делать? Он лежал, вскакивал, ходил по пустой холодной комнате из угла в угол и разговаривал сам с собою.




И вдруг вспомнил о встрече на рынке с матерью школьного дружка-одноклассника Володьки Кальненко. Она ему рассказала, что её сын тоже после ранения уволен в запас и служит начальником милиции в соседнем районе, недавно освобождённом от оккупантов. Ещё тогда ему тотчас захотелось увидеться, узнать подробнее о расстрелянных за кирпичным заводом... А сейчас – самому рассказать о наболевшем хочется, душу облегчить...

Он зачастил на рынок к тётке Одарке, выпрашивая о приезде сына. И в одно из воскресений они встретились. Утром аккуратный, даже щеголеватый капитан в милицеской форме, с налёту поднявшись на высокое крылечко, весело тарабанил в облезлую, давно не крашенную дверь.

– Мотька! Матвейка! Давай открывай, друзяка!

Ах, какая радость встретиться со школьным дружком, что делил с тобой не только чёрную дубовую парту почти под носом учителя, так что ни списать, ни подсмотреть в учебник – в случае чего!.. С дружком, который давней зимой вытащил его, чуть не утонувшего в полынье, когда они катались на самодельных коньках по замёрзшей Уборти. А тем же летом из той же Уборти уже он, Матюха, вытащил Володьку, у которого судорогой ногу свело в ледяной воде на глубинке у гончарни! Как же весело они об этом вспоминали в палисаднике родительского дома капитана, потому что тот наотрез отказался присесть на облезлую лавку, за колченогий топчан, названный Мотькой столом! Наотрез и как будто с испугом. Во всяком случае, его как-то передёрнуло всего, когда он увидел это нищее, оди-




нокое, разграбленное жильё, так радовавшее его до войны теплом, уютom, запахами свежей выпечки!.. Да, он, конечно, знал, что это не было прежде жильём друга (ещё по прибытию из госпиталя убедился в том, о чём рассказала мать – даже печная труба не сохранилась от Мотькиного дома: прямое попадание снаряда). Но ведь и в этом доме он бывал с Мотькой не раз...

Что ж он не понял, кто вынес отсюда всё до последней катушки ниток?! Кто разобрал на дрова добротный сарай, выкорчевал по осени «белый налив» и «папировку»?! Вот эти догадки и гнали отсюда на редкость порядочного хлопца Вовку Кальненко, потому что стыдно было ему за своих, да и Мотькиных земляков и соседей... И, щадя своего дружка, боясь задеть его самолюбие, Матвей ни словом не обмолвился о них, о том, что видел то в одном освещённом окне, то в другом их довоенные вещи: блестящие шарики на никелированной кровати из спальни его родителей, видел старое, дедовское ещё кресло, пасхальную посуду на полках, много чего видел, да ладно! Всё это дело наживное. Противно, правда...

И Владимир увёз друга к себе в родительский дом, где, к счастью, ничего не изменилось...

Под старой раскидистой грушей Одарка накрыла им скромный ужин, с трудом уговорив Матвея взяться за ложку, хотя есть ему, как всегда, хотелось. Он и не помнил, когда ел такой холодец, такой винегрет, такое тающее во рту сало... А хлеб, большой круглый каравай на вышитом полотенце! Одарка не успевала нарезать большие чёр-



ные ломти, так быстро они исчезали из молодых крепких ладоней едоков. Матвей старался почаще делать паузы, отодвигал тарелку, но Володька, улыбаясь, придвигал её и сам набивал себе полный рот, наслаждаясь хрусткой капустой-«пелюсточкой» и твёрдыми, будто с мороза, солёными огурцами.

– Ешь, ешь, друзяка, – подбадривал он гостя. – Думаешь, я каждый день так ужинаю? Это мама ради моего приезда и твоего прихода расстаралась! А так перебиваюсь в нашем буфете чем бог послал.

– Вот-вот! А женился бы, каждый день ел бы как человек и не мучился бы животом! – вмешалась Одарка, на что сын привычно отмахнулся.

– Так, говоришь, вышли вы к своим в Юровичах? – продолжая уже завязавшуюся беседу, обратился Владимир к Матвею. – Большие были у вас потери?

– Пока шли ночами, а отсыпались днём (всё же дети и старики с нами шли), примерно, раз в неделю нас окружали, преследовали и, как результат, человека три-четыре не возвращались на место встречи...

Скажем так, четвертую часть мы потеряли...

– Так говоришь, Матвей, ты в Юровичах побывал? Это те, что в километрах десяти от Белоруссии? – обратилась вдруг к нему хозяйка.

– Да кто ж его разберёт на тот момент – где Украина, а где уже и Беларусь...

Только ноги помнят болота гибельные да леса бесконечные...

— Да, да, это моё родное село. Значит, и его уже освободили, слава Богу... — Одарка истово перекрестилась, смахнув слезу. — Ох, давно я там не была, ох, давненько...

— Вот и одна наша беженка тоже оттуда родом вроде бы... Правда, родня вся её покинула деревушку ещё задолго до войны, после смерти отца.

— Ну-ка, ну-ка, кто ж это? Ты ж про еврейку, как я понимаю, рассказываешь?

— Ну, кого ж мы спасали — их, бедолаг, — сдержанно ответил Матвей.

— Не скажешь ли имя-фамилию землячки, может, и вспомню её...

— Фамилию не знаю — документы все у командира были, но имя такое раз услышишь — не забудешь.

— Ну? — Одарка высоко подняла свои не желающие стареть чёрные бровки.

— Сарра-Фима!

— Ух ты! Ничего себе! Прямо царица Савская! — воскликнул Володя.


— Ну, царица не царица, а моя подружка и соседка, — как-то просветлённо и признательно промолвила Одарка.

Теперь уже Матвей потрясённо охнул:

— Неужто правда? Вот это да!

— Правда-правда! Можно было забыть кого угодно — только не эту семью!

— А что так? — Владимир положил ложку рядом с глиняной миской и, как в детстве, подпёр кулаком подбородок — само внимание.



– А её отец был хлебопёком, да каким! Никогда вкуснее хлеба не ела, чем тот, что снимал с деревянной лопаты Давид из Юровичей! Так его в округе звали. В селе многие пытались у него научиться, а он и не скрывал секретов, но ничего не выходило... Вроде бы всё делали, как он, – а нет, не то выходило... Потому в селе его очень уважали.

– Надо же! – в восхищении покрутил головой Владимир.

– В Юровичах при мне любили пересказывать одну историю, – задумчиво присев на край стула и уставившись на огонёк свечи, Одарка словно забыла о гостях и вспоминала для себя.

« – Стояла лютая зима восемнадцатого года. У нас на Украине что ни день – власть менялась. Грабили народ кто только мог... Так в Юровичи принесло и петлюровцев. Первым делом взяли всё у евреев, у наших соседей тоже, хотя Давид и его пятеро дочек с утра до ночи пекли дармоёдам хлеб и относили в поповскую усадьбу, где разместились начальство. Пекарь боялся от печки отлучиться и с готовыми паляныцами посылал двух средних – Златку и Ханку. А девки были одна краше другой: круглолицые, чернобровые, ресницы – на полщеки! Глаз не оторвать! Пока петлюровцы были голодные – ничего вокруг не замечали. А как залили глаза самогоном да понаедались всем, что награбили, – тут и девчонок увидели и, даже не задумавшись, потянули до поповских покоев, зажав им рты руками погаными...»

У Матвея нервно запрыгала коленка, заходил ходуном кадык на жилистой шее. Володька тоже вскочил из-за сто-



ла, нервно потирая кулаки.

« – Но бедный Давид, видно, предвидел подобное и посылал за ними приглядывать малышку Сарру-Фиму. Она стояла позадь церковного забора и не сводила с сестёр глаз. А тут зашли в хату, а назад никого. Она и подняла такой крик, такой гвалт, что мало насильникам не показалось! Отпустили – с перепугу, не поняв даже, что это еврейки...

А ближе к сумеркам в дом Давида ихний сотник заявился. Огляделся в чистой уютной хате, устался на красавиц-дочерей и процедил сквозь зубы:

– То, что ты нас вкусным хлебом два дня кормил, – это то ты свой яврэйский долг перед христианами выплачивал, за то, что распял нашего бога... А вот теперь тебе настоящее задание. Видишь, какой мороз лютый на дворе? Нам же приказано завтра выступать, а у моих хлопцев варежек нет. Что это за войско казачкое, если у воина рука не в варежке, а в тряпке-ганчирке?! Ну? Согласен?

Тот машинально кивнул.

– А раз согласен, чтоб к утру на этом самом подносе, где хлеб лежал, чтоб тридцать пар шерстяных варежек лежали. Иначе, – он прожёт пекаря недобрым оком, – чикирдык вам будет – всему твоему семейству... Уразумел?

Бедный Давид аж взвился – кто ж ему это свяжет? И где взять столько шерсти? И так много! И всего одна ночь впереди...

Боже, боже! Была б жива жена – нашла бы выход... А что он? Только и может что хлеб печь...»

– А дальше-дальше, мам! – торопил её сын.

« – А что дальше?.. Глаза боятся – руки делают. Через четверть часа все пять девчонок уже сидели за спицами, а бедный отец бегал по соседям и рассказывал о своей беде. И, знаете, видно, другими были наши родители, не похожими на тех, кто за шмат сала да пляшку самогонки продавал своих соседей совсем недавно, в эту оккупацию... А тогда ни один не отказал нашему пекарю. Бабы и девчата со всего села взялись вязать да шерсть прясть, и работа закипела. А Давид только перебегать успевал из хаты в хату и подносить кому шерсть, кому нити, а откуда и готовые уже изделия домой приносил. Были такие, что доставали из своих сундуков новые, ненадёванные рукавицы...»

– И что вы думаете, сынки мои дорогие?

– Неужели собрали тридцать пар?!

– Это ж шестьдесят больших – мужских рукавиц?!


– Да, именно так, дети мои. Спасли мои земляки своего хлебопёка.

– Да, скажу я вам, красивая история! – причмокнул языком Владимир.

– Только вряд ли её поняли бы мои соседи, – не отнимая ладоней от глаз, молвил Матвей.

– Оставь, Матвию, их сам бог накажет. Иных уже наказал. А ты освободи сердце от злобы – не рви его, и так войной покалечено! – хозяйка так тепло, по-матерински глянула – слёзы навернулись.

В эту ночь друзья не сомкнули глаз. Правду говорят, что летом ночи коротки, как счастливые сны. Сверкнут незем-



ным отражённым светом – охнуть не успеешь. И наши парни даже не вошли в дом, где мать постелила сыну с дружкой детства в его комнате на ещё дедом сколоченных двух топчанах. Так и просидели за столом под цветущей грушею то вполголоса, то шёпотом рассказывая друг другу обо всём, что с ними было за эти долгие страшные годы, ничего не тая друг от друга. Даже о своей счастливой и несчастной любви рассказал Матвей другу детства. Только о причине разлуки не смог – сил душевных не хватило. Попросил отсрочки...

А с рассветом, наскоро умывшись холоднющей колодезной водой из-под глиняного умывальника с пуговкой, парни вскочили на видавший виды трофейный мотоцикл «Харлей» и помчались, тарахтя немилосердно по просыпающемуся местечку. Матвей соскочил с него у дедового подворья, а Владимир, выжимая сцепление и прижимая ногой тормоз, скороговоркой прокричал:

– Не хандри, дружище, жизнь у нас с тобой только начинается. А его мы найдём! Если только земля его ещё носит – найдём!

И правда, не прошло и месяца с тех пор, Матвей только успевал писать заявления и заполнять какие-то анкеты, как вдруг примчался за ним в парикмахерскую его «друзяка»:

– Давай заканчивай свои стрижки-брижки и поехали к мамке. Есть повод, Матюха, выпить и закусить.

– Может, всё же ко мне? – застеснялся Матвей, оглядываясь на улыбающегося Мулю и спрашивая одними глазами, можно ли отлучиться. – У меня там тоже сальцо есть и

к салыцу найдётся.

– Ещё чего, хлопец! Мамка такого борща наварила с чесночными пампушками! Без тебя за стол не пустит!

Матвей в ответ только застонал, предвкушая удовольствие, и послушно уселся позади Володьки.

Однако помимо отличной трапезы, ничего что бы порадовало Матвея, не случилось. И друг Володька, не решаясь самостоятельно сообщить Матвею содержание официального письма, попросил свою мать поддержать как-то хлопца.


– И что ты этим хочешь мне сказать? – кивая на прочитанный листок, но не отрываясь от миски с горячим, наваристым борщом, прогудел с полным ртом Матвей. – Как это понять «... не имеется сведений по Вашему запросу»?

– А вот так и понимать, как написано: нет у них сведений об описанном тобой гаде. Да и фоторобот не сбавывает – ничего похожего не проходило по арестованным предателям...

– Значит, прозевал я гада, прозевал, проворонил...

– Слухай сюда, друзяка, что ты так сокрушаешься из-за этой гниды? А может, овчинка выделки не стоит? Нет, ну сам подумай: такая война идёт – никак не кончится, столько людей сгинуло и ежедневно гибнет. А ты с этим подонком носишься, что забрал твою шинельку и признал в тебе еврея. Кстати, он ведь не выдал тебя фашистам!

– Да просто не успел! – Матвей отложил в сторону свою ложку и пристально, не моргая, глянул на товарища. – Значит, так ты меня понял, друг мой хороший: шо я просто



морочу людям голову. Да, может, попервах оно так и кажется, но не от тебя бы мне это услышать... Я ж тебе душу открыл, шо просто нутром чую: враг это, страшный враг встретился мне на пути. А!


Он обречённо махнул рукой и, поклонившись застывшей у печки хозяйке, скороговоркой поблагодарил:

– Спасибо Вам, тітко Одарко, за всё спасибо. А меня за назойливость простите. Не поминайте лихом!– и он, нагнувшись под притолокой, покинул гостеприимный дом, мягко отодвинув от двери раскинувшего руки Владимира.

А вскоре пришла Победа, такая долгожданная, такая счастливая и одновременно печальная: столько достойнейших людей её не дождалась! Столько детей её не увидели! И столько просто не родилось на свет!..

Но городок стал оживлённым. Из эвакуации возвращались молодые вдовы, рано поседевшие матери и осиротевшие дети. Но даже на пепелищах расцветали полуобугленные юные вишенки и яблоньки. И в майские весенние деньки можно было встретить подростков с саженцами, выкопанными ими на пепелищах и высаживаемыми у новых, хоть и временных жилищ.

А с войны в маленькое еврейское местечко возвратилось совсем немного победителей: большая часть их осталась там, на войне, на полях отгремевших сражений... Но 9 мая с утра на кленовой аллее, что раскинулась против уцелевшего здания Госбанка, по обе её стороны, собрались жители местечка, прибранные и принаряженные. И ровно в 10 часов появились в начале этой аллеи местные музыканты –




один с трубой, другой с аккордеоном – и под «Марш артиллеристов», которым «Сталин дал приказ», в аллею въехала длинная кавалькада кавалеристов в партизанских папахах с красными лентами. Их поздравляли криками: «С Победой!», «Ура!» Кто-то сунул Матвею в руки букет черёмухи, и он тут же вручил его усатому всаднику. Тот, наклонившись, передал цветы малышке с двумя косичками, а она, видно, впервые получив такой подарок, замешкалась от радости, но её тут же вместе с букетом подхватил на руки другой победитель...

Такой вот праздник проходил на глазах людей, в общем-то, разучившихся радоваться. Но жизнь брала своё. Отстраивались полуразрушенные дома, отмывались от копоти и белились мелом и известью чёрные, но отштукатуренные дома-погорельцы, раскапывались огороды и зеленели молодым картофелем приусадебные участки. Особенно хороши были возрождённые из пепла вишнёвые сады, которыми всегда славилось еврейское местечко. Будто юные девочки в белоснежных веночках, они тянули хрупкие ветки-ручонки к небу, то ли молясь, то ли благодаря небеса за дарованную им жизнь.


Всё это время – почти год, а может, и более – Матвей и Владимир почти не общались, несмотря на попытки капитана заманить друга к матери и довольно редкие его приезды на работу к Матвею. Тот замкнулся, точно застегнулся на все пуговицы, и просто вежливо отклонял все приглашения друга.

Но капитан Кальненко, сил своих не тратя даром, всё это



время был на связи со знакомыми коллегами-смершевцами, энкаведэшниками, читал и перечитывал списки коллаборационистов-предателей и пересматривал тысячи фотокарточек в профиль и анфас. Ведь ни имя, ни фамилия подонка ему не были известны. Единственная «ухватка» – «западенский говорок» разыскиваемого и то, что за год до конца войны он уже был в плену у наших, причём, среди немчуры... Значит, карьеру успел сделать где-то в здешних местах... Надо сказать, и Одарка, чувствуя непонятную какую-то вину перед «хлопцем», расспрашивала своих знакомых о проходивших на Полесье погромах, сожжениях, массовых расстрелах евреев и об участии в этих «операциях» полицаев-западенцев. Надо сказать, она тоже собрала немало интересного. Но невозможно было уговорить Матвея пообщаться, посмотреть и почитать об этом. А напрасно. Может, прослушав рассказы тётки Одарки о расстрелах в Залевске и Дубровицах, Матвей бы раньше определил, кого же он всё-таки ищет...

Но прошло не менее двух лет прежде, чем клубок стал разматываться. Одарка, торговавшая всякой всячиной на воскресном рынке, в том числе семечками зимой и вишней-смородиной летом, собирала у себя для кулёчков старые газеты, которые ей в избытке привозил сын из своего райцентра. Прежде чем порезать газету на аккуратные квадратики, женщина удаляла из неё портреты известных лиц: она помнила, чем закончилось невнимание к портретам для соседа-сапожника, завернувшего клиенту новые сапоги в «Правду» с фотографией одного из первых лиц



государства. Мастер получил 58-ю статью «без права переписки», зато клиент – совершенно бесплатно отличные хромовые сапоги. Вот и просматривала газеты довольно внимательно. Кое-что и прочитывала.

В этот вечер ей попала на глаза небольшая заметка с заголовком: «Сколько верёвочке ни виться...» о том, что в немецком городе Ахен был опознан бывший полицейский (имя-фамилия до суда не публикуется), принимавший участие в расправах над мирными жителями на оккупированной территории Украины. Опознала его землячка, прибывшая в Германию из Москвы по делам Красного Креста и Красного Полумесяца. Точнее, по необходимости возвращения из бывших фашистских приютов наших малолетних соотечественников.

Маленькая заметка без имён и фамилий... Что же так взволновало Одарку – она и сама бы не объяснила себе... Но что-то подсказывало ей – это он – тот, кого ищет Матвей. И, несмотря на поздний час, сначала заторопилась на почту позвонить сыну, но вспомнив, что почта работает до семи, а уже девятый час, повернула на улицу, где в дедовой довоенной халупе жил Матвей.

Тот очень удивился появлению поздней гостыи, однако почувствовав серьёзность этого визита, пригласил её в дом. Женщина не стала осматриваться по сторонам, как обычно делают в новой обстановке, а просто молча протянула парню аккуратно вырезанный из газеты квадратик. Он не прочитал – проглотил текст и стал лихорадочно искать продолжения, вертеть заметку так и сяк, а затем уста-

вился на гостью:

– Ну и что? Тётя Одарка, что дальше?

– А это уже вы с Вовкой копайте дальше.

– А Вовка знает?

– Пока нет. Я только прочитала. И сразу – к тебе...

– Спасибо Вам, родненькая... Я провожу...

– Нет, нет. Ложись спать. Утром Вовка приедет. Завтра обедать к нам, – и только после этого она огляделась, но тут же опустила ресницы: так резала глаза эта обнажённая нищета и запущенность жилища. Выждав минуту и, справившись с волнением, подошла к парню:

– Сынок, Матвейка, оставь завтра ключик под крылечком, когда уйдёшь на работу. Ну, пожалуйста, сынок! Ну, не смогу я спать по ночам, зная, как ты тут мучаешься, в этом гадюшнике.

– Не надо, тётя Одарка, это не гадюшник, это последнее пристанище моих стариков. Отсюда их погнали на смерть, туда, вниз к кирпичному заводу... Какой же это гадюшник?.. Это теперь моя хата, и меня тоже отсюда нехай... – у него перехватило дыхание, он всхлипнул и закашлялся, чтоб не зарыдать.

– Перестань, я всё знаю. Успокойся. Я тебя очень прошу, Матвейка, будь человеком, Дай мне тут трошки прибраться. Тут же присесть не на что...

– Ладно, будь по-вашему. Но я за всё заплачу, так и знайте!

– Э-э-эх! И не стыдно тебе, хлопец?! Мать своего лучшего друга в наймички нанимать?! И во сколько ж ты оце-


нишь мою к тебе сердечность, а?..

Матвей только покачал головой и положил на стол ржавую закорюку ключа.

– Спасибо Вам, родненькая... Вот... Возьмите. Я дверь гвоздём закрою...

И правда, эта маленькая заметка дала толчок многомесячным расследованиям и активной переписке капитана Кальненко с комиссией по привлечению к ответственности вчерашних коллаборационистов. Были опрошены десятки свидетелей участия этого Стервятника в расстреле более пятисот евреев в Залевске. Выяснилось, что он после этого пошёл на повышение и возглавил полицию в Дубровицах и после этого, выслуживаясь перед «благодетелями», не просто руководил расстрелом еврейских детей, стариков и женщин, но делал это собственноручно, получая от этого звериное удовольствие...

А через год в одном западноукраинском городе состоялся открытый суд, на который приехали и капитан Кальненко, и Матвей Дротман, и шестнадцатилетней хлопчик из Варваровки, села близ Залевска. Тот самый хлопчик-пастушок, что оказался случайным свидетелем расправы с несчастными залевчанами целой банды казаков, прибывших из Львова, среди которых был и Стервятник. Свидетели выступали друг за другом, как бы выстраивая историю падения человека, начиная с его плена и доноса на своих вчерашних товарищей по оружию. Об этом рассказал Матвей: и о гибели однополчан, и об отнятой шинели, и о слу-




чайном своём чудесном спасении. А вчерашний пастушок о том, как холодным ноябрьским днём на обочине Залевска этот предатель расстреливал малых детей, седобородых старцев и беременных женщин. С документами о его службе в полиции Дубровиц выступил капитан Кальненко и о его «подвигах» там он тоже рассказал. Опираясь на письменные свидетельства двух отбывающих на тот момент наказание полицейских из Дубровиц, прокурор помог нарисовать картину бегства обвиняемого вместе с немцами под напором советских войск. А дальше вновь попросил слова Матвей Дротман и рассказал о встрече со Стервятником в освобождённом Залевске, когда тот с пленными фашистами после ремонта моста через Уборть был отправлен, видимо, на другие работы. Причём, маскируясь под немца. Капитана сменила статная, неопределённого возраста дама с короткой стрижкой седых, чуть выющихся волос. Что-то неуловимо знакомое было в её высоких скулах и таком же разлёте бровей над строгими карими глазами. Но стоило ей произнести слова приветствия уважаемому суду, как Матвей тотчас узнал этот характерный, будто надтреснутый голос, с лёгкой хрипотцой.

«Сарра-Фима! Это же она!» – он почти вскрикнул и вскочил с места, но на него отовсюду зашикали, и Владимир с силой усадил его на место.

– Успокойся ты, да я всё понял! Давай слушать, Мотька, не мешай же никому!

– Да-да. Я понял. Ты прав, друзьяка.

Сарра-Фима и бровью не повела в их сторону, хотя не



могла не услышать своего имени из уст Матвея. Речь была ровная, спокойная. Чувствовалось, что она не раз выступала на эту тему. Матвей был настолько заворожён музыкой её голоса, что не сразу вник в суть рассказа. А она говорила о том, как встретила подсудимого, будучи в командировке по возвращению из плена на Родину советских детей.

В одно из посещений детского приюта в немецком городе Ахо, что на границе с Бельгией, она просто увидела его через окно мрачного особняка, где в очередной раз, волнуясь перед встречей с малышами, ждала их. Почему-то она сразу узнала в нём бывшего воздыхателя сестёр. Не поверив своим глазам (вместо небогато одетого в сорочку с ремешком и тёмные брюки, вылинявшие на коленях, каким она его запомнила по педтехникуму), женщина удивлённо проводила взглядом довольно упитанного типа в светлом плаще, который, поигрывая, нёс в одной руке щегольскую трость, а в другой – жёлтый потёртый портфель. Но на другой день она снова встретила этого знакомого незнакомца. Несмотря на то, что не видела его около десяти лет, женщина узнала в нём сокурсника сестёр и окликнула по имени. Она увидела, как он вздрогнул от неожиданности и словно бы споткнулся, но почему-то не обернулся, а зашагал прочь и вскоре скрылся в первом же переулке. Это показалось ей странным, но она ни на минуту не усомнилась в узанном земляке. Что-то было в нём такое птичье, узкоплечее, насторожённое, запомнившееся ещё с юности, когда он кружил вокруг дома, высматривая сестру Златку.

Но та, предупреждённая младшей сестрой, успевала избегать встреч с ним. «Стервятник» – такое прозвище он получил из уст сестёр ещё тогда.

В перерыве между заседаниями суда Матвей извинился перед другом и бросился искать свою знакомую. Она увидела его и приподнялась с кресла, приветливо улыбнувшись. Он подбежал и порывисто обнял женщину. Она в ответ легко коснулась губами его светловолосого чуба.

– Какое счастье встретить Вас снова, Сарра-Фима!

– Я Вас узнала ещё раньше, но не знала, как окликнуть – не Иваном же Шибецким!

– Ничего! Я бы откликнулся. Но зовут меня Матвей Дротман.

– Вот это имя Вам подходит! Я ведь ещё в лесу подозревала, что Вы никакой не дядька Иван!

– Да ну! Неужели я в чём-то сплеховал? В чём же – в языке или в поведении?

– Нет, не в языке: украинский Вам, считай, родной. Да и вели Вы себя почти безупречно. Но всё же странно...

– И что же странного? – почти с обидой в голосе спросил Матвей.

– Знаете, я даже боялась за Вас! Вы не обижайтесь! Я не знаю, как те пятеро партизан сразу Вас не разоблачили.

– ?

– Да-да! Не удивляйтесь. Кто, кроме Вас, делился с малышами последним сухарём?

– Неправда, а разве Савелий Степаныч так не поступал?

– Ну, это совсем другое, он же командир, он как отец

всем был!

– Вот именно. Я, может, пример с него брал.

– Ага! И детишек на плечах таскал вместе с тяжеленными вещмешками, и носилки со стариками, и первый рядом с Вишняковым оказывался в самую трудную минуту.

– А как иначе? Разве Вы по-другому там жили?!

– Я нет. Но другие жили иначе, и Вы это помните, Матвей...

– Помнить-то помню, но вспоминать неохота. Может, им так было легче спасти тех, кого иные из них продавали за кило соли.

– Давайте не будем портить встречу, Вы правы. Но ведь не все из них выжили. А ведь погибли, спасая наших людей...

– В любом случае, земля им пухом. Давайте лучше о Вас.

– Согласна, но сначала познакомьте меня с Вашим коллегой.

– Ой, извините, Сарра-Фима, – Матвей порывисто повернулся к подсевшему рядом Владимиру. – Разрешите Вам представить своего школьного друга, в недавнем прошлом фронтовика, а ныне капитана милиции Владимира Кальненко.

– Ну, уж так пышно ты меня рисуешь, брат. А я вот проще скажу, но, как бы это точнее выразиться, значительнее представлюсь: я – сын Вашей подружки детских лет, Вашей соседки Одарки из родного для вас обеих села Юровичи.

— Одаркин сын?! Боже! И во сне такое не представишь! Как же я рада познакомиться с Вами, Владимир!

— А я как рад!

— Что ж мы так скучно такую встречу отмечаем, — взмолился Матвей. — Давайте где-нибудь посидим.

— Только не в нашей мрачной гостинице, — попросила в свою очередь женщина. — Кстати, я заметила, что в том зале, где нам накрывают завтрак и ужин, есть небольшие боковые салончики. Может, попросимся?

— Почему нет? Попробуем. Только не сейчас: перерыв закончился. Нам надо присутствовать на всех заседаниях, — улыбнулся капитан.

В остальные пять дней только и разговору было что о Юровичах, о земляках, о партизанах...

Они собирались вместе только за обедом в отдельной комнатке, примыкающей к общему залу.


— Помню, как Вы, Сарра-Фима, только обмолвились Аннушке, что родом из Юровичей, а больше никому! — воскликнул как-то Матвей.

— А кому я могла обмолвиться? Вам? Ивану Шибецкому? Командиру? Хотя по правде говоря, ему-то можно было, но не хотелось ему морочить голову своими проблемами.

— Опять проблемы?

— То ли опять, то ли снова, то ли ещё, но их всегда хватало... — женщина, грустно улыбнувшись, примолкла.

— Если Вам это доставляет боль, не стоит растревать рану, — тихо заметил Владимир.



– Да что уж, снявши голову, по волосам-то плакать? – она тряхнула своей короткой с проседью стрижкой, так что надо лбом чётко обозначилась седая прядь в ещё довольно густой каштановой копне.

... Оказывается, Сарра-Фима знала Стервятника с юности: учились в педтехникуме в областном центре, только он на год старше, вместе с её средними сёстрами-близняшками Златой и Ханной. Очевидно, был влюблён в одну из сестёр, но покоя не давал обеим. Над его неуклюжим ухаживанием похотывал весь техникум. А тот, не смея подойти к девчонкам, подсыпал им семечек в сумки и, сам того не желая, портил жирными пятнами книги и тетради. Пугал по вечерам, стоя у общежития с кульком черники... Сарра-Фима втайне жалела этого рыжего верзилу с птичьим профилем, согнутыми тощими плечами и большими красными руками, которые он постоянно держал в карманах. Насмешки однокашников, конечно, злили его, но драться он не решался...

Тогда во многих городах Украины и Белоруссии выходили газеты на идише, дети учились в еврейских школах-семилетках. А Злата и Ханна готовились стать учителями еврейского языка, Сарра-Фима – русского, а Стервятник – немецкого языков. Правда, в конце 30-х годов и школы, и газеты еврейские безо всяких объяснений закрыли. Но сёстры с успехом учили малышей в начальной школе на русском и украинском языках. А Стервятник вроде бы выбился в завучи в каком-то пограничном с Польшей городке. Жизнь у всех сестёр налаживалась: вышли замуж,




рожали детей, радовались их успехам...

А тут война. В Юровичах, где в отцовском доме после смерти хозяина осталась только Сарра-Фима с молодым мужем, их всех и застала эта беда солнечным воскресным утром, когда внезапно налетели самолёты и началась бомбёжка ещё за несколько часов до объявления войны. Мужчины и сыновья старших сестёр на завтра были уже на призывном пункте в райцентре и больше домой не вернулись. А сёстры готовились к эвакуации, но не успели: фашисты через неделю оглушили местечко грохотом десятков мотоциклов, пролетевших мимо, но оставив небольшой гарнизон для решения важнейшего гитлеровского вопроса – еврейского...

Так всё большое семейство Давида-пекаря собралось без него в последний раз: его пять дочерей, полтора десятка внуков и с полдесяток грудничков-правнуков – вместе с земляками-соплеменниками они оказались согнанными к глубокому песчаному карьере на окраине местечка под дула автоматов. Правда, немцы рук не марали. Этот приказ фюрера они доверили местной пьяни-голытьбе, готовой мать родную за самогон порешить, тем более евреев, у которых всегда было всего вдосталь: и на подворье, и в сарае, и на столе... А при «новом порядке» можно было за просто и на бутылку самогонки, и на хлеб-сало к ней зарабатывать, считай, не работая. Подумаешь, пару сотен жидов на тот свет отправить! Оттого-то так легко эта пьянь-голота и вскинула по команде автоматы...

Не сговариваясь, сёстры прикрыли свою младшенькую...



Как ей удалось потом выползти из карьера с разрывающей низ живота болью! Думала, что ранена, но, нащупав на песке под собой то ли кусок печёнки, то ли обрезок мяса, поняла, что убита в ней только-только зарождавшаяся жизнь... Пять лет мечтали они с мужем о ребёнке, и в последнюю ночь бог сжалился над ними... А может, посмеялся?

– Да, может, и посмеялся? – она, размышляя, вдруг перешла на идиш. – Дер менч трахт, ин дер гот лахт. Человек мечтает, а бог смеётся...

– Нет, по-русски не смеётся, а предполагает. Бог как бы своё предлагает, – Владимир пытался её успокоить.


– Зато по-еврейски честнее, правдивее.

– А дальше? Ну, что дальше? – Сарра-Фима повернулась к Матвею и продолжила рассказ идишской поговоркой. – Ди штыб брент, ин дер зейгер гейт.

– Дом горит, а часы идут. В смысле: война войной, а жить-то надо! – перевёл по-своему Матвей для капитана.

Дальше надо было достать одежду без крови, и она вспомнила, что на школьном чердаке, в старом сундуке хранится гардероб их самодеятельного театра. Ночью побралась она в их небольшую, деревянную школу. В ней она обучала своих любимых малышей. А неподалёку начали строить большую, кирпичную. Надо же – ни одна собака не тявкнула, все её знали, наверное. А может, со страху попрятались? Их-то осталось – раз-два и обчёлся: фашисты постреляли... Может и так...

Дверь входная держалась на одной петле, но не скрипнула




ла... Лестница, слава богу, была на месте...

Больше всего она обрадовалась маминой шали. Сама же её сюда принесла для роли болтушки Нехамы по рассказу Шолом-Алейхема. Нашлась и заплечная полотняная торба, в которую она упрятала старую ковдру – свалывшееся одеяло и эту шаль, такую приметную, белую, красивой узорной вязки, по которой сразу определялась национальность владелицы... Украинки и белоруски носили яркие, разноцветные, в розах, шали. Еврейки – эти белые, вязаные.

Ну, а потом был лес, наш спаситель и кормилец, особенно летом и осенью...

– А дальше Вы, Матвей, всё сами знаете... Да и Вы, Владимир, наверное, с его слов многое узнали.

В день провозглашения приговора, когда стали доподлинно известны факты личного участия Стервятника в расстрелах мирных жителей, его службы на поприще редактора фашистской газеты и члена штаба ОУН, наши друзья не аплодировали жестокому, но справедливому приговору. Как-то смутно, невесело было на душе. Непонятно – вроде бы всё сложилось, как надо, как мечталось Матвею долгими бессонными ночами. А что-то погано было на сердце, и даже не хотелось, как обычно, посидеть втроем за чашкой крепкого чая. Может, причиной были открывшиеся в ходе расследования фамилия и имя Стервятника, о которых, конечно, с юности знала Сарра-Фима. Она-то и помогла их восстановить. И оказалось, что он ... еврей. Больно, стыдно, обидно и горько было услышать об этом Матвею, а



Сарре-Фиме – о его перерождении. Всегда были уверены, что предать еврей не может: большего врага, чем фашист, у него не было и нет! Струсить, испугаться может, как любой другой... Но не предать, не служить убийце своих родителей, своих детей!.. Ведь каждый еврей на фронте знал, что ждёт его в плену только смерть. Причём, самая мучительная, унижительная... Потому предпочитали встретиться с ней в бою и всерьёз желали друг другу «если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой». С таким случаем, с такой исковерканной судьбой друзья столкнулись впервые... Тем более, как стало известно, он сам пришёл к врагам, сам напросился в предатели... Вот и получил высшую меру. И поделом, конечно... Но на душе всё же погано.

Они сидели в своём привычном уголке ресторана. На столе стыл крепко заваренный чай, лежали на блюде нетронутые бутерброды.

Владимир был тоже смущён таким поворотом дел, но ничего не говорил и ни о чём не спрашивал, только головой крутил по старой привычке, опираясь на локти.

– А фамилию-то как исковеркал! Прибавил суффикс чужеродный, чтоб от своих подальше, – с какой-то гадливостью проговорила женщина. – А от имени вообще отрёкся, а оно на языке предков означает «жизнь».

– Погодите, Сарра-Фима. Но я ведь тоже всю войну провоевал под чужим именем-фамилией, – почти простонал Матвей.

– Здравсьте! – хором возразили собеседники. – Вот

именно – ты провоевал, несмотря на два месяца плена. И в партизанах, и в армии воевал. Сравнил шило с мылом!..

...Приближался час их отбытия по месту жительства и работы, час разлуки... Владимир, никогда прежде не бывавший в этом западноукраинском городе отправился на экскурсию вместе с другими гостями и участниками открытого суда. С ним же напросился и хлопец-свидетель из села под Залевском.

А Матвей и Сарра-Фима сидели в холле гостиницы за резным столиком орехового дерева, под развесистым фикусом в кадке и не могли наговориться.

Наконец, словно боясь услышать что-то недоброе, Матвей, запинаясь, осторожно спросил:

– А что Вы слышали о нашем командире?.. Жив ли, здоров?.. Наверное, шишка большая? Да ему полагается, я думаю, многое...

– А я удивляюсь: что это Вы о нём не спрашиваете... Всё жду, когда Вы, Матвей, первый о нём заговорите. Ведь Вы почти дружили!

– Честно Вам признаюсь: я боялся...

– Чего или кого?

– Плохих вестей... Я и сейчас очень волнуюсь, – и он слегка коснулся почти ледяными пальцами её руки. – Неужели его нет?..

– Да нет, он жив. Правда, не о такой жизни он мечтал там, в полесских лесах, спасая почти две сотни наших соотечественников... Не о такой...

– По мне, так главное – жив! – почти выкрикнул Матвей.

– Ну, не сидит же он в самом деле!

– Да нет, слава богу, не в тюрьме. Хотя вполне мог там очутиться как дезертир. Вы представляете? Наш командир – дезертир! Его ж возле Юровичей арестовали. Если б не старики наши, что отмолили, откричали его в тот вечер... А я проспала, представляете, просто проспала!.. Уложила детвору и вместе с Аннушкой и Дусей задремали. А старики пожалели нас будить. Так обидно!.. Ну, а утром мы увиделись и поначалу простились: его немедленно определили в боевые части, но сначала он помог нам на поезд сесть со всей малышнёй и стариками. Документы вручил, Аннушку свою всё просил не забывать и писать ему. И вдруг телеграмма: сопровождать спасённых до самой Москвы. Нам, особенно Аннушке, эта весть в радость. А у него в глазах тревога поселилась. Но слава Богу, обошлось.

– Да, Аннушка с него глаз не сводила. Только что не молилась на него. Видно было – любит его без памяти.

– Ну, так они и поженились после войны.

– Правда? Вот это радость, а что ж Вы там о его жизни неудачной намекали, Сарра-Фима?

– Понимаешь, я считаю, что о таких героях надо рассказывать детям. Я нисколько не умаляю разовые подвиги наших признанных героев. Но то, что сделал Савелий Степанович, – это не просто подвиг, это мужество. Ежедневное, ежечасное святое дело по спасению людей! И эта мучительная и опасная тягомотина продолжалась более двух месяцев в холоде и голоде, под облавами и преследованиями, в окружении врагов.

Да что я Вам рассказываю, вы ж сами спаситель.

– Да какой я спаситель! Вот Вишняков – это да! Ему бы Героя надо было дать по заслугам.

– А знаете, Матвей, легенда это или правда, кто-то мне рассказывал, что году в 44-м, то есть, когда война ещё шла, нашему командиру присвоили звание Героя Советского Союза. Но самолёт, который вёз документы, был подбит, и награждение не состоялось... Не знаю, правда ли это. А представляешь, каково ему...

Правда, в том же году он был демобилизован по ранению. Наш Степаныч ведь до войны успел институт закончить, что-то связанное с внешней торговлей. И сейчас он работает в Москве, в Министерстве внешней торговли.

– А давайте как-нибудь нагрянем к нему! – загорелся Матвей.

– А давайте! Уточню адрес через Аннушку и нагрянем.

– Ну, вот, даже на сердце потеплело. А то мы всё об этом Стервятнике трепались с Вами. Кстати, что ж это мы ни разу его ни по фамилии, ни по псевдониму не назвали? Вы заметили? – спросил Матвей.

– Конечно, заметила. Зачем же хорошую еврейскую фамилию пачкать из-за одного выродка?!

– Вот и я о том же думаю. Мой любимый учитель в школе носил эту фамилию, и одноклассник, погибший смертью храбрых, и с десятков моих земляков по сей день на неё откликаются. А этот – он же сам от неё отрёкся...

– Помните, Матвей, у Куприна в «Гранатовом браслете» ключевую фразу «*Да святится имя твоё...*» ?

– Да, конечно, помню. Это библейская фраза. Но с этой минуты она мне будет напоминать о нашем командире Савелии Вишнякове, который спас около двухсот обречённых на смерть людей.

– Вы правы... Хотя мы с Вами, Мотэле, неверующие, но там, в Святой книге есть ещё одна – прямо противоположная фраза. Она о предателях всех мастей – *«Да сотрётся имя его!»* Вот это о нём, о Стервятнике, да *сотрётся имя его...*

– Пусть сотрётся!.. Ведь нет ничего страшнее, чем камнем кануть в вечность, ничего страшнее беспамятства человеческого...

*Аид (идиш) – еврей.

*Паляныця, паця, цяця (укр) – каравай, хрюша, цаца.

*Скрыня (укр) – сундук.

*Худимо, вуйку, куфаець (западно-укр. диалект) – пойдём, дядюшка, стёганка.

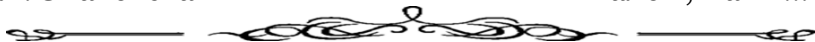
*Допер, допр (укр) – тюрьма

*Achtung! Achtung! Partizanen!(нем.) – Внимание! Внимание! Партизаны!

*шиксалке (идиш) – хохлушечка.

*Ой, вэй, эр дарф хобм а рифие аф дем коп! (идиш) – Боже мой, ему надо лечить голову!

*Ды бист мишиге, Мотл? Халт зих ин ды хент! Одер ды вилст банахт гифинен дэм тейт фин ды газлоным? (идиш) – Ты с ума сошёл, Мотл? Держи себя в руках! Может, ты хочешь погибнуть ночью от рук этих бандитов?



ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Дорогой читатель, только что закрывший последнюю страницу моей повести! Я знаю, что у тебя возникли вопросы по ходу чтения её. Поэтому спешу заверить тебя, что ни обелить, ни очернить эти горчайшие годы войны мне в этой повести не пришлось. Если моя первая повесть о войне «Мы вчерашние дети» (Издательство «Лира», Иерусалим, 2005 г.) была местами чуть ли не продиктована прототипом её главного героя Семёном Фишманом (да будет вечной память о нём в наших сердцах), то и вторая повесть «Имя твоё» большей частью основана на исторических материалах и фактах. Так история вывода большой группы (почти 200 человек) евреев – стариков, женщин, подростков и детей – сейчас, после выхода документального фильма «Список Киселёва», довольно широко известна. Мой командир выступает под фамилией Вишняков. Факт предательства Стервятника тоже имел место в жизни. И я нашла этому подтверждение в двухтомнике израильского историка Арона Шнеера «Плен». А нежелание назвать его истинные имя-фамилию – это действительно мой личный страх испачкать прекрасные имена замечательных людей, носивших их по праву рождения и не подозревавших, что есть среди носителей такие подонки. Я думаю, что имею на это право. Конечно, книга эта в первую очередь художественная. А во вторую – документальная. И я от души желаю читателям не терять интерес к этой страшной бесконечной теме – Холокост, чтобы события эти никогда не повторились.



РАССКАЗЫ

Цикл 1

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ






ШАЛОМ, МАМИ!

Утренний рынок – совсем не то, что дневной, а тем более послеобеденный!

По утрам я редко хожу на рынок. Именно хожу, потому как от моего жилья до него всего 10-15 минут ходу – вниз, с горки.

Утренний рынок скучен: полусонные продавцы громко зевают, почёсываются и ворчат на своих неповоротливых помощников. А те всё же не торопятся, привычно, незло отругиваются по-русски и раскладывают на прилавках живописный товар – фрукты, овощи, зелень, словно сбрызнутые живой водою предстоящего солнечного дня.

Задорно перемигиваются апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, посылая друг другу «солнечные зайчики» приветствий. А вот сладкий и горький перец – красочное полотно, расписанное всеми цветами радуги – от темно-зелёного до малинового и фиолетового! А уж как расфуфырилась капуста, шурша роскошными нарядами, вы только гляньте: эта атласная – красная и белокачанная, а эта, цветная, вся в пене кружев, рядом – букетики брокколи, луковки кольраби и ещё какие-то их родственники, мне пока неизвестные... Вот краснощёкие помидоры, так и не пожелавшие покинуть свои веточки-жёрдочки, вместе с баклажанами и кабачками, вместе с охипками салата и зелёного лука, сельдерея, петрушки и укропа пряным ароматом наполняют остывший за ночь воздух.



По проходу, между рядами, ещё можно пройти прямо, а не боком и не втягивая живот и бёдра... При этом продавцы даже внимания на тебя не обращают!..

То ли дело рынок днём, когда всю «гремит музыка боевая»! Но, пробираясь сквозь смешанную толпу покупателей, зевак и горластых зазывал, смотрите под ноги – не поскользнитесь на банановой или дынной корке, не угодите носом в пластмассовый контейнер с чубатым чесноком и не забудьте время от времени затыкать уши пальцами, а то оглохнете:

– Гверет! Гверет!* – верещит огромный детина, стоя прямо на проходе, как обтекаемый бурным течением айсберг. – Ты сегодня забыла купить свои бурекасы! Посмотри на них: они просто мечтают попасть на твой стол, гверет!

– Перот взеракот! Перот взеракот!* - гудит худосочный, измождённый датишник*, являя собой наглядный пример нецелесообразности растительной диеты.

– Хинам, хинам – наколь хинам!* – вопит, пританцовывая в проходе, красивый темнолицый йеменец. Когда же покупатель останавливается, чтобы задарма взять пучок редиски или пакет с салатом-хасой, он по-детски удивляется:

– А что, пять шекелей – это деньги?..

И, наконец, самая колоритная фигура – коротенький круглый толстяк-марокканец, выдвинувший почти вровень с проходом свой лоток и медленно, громко, монотонно орущий по-русски:

– Мама шказяла купыть яйца! Мама шказяла купыть яйца!

И смотрит на вас сбоку огненным чёрным оком... Господи! Где же я видела эти гневные с сумасшедшинкой глаза? Да, конечно, они прямо с плаката «А ты записался в ОСОВИАХИМ?»

И кто же после этого посмеет послушаться еврейскую маму?... Конечно, яйца на лотке не залёживаются ...

А к вечеру всё дешевлеет, и пучки травы и салата, чью цену в пять и более шекелей держали на смерть, как оборону Мосада, теперь идут по шекелю, в конце же недели они и вовсе оказываются в мусорных контейнерах... И спешат мимо окон соседи-пенсионеры с сумками на колёсиках, возвращаясь через час нагруженными под завязку.

Но я предпочитаю рынок дневной, шумный, пёстрый. Вот и сегодня с трудом пробираюсь сквозь почти стыкующиеся лотки, с двух сторон напирющие на покупателей, словно потерявшие стыд похотливые бабы, продающие своё подержанное тело...

Гремят на весь рынок последние хиты Цвики Пика, рассчитанные на нежное, вдумчивое, минорное исполнение и прослушивание. Но и они заглушаются ором-хором молодых, жующих и брызжущих слюной продавцов.

Боже милостивый! Как же у нас в Израиле любят поесть и поорать, к тому же одновременно!..

Главное, убеждаю я себя, пройти начало и протолкаться через середину рыночной толчеи, а там, в верхней части базара, легче уже и оглядеться, проще рассмотреть, что

продают и что покупаешь...


Я благополучно миновала двух приветливых, но самодовольных братьев, друг напротив друга торгующих в начале основного рыночного ряда. Овощи и фрукты у них всегда самые свежие, но и самые дорогие. Пробежала мимо глухонемого зеленщика и его русских грузчиков... Куда труднее было оторвать глаза от обожаемых слоёных пирожков-бурекасов с подсолённой творожной начинкой, так и тающей во рту!.. А тут ещё эти горластые продавцы-зазывалы, прознавшие о моей слабости... Но на сей раз удалось пройти незамеченной...

Вот и милая, приветливая Рути, вместе с мужем ещё недавно торговавшая здесь тканями, обоями, роскошным тюлем. Но только меняем шторы и занавески да новой тканью мебель обиваем не чаще раза в год, а кушать-то хочется каждый день! Так что и эта семейная пара тверианам предлагает теперь всё те же «перот-еракот»... Здесь уже можно отдышаться, перекинуться шуткой с добряком Йоси из Ирака, удивиться тому, как нахватался русских слов красавчик-арабчонок, поболтать с русскими продавцами, у которых всегда много своих, постоянных покупателей...

Так я и подошла к лавке Давида, ожидая услышать его привычное, улыбочное «Шалом, мамии!» и увидеть круглое, симпатичное лицо сидящего марокканца.

Не знаю, чем он занимался в молодости, может, выращивал всё те же фрукты-овощи на продажу, но только не торговал: не было у него этой самой торгашеской хватки!

И сидел где-то в глубине своей лавки-махсана*, и нико-



гда никого из покупателей к себе не зазывал, и нисколько не беспокоился, когда покупатели копались-ковырялись в его ящиках с товаром, стоящих поодаль. А спросишь о цене, он, как бы извиняясь, со странной жалобной гримасой ответит: «Рак хамеш шекель, мамии, рак хамеш!..»*

И хотя цена была не ниже средней на рынке, а подчас и выше, почему-то именно у него я чаще всего набирала полные пакеты всех цитрусовых, да и овощей тоже... Что-то в нём меня подкупало – сама не знаю что! Может, эта его неуверенность, неловкость какая-то?.. Будто стесняется того, что вынужден продавать, а не отдавать !.. И потом, это очаровательное, почти идишское словечко «мамии», что означает, видно, «мамочка», «мамэлэ»...


Я подхожу к его лавке. Сегодня тут что-то слишкомлюдно. Однако же не видно, чтобы покупатели чем-то наполняли свои пакеты. Они просто сгрудились толпой у входа в его загончик и все вместе наперебой что-то говорят, выкрикивая его имя. Потом вдруг разом смолкают, и я слышу его жалобный, почти плачущий голос: «Ума лаасот?... Ума лаасот?»*

«Видно, обокрали беднягу, – подумала я. – Надо же, какой беспечный! Всё-таки вляпался!»

Хотя, с другой стороны, что ж тут такого красть, чтобы так убиваться? Может, всю выручку?..

Нет, не стал бы он «хипиш» поднимать из-за денег.

Как раз потому я с ним и подружилась. Как-то он дал мне лишних десять шекелей, а я, никогда не пересчитывавшая сдачу, на сей раз пересчитала и с укором вернула



ему деньги. Он удивился, смутился, но и заметно обрадовался. По-моему, не столь деньгам, сколь поступку...


И вот теперь из глубины лавки я снова слышу его осипший жалобный голос и сочувственные вздохи покупателей. Подхожу поближе, но его не видеть: внутри лавки, оказывается, людей не меньше, чем снаружи. Я становлюсь на цыпочки, пытаюсь увидеть Давида, но передо мной лишь цветная картинка на стене у прилавка. Сначала я так её восприняла – картинка и картинка – что ж тут такого? У других тоже в лавчонках висят вышивки, акварельки, даже старинные офорты и портреты еврейских пророков!.. Но вот мне всё же удалось из-за спины дамы в вязаной чёрной шляпке разглядеть беднягу Давида, и я поражаюсь переменам в его внешности. Мы не виделись, пожалуй, неделю. Но ведь невозможно за такой срок состариться на десять лет!

Что ж это с ним? Вместо весёлых, буйных кудрей, чуть припорошенных редкой сединой, спутанная, невытая грива цвета «соли с перцем». Он давно не брит и зарос клочковатой какой-то бородкой. Всегда такой опрятный, сегодня он в чём-то измятом, будто с чужого плеча, и потому выглядит ещё более жалким и беспомощным.

– Ой-ва-вой! – не то вздохнула, не то всхлипнула рядом пожилая «датишная»* дама в сетчатой косыночке. – Ой-ва-вой! Такой красивый мальчик !

– Ой-ва-вой! – вослед охают стоящие рядом и, как по команде, поворачивают головы к той самой картинке.

Я тоже посмотрела туда. Но теперь увидела не картинку,



а большое цветное фото юноши в солдатской форме, точнее, офицерской. Очень красивого юноши, рослого, плечистого, с крупной кудрявой головой, на которой сбоку уютно примостился вишнёвый берет. А в руках наперевес – автомат. Конечно, это парадный портрет.

Почему же они охают? Почему «вавойкают»?..

И мне стало страшно. Захотелось уйти, спрятаться от предстоящей жестокой правды. Я сделала шаг назад и увидела знакомого, подрабатывающего грузчиком у Давида. Не было смысла уходить просто так, и я спросила, не отрывая взгляда от портрета:

– Что, сын?

– Да, сын его неделю назад был убит... Семья отсидела «шиву»*, и Давид сегодня уже в своей лавке.

– Кто убил? Где?

– Кто, кто... палестинцы, конечно, на пропускном пункте...


– Это его младшенький, да? Он так им гордился... По моему, неделю назад рассказывал об очередном награждении или повышении, я не очень разобралась тогда...

– Да-да, перед гибелью его повысили в чине. А сейчас, посмертно, дали звание майора!..

Из лавчонки опять послышалось осипшее, жалобное:

– Ума лаасот?!. Ума лаасот?!.

У меня брызнули слёзы. Я опять подошла к толпе. Она несколько поредела, и Давид тоже увидел меня, моё немое, слёзное сочувствие и чуть прикрыл распухшие красные веки, продолжая раскачиваться по еврейскому обычаю



вперёд-назад... Губы его что-то шептали. Я разобрала лишь слово «шАхар», с ударением на первом слоге.

– Что это «шахар»? – спрашиваю у всё того же русского подсобника.

– Не «что», а «кто», – с укором отвечает он. – Это имя погибшего сына – Шахар.

– Кен, кен, Шахар, – повернула ко мне голову дама в сеточке на голове. – Зихроно увраха.

– Да-да, – отвечаю я по-русски. – Вечная ему память!..

...Только дома спохватилась я, что ничего не купила в этот день на рынке, и на другой день снова отправилась за овощами. Ещё издали услышала я жалобные стенания Давида, увидела почти такую же толпу сочувствующих и молча остановилась поодаль...

Так продолжалось около месяца, хотя, конечно же, на рынке я бывала не чаще двух-трёх раз в неделю. Но постепенно толпа редела, и однажды я подошла к Давиду, когда он сидел в своём закутке совсем один. На прилавке перед ним лежал маленький молитвенник.

– Шалом, Давид! Шалом, адони!* – тихо поздоровалась я, глядя ему в глаза и изо всех сил стараясь не расплакаться.

Он ничего не ответил, только коротко взглянул, молча кивнул мне и снова уткнулся в книжечку. Я почувствовала, что он не хочет говорить, сложила в пакет обычные покупки и, расплатившись, попрощалась. На душе было смутно, будто что-то важное не сделала. Ещё раза два он не отвечал мне, только молча показывал цену на весах, и я



уходила со странным чувством вины...

А рынок жил своей жизнью. Заканчивался сезон авокадо, расцветали на прилавках нектаринки и манго, россыпи клубники сменялись россыпью вишни и черешни, и только помидоры и огурцы, чуть меняя цену, всё так же радовали свежестью вкуса и аромата.

Мне кажется, даже толчая в проходах между рядами уменьшилась, а может, я к ней привыкла? Во всяком случае, она меня уже не раздражала, да и почище вроде бы стало под ногами...

Однажды Давида не оказалось на месте. У ящичков крутился его сын Ицхак, совсем не похожий на отца, узколицый, прямоволосый. Я была знакома с ним и сейчас подошла выразить сочувствие. Он приветливо, но сдержанно поблагодарил. Отец плохо себя чувствует, и его едва уговорили остаться дома.


– Да-да, – кивнула я. – Он сейчас очень нуждается в вашей любви. Не стесняйтесь её проявлять.

– Мы все стараемся, но никто ему сейчас не нужен. Никто. Разве только маленькая внучка – моя дочь – немного утешает его...

– Ой, Ицхок, молодец! – восклицаю я, и он понимающе улыбается, вспомнив, как я ему говорила, что именно так – ИцхОк – звали моего погибшего на войне отца.

И неожиданно для себя я рассказала ему историю моей тётушки, утратившей вкус к жизни после смерти совсем молодого, очень талантливого сына.

– Приехала домой после похорон, как каменная: ни сле-



зинки не проронила, ни единого стоиа не издала, легла на кровать и уставилась в потолок. Всё – и глотка воды не выпила.

– Ждала смерти, – понимающе вздохнул Ицхак.

– Да, ждала смерти. И так бы, наверное, случилось, да её дочь старшая нашла простой выход. Было у неё к тому времени уже трое детей, и муж настоял, чтоб жена бросила работу. Она уволилась и кормила грудью восьмимесячного сына, воспитывала дочек-школьниц. А тётка моя жила через стенку с ними. Но после несчастья даже внучки не могли до неё докричаться...

– И что же? – в нетерпении перебил меня Ицхак.

– Однажды утром входит дочь в комнату, где беззвучно угасает мать, и громко говорит: «Мама, меня срочно вызвали на работу. Муж тоже на работе, девочки в школе, вот в коляске малыш спит. Выручай, мама. Ты меня слышишь?..»

– Услышала? Встала?


– Не так быстро, Ицхок! Кузина моя громко хлопнула одной дверью, другой... Со слезами закрыла калитку и запретила сердобольным соседкам приходить на помощь, даже если услышат детский плач...

– Боже мой! Как же она рисковала! Это могло плохо кончиться...

– У нас говорят: «Риск – благородное дело!» Тогда это сработало.

– Барух а-шем!

– Да, слава Б-гу! Когда кузина вернулась с работы, а там



её с радостью и пониманием восстановили, она увидела, что её мать сидит на полу рядом с внуком, оседлавшим горшок... Пришлось и зятю, и дочкам смириться с маминой работой... Зато бабушка, моя тётка, прожила ещё лет семнадцать...

– Спасла свою маму, продлила ей век! Молодец!.. А ты знаешь, – он понизил голос и доверительно шепнул мне, – моя жена как раз сейчас ждёт ребёнка...

– Вот! – воскликнула я, не удержавшись. – Это Его помощь, не иначе...

Через неделю я покупала у Давида большие, грушеподобные грейпфруты. Уже с полным пакетом я подошла к весам и поздоровалась со стариком – так он теперь выглядел. На сей раз он ответил:

– Шалом, гверет...

Конечно, не то приветствие, которого я ждала, но всё же... И смотрел на меня, правда, без улыбки, но как-то осмысленно, вроде бы ожидая чего-то.

– Тебя не было несколько дней... Ты болел, Давид? – рискнула я обратиться с вопросом.

– Ай, кому нужна моя никчемная жизнь? – ответил он.

– Не говори так, Давид! Не гневи Б-га! У тебя есть ещё дети и внуки! Разве нет?!

– Да, есть, но не Шахар...

– Конечно, нет одинаковых детей – все разные, но все самые-самые... Правда?

– Наверное, – прошептал он и впервые глянул мне прямо в глаза.

– А внуки? В них особая радость, правда?..

Будто искорка промелькнула в помутневших, потухших глазах. Но тотчас и погасла.

– Женщина, – почти жалобно взмолился он. – Ты ведь пришла за покупками, так бери и уходи.

– Не только за покупками.

– Что же тебе ещё нужно? Я вижу: ты всё время здесь крутишься... Может, за мной есть долг?

– Нет, Давид, это я у тебя в долгу.

Он почти с трудом шевельнул бровями, выразив недоуменный вопрос.

– Но не знаю, смогу ли расплатиться: иврит мой ещё очень слаб... Всё же попробую.

– Если ты хочешь меня утешить – не стоит, нет таких слов. Ты понимаешь, женщина?! – он был близок к истерике.

– Нет таких слов! – эхом откликнулась я и неожиданно расплакалась. – А помнишь, как ты меня утешал, когда умерла моя единственная сестра?!.

Он молча смотрел на меня.

– А когда мои дети чудом спаслись в теракте у перекрёстка Мегидо и я с трясущимися руками покупала у тебя фрукты и везла их в больницу в Афулу, разве не ты меня утешал?.. И разве не ты кричал мне «Мазаль тов!»* на весь рынок, когда у них спустя три года родился малыш?..

Он молча не сводил с меня глаз, ожидая ещё чего-то.

– Я знаю, Давид, что твоего сына не вернёшь. Я знаю,

что его никто и никогда не заменит...

– Никто и никогда! – тоже эхом откликнулся он с такой ошутимой физической болью, что, казалось, вот-вот разорвётся сердце...

– Но, Давид, посмотри мне в глаза... С этим теперь придётся жить, слышишь? Не умирать, а жить, Давид! Живым надо жить, ты это лучше меня знаешь. Тебе есть ради кого жить... И если бы Шахар был рядом, он бы тебе сказал то же самое... Разве нет?..

Подошёл обеспокоенный долгой беседой Ицхак. Давид посмотрел на старшего сына, будто погладил его, и прошептал:

– Улай...*

– А я, Давид, так жду, так надеюсь, что ты мне когда-нибудь опять скажешь: «Шалом, мамии...»

Искорка выкатилась вместе со слезинкой, запутавшись в седой щетине, и он повторил одними губами:

– Улай!..

**Гверет (иврит) – госпожа, дама.*

**Перот взеракот (иврит) – фрукты и овощи.*

**Аколь хинам (иврит) – всё бесплатно.*

**Рак хамеш шекель (иврит) – только пять шекелей.*

**Ума лаасот? (иврит) – и что делать?*

**Шива (иврит) – траурная неделя.*

**Адони (иврит) – мой господин.*

**Мазаль тов (иврит) – поздравление и пожелание счастья.*

**Улай (иврит) – может быть.*


ТАНЦОР НА КРЫШЕ, или «МАЙСКИЙ ДЕНЬ, ИМЕНИНЫ СЕРДЦА»

Ну, вот... Как всегда... Проверяю наощупь худенькое вымечко портмоне и, со страхом заглянув внутрь, радостно убеждаюсь, что кое-что осталось на автобус, правда, с пенсионерской скидкой!.. Ура!.. С трудом поднимаю набитые овощами-фруктами пакеты и с сожалением покидаю весёлый, орущий, доброжелательный рынок с его недружелюбными ценами... Наискосок пересекаю полукруглую пешеходную площадь и усаживаюсь на парапет в ожидании автобуса. Доверяюсь доброте расписания – но опять шлепок невезения: мой «шеш», не дождавшись меня, умчался пять минут назад, а следующий только через полчаса!.. Можно было бы воспользоваться маршруткой, если бы не моя расточительность на рынке!.. В таких случаях я сама себя утешаю:

«Где бы я ещё так посидела?.. Когда бы я ещё так отдохнула?.. Значит, опять – ура!..»

Пользуясь местной свободой нравов, кладу усталые ноги на прогретый парапет и наслаждаюсь неожиданным покоем, живую тенью густого эвкалипта, ещё не знойным майским теплом, а главное – знакомой с детства мелодией, под которую тут же заплясала моя неугомонная память.

Через дорогу, напротив, у аптеки Шварца, загораживает вход в неё микроавтобус, из окошек которого разлетаются певчими птицами зажигательные еврейские «хиты» начала




прошлого века – клейзмерские мелодии еврейских местечек. Вдруг на крышу этого автобуса, на лёгкий деревянный настил на ней, легко, как белка, взлетает высокий, долговязый старик с длинными развевающимися седыми кудрями, локонами-пейсами и лунной бородой. Не теряя ни минуты, с первого же прыжка он принимается так радостно и заразительно отплясывать на импровизированном подиуме, то самозабвенно кружась, то наклоняясь вперёд, то откидываясь плечами назад, что автобус в одно мгновение обрастает смеющейся, приветливой толпой, в такт мелодии пританцовывающей и прихлопывающей. Широкие рукава его серебристо-серого шёлкового халата, правда, не первой свежести, свободными крыльями взлетали кверху, когда он поигрывал над головой воздетыми ладонями, а следом смачно, со вкусом хлопал, чередуя ритмически лёгкие свои прыжки. И вместе с рукавами вздувались и снисходительно опадали небрежно перехваченные в поясе фалды и полы.

– Ай-я-яй я-яй! Ай-я-яй я-яй! – припевал он на всех языках понятные слова беспечной вольной радости, и обновляемая толпа прохожих, покачивая плечами и бёдрами, улыбочиво вторила ему.

Люди светлели лицами, весело кивали старику и друг другу и шли дальше, по своим делам, скукам и докукам, с сожалением оглядываясь на этот неожиданный праздник души и тела.

Откуда ни возьмись (конечно, из салона микроавтобуса) появились на крыше двое мальчишек лет шести-восьми и




стали прыгать, как дед, высоко подбрасывая острые коленки. Но их замурзанные, с лёгким крапом веснушек круглые мордашки никаких особых эмоций не выражали и потому, наверное, не отвлекли на себя обычно щедрое к детям внимание обывателей. А дед, всё так же упираясь в небо, сам себе хлопал в ладоши и словно наслаждался собственной лёгкостью, почти невесомостью. Он будто удивлялся, что такое вытворяют без его ведома и участия эти всё ещё молодые, стройные, пружинистые ноги, обутые в раздолбаные сандалии.

Люди на ходу что-то протягивали молодому бородачу у руля открытой всем сердцам микрокабины. Может быть, пожертвование в пользу бедных, многодетных или пострадавших от аварий семей... Надо сказать, что лучшего ходатая и просителя нельзя было бы и придумать. А я устыдилась своего бесплатного присутствия на этом дивном спектакле: негоже вот так по-царски восседать, созерцая это чудо, ни гроша не заплатив и ничем не одарив его творцов...

Между тем, полчаса уже пролетели. Уставшие мальчуганы давно сидели на краю крыши, свесив долу запылённые босые ножки и безучастно разглядывая прохожих. А их неутомимый дед, то ли сошедший с неба, то ли взошедший на него, всё выплёскивал наружу своё радостное приятие этого, может быть, не самого счастливого, но самого прекрасного края:

– Та-ра-ра-ра я-я-я-ям!

– Та-ра-ра-ра я-я-я-ям!



По моим щекам текли слёзы... Я плакала от счастья, сама не зная почему. Может быть, этот танцующий на крыше старик – лучшее, что я видела в Израиле за три года пребывания в нём, хотя изъездила страну от Димоны до Хермона вдоль и поперёк... А может быть, не лучшее, а главное?.. Потому что только сейчас, сидя на тёплых, ласковых камнях в тени заботливого эвкалипта и наслаждаясь видением седобородого танцора, я впервые поняла очевидное: да, я дома, я в стране свободных евреев, стране моих далёких предков и, даст Б-г, далёких потомков.

...И я мысленно обратилась к своим дедушкам и бабушкам, навеки успокоившимся на еврейских кладбищах польских местечек Украины ещё до моего рождения....


...Обратилась к пеплу отца моего, сгоревшего в танке под Харьковом в 41 – «сорок памятном году»...

...К праху молоденькой мамы, похороненной в Киеве, на Байковом кладбище сразу после войны...

...К памяти трёх моих тётушек, не отдавших меня в детдом, но по очереди растивших и обучавших меня, а нынче нашедших вечный покой на погостах Житомирщины и Крыма...

– Родные мои!.. Посмотрите оттуда, сверху, на этот праздник души, на эти «именины сердца»!.. Посмотрите и возрадуйтесь! Ведь вы так любили жизнь, так умели веселиться, несмотря на многочисленные страдания и потери... Недаром главный еврейский танец называется «Фрейлахс» – радость!

С детских лет помню, как в разгар самых весёлых сва-



дебных плясок вдруг раздавался предостерегающий возглас раввина:

– Шат!.. Шат, идн!.. Тише!.. Тише, евреи!.. Не так громко: не дай Б-г, нас услышат и позавидуют нашему еврейскому счастью... Шат, идн!..

И хотя это была та самая шутка, в которой на поверхности плавала только доля правды, но даже счастливым гостеприимным хозяевам вдруг начинало казаться, что они на чужом празднике, что они в гостях...

...Когда в 1950 году, в разгар «холодной» войны, поступил во Львовский «политех» мой старший брат, я летела через весь городок, вопя от радости и спеша поделиться ею с любимой тётушкой. Она стояла на огороде среди фасолевых тычек и молча слушала меня. Потом сурово оборвала:

– Ай, чему радоваться? Всё равно быть войне!.. Я подавленно умолкла, как от пощёчины. А она, поднимая с земли длинный, остро заточенный шест, неожиданно продолжила:

– Но даже если мы тут все сложим свои головы, там, далеко, будет жить наша возрождённая земля, наш Израиль! – и с силой вогнала тычку в мягкий украинский чернозём...

...Родная моя, я обращаюсь к тебе ровно через полвека после той беседы: смотри и слушай! Смотри и слушай, как танцует и поёт на земле Израиля один из её сыновей. Как он красив, как искренен, как свободен в своём еврействе! В виду всей Тверии, в виду голубого Кинерета, в виду разноликой и пока что разноязыкой толпы. И никто не ска-

жет: «Шат, шат, идн! Ша, евреи, что это вы так развеселились?! Нас могут услышать!..»

И слава Б-гу! Пусть нас наконец услышат!

Пусть услышат и порадуются за нас, и подпоют нам друзья наши. А враги... Ну, что ж – на то они и враги!..

Наконец, примчался запыхавшийся, опоздавший минут на десять новенький красавец «Эгед», но я была только благодарна нерасторопному шофёру за этот щедрый подарок – ещё десять минут вполне ощутимого счастья...

Сажусь у окна и всё киваю головой в такт непрерывающимся ритмам. Наш водитель кричит в окно что-то одобрителное неуютимому танцору и оттопыривает в восторге большой палец! А тот, благодарно кивая и улыбаясь, без тени усталости продолжает испытывать на прочность деревянные подмостки на крыше весёлого микроавтобуса...

Помните поговорку: «Увидеть Париж – и умереть!»? Я ещё не видела... Да и умирать пока не хочется... Зато я видела танцующего на крыше старика-еврея – и возродилась к новой жизни! Вот этого я и вам желаю, мои соплеменники, и не только вам!..





НЕСЧАСТЬЕ ПО ИМЕНИ НИСИМ, ИЛИ «ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ»

– Лю! Брось ты, наконец, лизать-вылизывать чужую квартиру. Иди сюда – ручаюсь: ничего подобного ты не видела.

Спускаюсь по лестнице в салон, досадуя на мужа: пока я рядом – у него никаких новостей для меня. Стоит мне заняться делом – тотчас где-то что-то произойдёт, без чего мне просто не выжить!.. И что на этот раз?.. Не может быть! Мой начисто лишённый романтики благоверный любуется с балкона ночным Кинеретом?.. Это что-то новое!..

Подхожу и застываю: за окном бархатно-чёрная южная ночь, украшенная по низу сверкающими бусинками фонарей. Ещё ниже таинственно подмигивают голубыми квадратами окон дома-новостройки. И катятся-шуршат между ними по вьющемуся серпантину дороги игрушечные авто. А там, в черноте, только угадывается величавое ночное озеро, увитое золотыми цепочками береговых огней.

И ни разу за две недели нашего пребывания здесь картина не повторилась! Фантастика!..


– Ты не туда смотришь. Взгляни на луну!

Я поднимаю глаза и вижу только аспидно-чёрное небо.

– Где? Какая луна?

– Да вот же, прямо перед тобой!..

– Это луна?! Боже, что это такое?



Красный, почти пурпурный шар, огромный, как срез арбуза, повис над самым Кинеретом. Околдованная, даже испуганная, я не могу оторвать от него глаз.

– А это что?

– Ты же видишь – лунная дорожка.

– Господи, ничего себе дорожка...

По чёрной, маслянистой глади озера тянется долгий кроваво-красный след...

Мрачное, почти мистическое зрелище. Муж доволен произведённым эффектом. А я поёжилась: что-то сегодня расхотелось сидеть допоздна на балконе... Но после увиденного, пожалуй, и не заснёшь сразу...

Уложив своё притихшее семейство, я принялась разбирать бумаги и старые газеты, понатыканные где попало в снятой нами квартире. Она мне сразу понравилась, хотя убираться в ней ещё придётся долго. Кроме того, прежние жильцы были не очень-то щепетильны и оставили после себя по разным шкафчикам множество писем и записочек на ярких, разноцветных бумажных квадратиках. Я стала их складывать в целлофановый пакет. Писем было немного. Адреса написаны на иврите, внутрь я заглядывать не стала. А вот записочки, такие яркие, праздничные, нарядные, признавались в любви по-русски. Я их вроде бы и не читала, но они сами прилипали к моим рукам и обжигали горячим пеплом букв:

«Нисим, счастье моё! Мой любимый! Я так давно жду тебя и не могу дождаться! Но вопреки всему, верю: очень скоро мы будем вместе и уже никогда не разлучимся

Поздравляю тебя с праздником, мой единственный!

Твоя Ольга».

Сама надежда взывала с зелёного квадрата, а красный будто хватал за руки и пытался удержать:


«Солнышко моё, Нисим!

Откликнись!

Ты знаешь, дни, проведённые без тебя, я просто вычёркиваю из жизни. Когда же, когда же, наконец, мы будем вместе?! И навсегда! И у нас будет свой дом, и семья, и много детей!.. Я верю в это. Поверь и ты, счастье моё...

Ольга».

Я аккуратно укладывала их в пакет, зелёные, красные, ярко-жёлтые, сама не зная зачем. Наверное, проще было бы их выбросить, но рука не поднималась. Среди бумаг была фотография 5-летней девочки с большими тёмными печальными глазами. Она была очень похожа на девушку с другого снимка, приклеенного лейкопластырем к стене в спальне, над кроватью. Странно, как можно было съехать с квартиры и оставить на стене этот зелёный листок, видно, отпечатанный на компьютере?.. На снимке были двое: он – с крупными, лепными чертами лица героя-любownika мексиканских сериалов, и она – тихая, нежная, беззащитная, доверчиво склонившая утомлённую головку к его крутому плечу. Бровки высоко подняты, будто ей пришлось дотянуться, чтобы попасть в кадр. Открытый лоб, глубоко посаженные тёмные глаза. И от руки чёрным фломастером над этим снимком – «Я тебя люблю!» Вот на неё-то, на эту



юнюю особу, и походила малышка с фотографии. Может, дочь?.. Сюда же, в пакет, отправился старый телефонный справочник с записанными от руки номерами на чистом листе, какие-то старые квитанции, счета.


Но пока я складывала бумаги, пробежала глазами газеты, перелистывала справочник, меня не покидало ощущение чужой беды, тревожное, щемящее чувство... И всё вертелась в голове, всё повторялась симоновская строчка без продолжения: «Чужого горя не бывает...»

На другой день, отмывая двери и дверные косяки в салоне, я обратила внимание на едва различимые, бледно-салатовые буквы, точнее, слова на внутренней стороне входной двери. Я выбрала удобную позицию, чтобы освещение помогло мне увидеть написанное. «Алефбетом» я овладела ещё до приезда, и первое слово, с которого начинались все записки, сразу и легко прочлось: «Нисим!..»

«Нисим! – то ли плача, то ли держа в трясущихся руках стакан с водой, писала она, оставляя за написанным подтёки. – Нисим! Спасибо за всё...» Дальше я могла только прочесть, но не понять. А в конце – её имя – Ольга...

Так вошло в меня это чужое горе, которое и по сей день меня не покидает, ибо я увидела в ней ровесницу своих дочерей и своих учениц-выпускниц там, в своём Крыму... А жизнь продолжалась, в хлопотах, волнениях, открытиях, и мысли о пакете с чужими письмами всё реже возвращались.

Но однажды днём в дверь позвонили. У порога стояли два молоденьких симпатичных полицейских и рыжеволо-



сая невысокая девушка в джинсовом костюме. Я ответила на приветствие, а на вопрос на иврите, смущённо развела руками: не понимаю... И тогда рыженькая неожиданно заговорила по-русски:

– Вы позволите зайти в дом? Я здесь жила до вас. В квартире остались мои вещи.

– Пожалуйста, проходите. Но вещи свои вы взять не сможете. Они заперты здесь, – я показала на встроенный под лестницей шкаф. – А дверь забита.


Заметив, что полицейский пытается оторвать дверцу, муж резко запротестовал:

– Ло! Ло! – единственное известное ему слово на иврите.
– Нельзя! Чужое брать нельзя! Нет хозяина!

Девушка вдруг заплакала, что-то запричитала на иврите и стала нервно ходить по комнате. Полицейские пытались её успокоить. А мы ничего не понимали, с испугом глядя на происходящее. И вдруг я услышала её имя: Ольга. И тотчас узнала её... Но там, на снимке, она рисовалась взрослей и загадочней. А в жизни оказалась обычной тёмно-рыжей девочкой лет 18 – 20, с проступающими на бледном лице веснушками. Только нежно-каштановые бровки и глубоко запавшие карие глаза были те же.

Она нервно ходила по салону, инстинктивно, чисто по-русски стараясь не наступать ботинками на большой пушистый ковёр, и почти истерически что-то выкрикивала, часто повторяя знакомое слово «дварим» – вещи.

Полицейские вызвали по телефону маклера, сытого, самодовольного, но явно обеспокоенного ситуацией. Он стал



названивать хозяину в Иерусалим с просьбой разрешить девушке взять её вещи. Но тот был неумолим.

Ольга с распухшим, красным от слёз лицом, отказывалась присесть и на мои попытки дать ей воды и успокоить неожиданно прокричала объяснение:

– Он мне не отдаёт мои вещи! А я в больнице! Мне холодно!.. Что мне делать!– она опять принялась бегать по салону, нервно ломая пальцы. – Где взять денег?..

– Оленька! – не выдержала я.– Что за деньги? По какому праву он держит у себя Ваши вещи?!

– Я не расплатилась с ним за три недели. Это почти 300 долларов. У меня их нет! И не будет! – выкрикивала она, отмахиваясь от попыток маклера усадить её в кресло.

В это время один из полицейских, видимо, в чём-то убедил хозяина, и маклер стал молотком отбивать грубо заколоченные гвозди. Дверь не поддавалась, и, чтобы не нервничать, Ольга попросила меня позволить ей посмотреть, нет ли её вещей на втором этаже. Я проводила её наверх, где показала только розовую вязаную салфетку на туалетном столике.

– Не надо, пусть останется вам на память обо мне... – и, увидев мои полные сочувствия глаза, совсем по-детски всхлипнула.

Господи, мне так хотелось прижать её к себе, обнять, успокоить!.. Но я боялась обратной реакции: уж очень непредсказуемым было её поведение. Спускаясь по лестнице, я тихо спросила её:

– Оленька, а Ваш муж? Ваши близкие?

– Нет у меня никого...ни мужа, ни дома...

– А мама?

– В Биробиджане.

О ребёнке я не спрашивала. Да и не могло быть у этой девочки 5-летней дочери. Наверное, это была её детская фотокарточка...

– Я хотела умереть – мне не дали! Зачем?!. Зачем?!.


– Олга! Олга! Шекет! – мальчик-полицейский за руку подвёл её к раскрытому шкафу. Ей разрешили взять только одежду и постель.

– Оля, а почему вы в больнице? Что с Вами случилось?

– Я хотела умереть, – повторила она, и я поняла, что речь идёт о психиатрической клинике. – Я буду там ещё месяца два, а может, и дольше... Всё равно мне негде жить.

Она плача бросала вещи на расстеленное на полу покрывало, всё вместе, как попало: постельное бельё, сапоги, коробки с косметикой и французскими духами, детские игрушки. Маклеру это всё явно надоело, он сам стал быстро увязывать вещи в узел. А Ольга между всхлипами и стенаньями бродила по кухне и салону, безошибочно находя свои вещи, (я-то думала, что это хозяйские) и относил их в шкаф: зеркало, швабру, пепельницу, кувшин. И тут я вспомнила про пакет с письмами, достала его из кухонного шкафчика и протянула ей. Она заглянула в него, увидела «зелёный портрет», чуть побледнела, но больше не плакала. Видно было, что она ещё что-то ищет.

– Извините, – она жалобно посмотрела мне в глаза, – ка-



жется, должен быть ещё большой платок или плащ... Точно не помню... Я на нём писала перед тем, как...

– Не знаю, Оленька, не видела... Мы с вами всё посмотрели, по-моему...

Наверное, она вспомнила, что писала прощальное письмо на чём-то большом, и забыла, что это была просто дверь. А я не могла ей указать на неё: я не хотела, чтобы трое чужих мужчин читали эти написанные не бледно-зелёным фломастером, а скорее, кровью сердца, прощальные слова. Никто их не читал, кроме меня. Они были как тайные водяные знаки. Все стояли рядом с дверью, и никто не видел эти живые кровоточащие строки...

Но могло быть и по-другому. На утро после приезда сюда мы увидели под нашим балконом два больших пакета и решили, что, съезжая, прежние жильцы поленились отнести мусор в контейнер. А мы, естественно, проделали за них эту работу. Но сейчас, после настойчивых вопросов девушки, я предположила другое: маклер после несчастья с нею («Я хотела умереть...мне не дали...») постарался поскорее сдать квартиру новому съёмщику и ничтоже сумняшеся собрал всё, что ему пришлось не по вкусу из разбросанных вещей, в эти пакеты и брезгливо выбросил с балкона вниз. Там мог быть и большой платок, и плащ, на которых она, как ей помнится, писала «перед тем, как...» Но не рассказывать же бедной девочке об этом!..

– Прощайте! – сказала она мне с порога. – Извините, что причинила Вам столько хлопот.

– Ну, что Вы, Оленька! Выздоровливайте поскорей, и

всё наладится в Вашей жизни. Вы ещё так молоды!..

Она пыталась улыбнуться. В глазах закипали слёзы. Полицейские несли узел. Жоржи-маклер задержался и, покрутив пальцем у виска, показал на удаляющуюся хрупкую фигурку в джинсовом костюме. Он хотел нам объяснить, что бедняжка пыталась покончить с собой из-за любви, но об этом я уже знала и без него...

После ухода этой странной компании мои набросились на меня:

– Ты что, не видела, что она наркоманка? Зачем ты с ней связываешься? Это опасно!

– Почему наркоманка? Просто очень несчастная девочка. После страшного стресса, – а сама подумала: если её отпустили на время из больницы, может, и дали ей какое-то успокоительное: очень уж резко граничили в её поведении истерика и безразличие....

Спустя неделю, познакомившись с соседкой по балкону, я спросила её о прежней жилище, «русской» девушке Ольге.

– Русской? Не может быть! Она прожила здесь три месяца и ни разу не ответила на моё русское приветствие. Такая надменная! А на иврите говорила так, будто родилась здесь. – и, помолчав, добавила. – Но по ночам в этой квартире страшно ссорились, ругались, оттуда нёсся сплошной ор, плач, истерика и собачий лай. (Кстати, о собаке. Уж она-то оставила в комнате, служащей мне кабинетом, такие следы огромных лап на стенах, что проступают и после побелки.) Соседка продолжала:

— А днём, когда жильцы уходили, собака выла смертным воем — жить не давала.

— А с кем поселилась Ольга?

— Не знаю, кем он ей приходился, жил ли здесь постоянно или бывал в гостях. Я дважды видела его курящим на балконе. Очень красивый парень. Но руки тряслись: алкаш или наркоман.

... Не знаю и не хочу знать, где он и что с ним и с его собакой. (Почему-то я решила, что это его собака.) Но сердце разрывается при мысли о ней, одинокой, беззащитной, обобранной, больной...

... Через месяц я прочла её прощальное послание в никуда и никому, потому что он вряд ли его заметил и прочёл. Для этого нужно было иметь зоркое и любящее сердце...

Вот дословный перевод этого письма:

« Нисим!

Спасибо за всё! Я оставляю навечно эту мою жизнь. Но всегда любила и люблю тебя. Прощай! Удачи тебе с твоей новой подругой в новой жизни.

Ольга».





АЗАЛИЯ

Ей казалось, что сердце сейчас выскочит из груди. Но билось оно где-то намного выше, поднимаясь по гортани и заполняя каким-то птичьим свистом всё её дыхание...

Однако она продолжала бежать вниз по мощёной дорожке, а теперь по лесенке, едва касаясь руками узко прилаженных перилец, почти не глядя под ноги. Только бы не упустить из виду высокую тонкую фигурку девушки-солдатки, на правом узком плечике которой висел, болтаясь, автомат. А в левой девушка несла матерчатую сумку со своими пожитками. Видно, не очень тяжёлую, потому что шла она легко, чуть покачиваясь, будто пританцовывая. И женщине, несмотря на одышку в беге, на пот, заливающий глаза, вдруг вспомнилось давнее, любимое:

*Она была уж далеко,
И шла хоть тише – но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь её полей!..*

Эти строки поэта, как говаривал когда-то её Толик, были написаны о ней, об Азалии, о её горделивой, чисто кавказской походке, без намёка на сутулость, о стройной её длинноногой фигуре и о гордо посаженной головке, будто и вправду несущей полный кувшин воды...

*Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой*

Она скользила меж ветвей.

Смеясь неловкости своей...

Эту поэму оба знали наизусть, и с какого бы конца один из них ни начинал её читать, другой тут же подхватывал, будто песню с грузинским многоголосием...

Между тем солдатка действительно удалялась, а у Азалии уже силы были на исходе, да ещё и колючки эти, пособачьи хватавшие её за лёгкие полы длинной сборчатой юбки, довольно ощутимо покалывали икры ног, будто пытались задержать, не пустить...


– Господи, помоги мне, дай мне только увидеть её, только разочек взглянуть! – задыхаясь, шептала женщина.

– Увидеть?! Ну, уж нет! Хватит с тебя этих унижений! Пойми ты наконец: не хочет она тебя видеть! Не хочет!! – услышала она то ли свой внутренний голос, то ли торопливую, нервную, сердитую речь подруги Веры, которой сейчас рядом и в помине не было. Иначе разве б Азалия сейчас мчалась, как оголтелая, стараясь догнать свою внучку, не смея при этом окликнуть её, позвать по имени?..

Правота Веры была слишком очевидна, но Азалия всё ещё надеялась, всё надеялась... И тогда, там, на спектакле театра «Мешулаш», когда она столкнулась нос к носу с внучкой, Азалия от радости так растерялась, что чуть было не схватила девушку в объятия, даже не заметив рядом с нею молодого человека.

– Тинатин! Девочка моя! Здравствуй! Как я рада тебя видеть!

Та молча, не глядя на бабушку, прошла мимо.



Зато спустя четверть часа, когда все зрители уже расселись, оказалось, что места их – рядом! И пока опять разволновавшаяся женщина лихорадочно решала, как быть: вновь ли заговорить с внучкой или замереть и сидеть молча, в зале погас свет и начался спектакль. Вот в это мгновение Тина что-то шепнула на ухо своему спутнику, и они демонстративно покинули удобные свои места, усевшись где-то в конце почти полного зала...

– Негодница! Мерзавка! – шипела в бессилии его Вера, комкая в руках истерзанную программку...

– Не смей, Вера! Слышишь? Не смей! – сквозь слезы шёпотом взмолилась Азалия. – Это кровь моя, кровиночка моя...

– Да, ещё и скажи, как обычно, что это ты во всём виновата...


Азалия приподнялась, делая попытку уйти.

– Всё-всё! Прости, я молчу!.. – подруга силой усадила её на место.

Сзади на них зашикали, заворчали, и женщины притихли...

... Ноги подгибались, а земля, казалось, ускользает из-под них. Но каждый новый шаг словно вырывал её из реальности и швырял в ту ирреальность, что окружала её эти последние семь-восемь лет – к непонятному этому одиночеству, к страшной этой покинутости самыми родными, самыми близкими людьми...

– За что мне такое, господи? Почему? Что я плохого сделала? – в который уже раз повторяла она мысленно эти



рвущие сердце вопросы, не замечая, что замедляет и замедляет шаги, уже почти шаркая ногами по растресканным плиткам узенького тротуара. А в ушах было гулко-гулко, как после праздничного вечера в доме дочери, когда она вышла из-за стола, так и не дождавшись тёплого слова в свой адрес... Но то, что её ждало наутро, – она и сейчас не знает, как пережила. В ответ на её обычное приветствие, услышала, роняя трубку, ответ, холодный, твёрдый, как камень, брошенный в неё внучкой:

– Забудь, слышишь?.. Забудь наш номер телефона, как мы уже забыли твой...

Нет, нет, не слышать этого, не думать об этом!.. Женщина опять ускорила шаги, торопясь сократить расстояние. И вдруг усталым носком разношенной туфли неожиданно зацепилась за чуть выступающий из земли осколок плитки. И этого было достаточно, чтобы она потеряла равновесие, и всё её крупное, тяжёлое тело рухнуло на колени так, что и в голове, и в груди, и в животе что-то отозвалось тяжёлой, ноющей, звенящей болью... А больные колени будто резануло чем-то острым, обжигающим.


– Нет, нет, ничего, ничего. Я в порядке, – успокаивала она себя, оглядываясь вокруг и радуясь, что никто не видит её такой беспомощной и никому не надо ничего объяснять! Преодолев подступившую на миг тошноту, она ухватилась за жёсткие, слегка колючие стебли дикой горчицы и с трудом поднялась на ноги. С правого колена по ноге стекала тёплая струйка. Но промокать не стала – нечем, да и некогда. Вон Тиночка сейчас завернёт за угол – и поминай,

как звали...

Однако бежать уже не могла. Шла быстрым шагом, как ей казалось. А на самом деле, держась правой рукой за каменную кладку старого дома, еле отрывала ноги от земли. Но и солдатка, слегка замедлив шаги, как бы в раздумье остановилась, а потом вдруг резко повернулась и нырнула в освещённый проём маленькой «забегаловки» на пересечении улиц.

Через несколько минут и Азалия стояла у ярко освещённой маленькой витрины, пытаясь отдышаться, прежде чем войти. Колени словно онемели, но каждое прикосновение ткани отзывалось тягучей саднящей болью. Она подставила ветру разгорячённое, совершенно мокрое лицо и на мгновение почувствовала тёплое дыхание того, кто ни за что не допустил бы этой сумасшедшей гонки, кто не позволил бы ей так казниться, так мучиться...

Он был с ней рядом столько лет, когда было всё хорошо, когда ещё были все вместе, и она была в их большой, красивой семье и дочерью, и женой, и матерью, и бабушкой... А сейчас? Кто она сейчас?.. С его уходом всё так переменялось... Но случались минуты, когда она ощущала его присутствие, как и сейчас. Всего на одно мгновение почувствовала она его дыхание на своём лбу, словно лёгкий, нежный поцелуй, которым они обменивались перед и после его службы. Да, да, не на работу он уходил – на службу!.. Работала она, лишь частицу души отдавая преподаванию. А всё остальное – семье и дому... Он же служил в своей газете, истово, проникновенно, заразив своей стра-




тью дочь, ставшую журналисткой, как и отец, известный в Грузии политолог и публицист...

...Азалия замерла, не дыша, смежив веки, вглядывалась в своё прошлое, но вот словно очнулась и стала всматриваться в освещённое окно-витрину. Солдатка стояла у стойки бара, спиной к окну и потягивала что-то через трубочку из картонного стакана. Чёрные, вьющиеся на концах волосы блестели в голубоватом свете настенного фонарика, и женщина почувствовала, как шевелятся её пальцы, точно она перебирает шёлковые кудряшки своей внученьки, ласково и нежно касаясь их гребнем...

Толик тоже любил причёсывать Тину. У него был особый, безошибочный вкус, и когда в первый год их приезда в Израиль он повёз тринадцатилетнюю внучку на конкурс красоты в Тель-Авив, это был выбор семьи: только дед должен быть рядом с нею. Только дед...

Ох, эта его поездка на конкурс – Боже мой!.. Она стояла ему хорошего куска здоровья... Ещё не оправившись от разрыва со всем, что было дорого и мило всю жизнь, окунувшись в совершенно иной, непохожий на прежнее, мир, а главное – ощутив это странное, пока едва уловимое отчуждение дочери и внучки, он заглушал в себе боль сомнения.. Боль от ощущения своей ненужности близким, страх повиснуть на них грузом обузы... И рвался, рвался помочь, поддержать, убереечь, подставить плечо, отдать последнее... И – надорвался. Никогда ведь не жаловался на сердце. Раз – и готово! Будто дерево срубили...

– Ой, как же колени надсадно болят, обжигают прямо, –



просто она тихонько, морщась от болезненных прикосновений к ранам тонкой и лёгкой юбки.

Она всё ещё не решалась войти, но, боясь упустить встречу с внучкой-солдаткой, переступила порог: когда-то с Толиком они так мечтали увидеть её в форме солдата ЦАХАЛа...

– Пожалуйста, гверет*. Что-нибудь выпьете? Поедите? – вежливо осведомился бармен, одним движением краника наполнив вафельный конус мороженым и протянув его девушке.

– Спасибо, мотэк*. Я сейчас, вот только отдохну минутку! – на иврите ответила Азалия, не сводя глаз с круглого, нежного, такого знакомого затылка девушки. Как она беспокоилась о правильной, круглой форме головки младенца в те далёкие счастливые годы!..

– Доча! – каждый вечер после лекций у заочников она заглядывала в большую спальню молодых, где у стены в роскошной колыбельке с пологом посапывала крошечная Тинатин. – Доча! Ты выкладывала сегодня дитя на бочок? Обязательно поворачивай её! Надо следить, чтоб головка была кругленькой, как мячик!..

А дочь, умаявшись за день, только услышав голос мамы, тут же проваливалась в сладчайший сон, что-то невразумительное пробормотав спросонок. Азалия с любовью вглядывалась в бело-розовое, с длинными ресничками личико ребёнка и нежно шептала:

– Цацуленька моя, сладкая моя девочка, родная...

Муж на цыпочках подходил сзади, обнимал за плечи и

шептал в самое ухо:

– Вся в тебя, мой цветок, вся в тебя...

Потом приносил ей мягкие пантофельки взамен сброшенных в прихожей туфель и, чуть приподняв, уводил на кухню, где уже пахло особым, вечерним, по его рецепту заваренным чаем и аппетитно румянились тёплые пышечки, подогретые к её приходу...

– Гверет?! Вам нужна помощь? – внезапно оборвал её воспоминания обеспокоенный бармен.

И в это время девушка обернулась... У Азалии больно ёкнуло сердце и зашлось дыхание на миг. Но... Что это?.. Она не видела внучку почти пять лет и теперь растерянно уставилась на эту прелестную «хаелет»*, высокую, грациозную, с нежным румянцем на тонком подвижном лице... Это её внучка?.. Вроде бы – да! Те же волосы, цвет глаз, поворот высокой нежной шейки... Но всё-таки не Тинатин, нет, не она... Вот бы улыбнулась!..

И девушка, вначале чуть скользнувшая взглядом по пожилой посетительнице, сейчас была словно остановлена необычным, каким-то болезненно-влюблённым взглядом этой странной русской, которая что-то искала в ней, хотела о чём-то спросить...

– Гверет, у Вас проблемы? Я могу Вам чем-то помочь?..

У Азалии брызнули слезы, но она через силу улыбнулась:

– Нет, нет, моя сладкая! Всё хорошо! Всё будет хорошо. Будь здорова и счастлива, моя дорогая...

Боясь разрыдаться, женщина заторопилась к выходу, со-

провожаемая недоуменными взглядами:

– Что с этой ола хадаша ми русия*?..

– Странная, но милая, правда? Видно, в молодости была красавицей...

– Да, это видно и сегодня...

Медленно поднимаясь по ступенькам к выходу, Азалия слышала и понимала приглушённую речь молодых ребят. Их тепло согревало её исстрадавшуюся душу...

... А дома с портрета встревоженно и участливо вопрошал Толик:

– Ну, что? На сей раз я не дал тебя унижить?! А? Не дал тебе унижиться! Ты поняла это, надеюсь?.. Обещай мне, моя Азалия, мой цветок, не мучить ни себя, ни меня...

А ночью они опять танцевали вальс на факультетском вечере в университете, и штапельная белая юбка в синий горошек лёгким облачком едва попевала за ними...

**гверет (иврит) – госпожа*

**мотэк (иврит) – сладкий, употребляется в обращении к детям.*

**Хаелет (иврит) – солдатка*

**Ола хадаша ми русия (иврит) – репатриантка из России*





ВИДИТ БОГ...


Она сидела на полу и грудку писем разбирала...


Ф.И. Тютчев

«Видит Бог, я не хотела его страданий, я не желала ему такой старости!» – Дина тихо плакала, уткнувшись носом в подушку.

Только бы не услышал муж, мирно посапывавший рядом, на другом конце большой супружеской кровати. Услышит – запретит засиживаться за «компиком» и расстраиваться из-за передач о Холокосте. Дина очень болезненно воспринимала и фильмы, и передачи о детях войны: в каждом из малышей трёх – четырёх лет узнавала себя или своих пропавших в Краснодаре в первые месяцы бегства из родного местечка маленьких кузенов... Часто плакала поэтому, и – если что – объяснила бы тем же причину нынешних слёз. Но сегодня-то дело было совсем в другом – в другом времени, в другом пространстве и в поводе абсолютно ином...

– Понимаешь, я сначала не могла понять: вроде бы обращаюсь к нему, а отвечает всегда Нюся. Вот и сегодня связались мы по Скайпу. Я ещё закончить фразу не успела – а она уже перехватывает у меня вопрос и сама же на него отвечает, причём плечом мужа подталкивает, будто это он её спровоцировал... – Аннушка, жена его лучшего друга была явно обескуражена поведением того, кто был когда-то душой их компании.


- 
- А он? – Дина пока только любопытствовала.
- А он... он смотрит на меня и будто не узнаёт... Только переводит глазища свои огромные – помнишь, слегка запавшие? – на Нюсю и словно спрашивает: кто это? Мне же неудобно спросить: «Родик, ты что, не узнаёшь меня?»
- Я бы спросила...
- Нет, не могу. Я же чувствую, что она от меня будто прячет его... или скрывает что-то. И зачем лезть с распросами в такой ситуации?..
- И что ты по этому поводу думаешь, подруга? Я что-то ничего не понимаю...
- А что тут думать... Его жена через четверть часа мне сама позвонила и всё объяснила.
- Объяснила? Что? Что с ним? – у Дины что-то заныло под ложечкой в ожидании ответа.
- А ты ещё не догадалась? В самом деле? Как говорят у нас в Одессе, *немцы пришли!*
- Какие немцы? О чём ты, Аннушка?
- Какие, какие – Альцгеймер с Паркинсоном!.. У него как раз поселился первый. Да успокойся ты, Динуль! Все мы под Богом ходим. Никто из нас ничего заранее не знает, что его ждёт завтра. Немцы-то, как обычно, приходят без объявления войны...
- Ни о чём больше они не говорили, хотя собирались обсудить поездку в Чехию, на лечебные воды. Хотели поехать вдвоём, без мужей: но одному нездоровилось, другой вообще не любил поездки. А сегодня обе и не вспомнили об этом.



Дина была ошарашена, нет, ошеломлена ужасной новостью. Невозможно было представить этого сильного, уверенного в себе человека беспомощным, потерянным. С родителями его ничего подобного не случилось. Правда, никто из них не дожил до его восьмидесяти долгих лет... Господи, неужели это возраст такое творит с человеком?..

Что же такое этот возраст, так меняющий тех, кого сам Бог награждает долголетием и относительным здоровьем?.. Что же это такое?

Если оглянуться назад лет на... ой-ва-вой!.. можно увидеть их молодую весёлую компанию на свадьбе у однокурсницы Майки, белозубой, зеленоглазой, с золотыми завитками естественных локонов на висках. А рядом в скромной голубой рубаше её жених Санька – ну, вылитый актёр Рыбников! – в окружении своих друзей. Но его, Родиона, в первый день свадьбы ещё не было. Только на другой день вечером брат жениха Владик привёл своего друга с букетиком мартовских подснежников, и когда тот церемонно знакомился с Майкой, вручая ей цветы, а жених, хорошо знавший парня, хлопал его по плечу, влетела в просторную однокомнатную квартиру невесты щебечущая стайка девчонок – её однокурсницы. Среди них была и Дина. Так они увидели друг друга; она – его большие, чуть запавшие чёрные глаза под нависающими бровями, высокий рост и лёгкую сутулость. А ещё на нём был пиджак «в ёлочку» и галстук, в отличие от большинства простенько одетых юношей. Он же увидел невысокую темноволосую девочку с короткой стрижкой, высокими скулами и слегка



раскосыми глазами. Другие три девчонки были выше, и, пожалуй, красивее Дины: у каждой не глаза – озёра, голубые, зелёные и серые, а вот почему-то глянулись они друг другу:

– Дина! – она пожала его протянутую прохладную ладонь, ещё хранящую холодок подснежников.

– Родион! – он посмотрел на неё, ожидая, видимо, удивления по поводу редкого имени. Но она не удивилась. Директор школы, которую она закончила в маленьком украинском городке, тоже звался Родионом. Десятки раз на дню когда-то произносимое имя вовсе не казалось ей редким.


И так хорошо было танцевать медленный танец под заёртую виниловую пластинку – кажется, это была «Татьяна» Петра Лещенко:

Татьяна! Помнишь дни золотые?

Свою головку ты склонила мне на грудь...

Каждая фраза в этом романсе была о них, об этой неожиданной-негаданной встрече, о том, как он провожал её домой тёмными, немощёными, каменистыми переулочками старого города, и ей пришлось держаться за его локоть, чтоб не споткнуться в темноте...

Он тоже был студентом, но учился в другом городе, и его каникулы заканчивались. Но пока что он встречал её каждый вечер после лекций в институте, где было две смены обучения и она училась во вторую. Он забирал её студенческий чемоданчик, и они шли в промытый весенними дождями центр города. Там, в крошечной «Чебуречной», с




трудом воткнувшейся между двумя новостройками, он кормил её горячими караимскими пирожками с дымящимся бульоном. И чернобровая пышнотелая продавщица не сводила с них тёплых материнских глаз... А расставаться не хотелось, и они обменялись фотографиями. Дина вставила её в настольную рамочку и всё вглядывалась в это ставшее таким близким лицо.

А в конце второй недели его кузина Наташка, учившаяся на курс старше, принесла ей в аудиторию записку от него: «Маха, я здесь. Приехал на выходные. Соскучился. Встречу». От неожиданности, не контролируя себя, она радостно взвизгнула и, кажется, подпрыгнула, вызвав осуждающие взгляды подруг, дескать, держи себя в руках!..

И снова они бродили по улицам города, и Родик, не пропуская ни одного затемнённого подъезда, поворачивал к себе её застенчивое, бледное лицо и долго целовал, не смотря на протесты девушки. Эти поцелуи были единственной причиной их кратких ссор – ну, не нравилось ей это действие, да и люди вокруг! Но он всегда первым просил прощения, срывая и даря при этом веточку клёна или каштана с набухшими почками... И этого было достаточно, чтобы вновь бесконечно кружить по улицам, где просто не было ещё никаких кафе, а посидеть можно было только в кинотеатрах или на лавочке в сквере.

Дина снимала «угол» у знакомой дамы и не могла пригласить его в гости, и Родион отважился однажды в холодный мартовский вечер привести её к своим родителям, опасаясь, правда, строгого отца и, честно говоря, готовясь



– если что! – защитить свою подругу. Но когда он вышел из кухни с чашками чая на подносе, то чуть не уронил его, удивлённо застыв на пороге, в то время, как его Маха, взобравшись коленками на стул в своей узкой юбочке и тонком голубом свитерке, спокойно улыбаясь, что-то рассказывала его отцу. А тот, вовсе не обращая внимания на её «несветскую» позу за столом, доброжелательно кивал ей головой. Рядом с ним мама, которую сын с детства звал по имени – Ханочка, щедро намазывая маслом и вареньем ломти батона, одобрительно и лукаво поглядывала на обоих.

– Ну, Маха, ты даёшь! – это всё, что мог сказать потрясённый Родик.

Да, родителей его она завоевала сходу, вовсе не стремясь к этому – просто так получилось... Много позже она поймёт, что эта победа была началом её поражения: ведь Родион готовился к борьбе за неё, приготовил целую речь в её защиту, а защищать-то было не от кого и незачем... И юноша испытывал странное чувство – то ли восхищение, то ли лёгкое разочарование...

Этой весной он закончил техникум с отличием и получил направление на большой завод в своём городе, где очень быстро продвинулся и стал мастером. Приезжал теперь нечасто ещё и потому, что Дина попросила его не отвлекать её во время летней сессии. Но долгими скучными вечерами, готовясь к экзамену по политэкономии или вспоминая повестку дня очередного безразмерного партийного съезда, девушка перебирала в памяти совсем дру-



гое...

Вот они молча идут за пожилой парой, и, переглядываясь, оба жадно ловят обрывки тихой беседы на идише. Он высокий, в полупальто и шляпе, она – маленькая, слегка полная, в светлом плаще и вязаной шапочке, идут, доверчиво прижавшись друг к другу и изредка нежно улыбаясь своим воспоминаниям. Очевидно, почувствовав неладное, старики внезапно оборачиваются и тут же заговаривают по-русски. Молодёжь, смутившись, ретируется, и неожиданно сквозь тихий, добрый смех Дина слышит слова, которые потом будет вспоминать с щемлящим сердцем:

– А знаешь, кого мы сейчас с тобой видели, махонькая моя? Это были мы, но через сорок- сорок пять лет! – хотя он произнёс их вполголоса, но странно торжественно и гулко прозвучали они под аркой двора, где внезапно остановились. Оба оглянулись, но стариков уже не было, будто кто-то надёжно и надолго укрыл их от посторонних сиюминутных взглядов...

Всё лето они не виделись, только переписывались. Дина после сессии уехала с подружками в пионерлагерь на вожатскую практику и с головой ушла в педагогическую работу. Родион тоже принял на заводе практикантов из Москвы, но почему-то мало писал о них. А в середине августа, закончив практику, она отправила ему телеграмму: «Буду проездом пятнадцатого зпт вагон пятый тчк Дина»,

Пробегая по вагону, увидела в окне его высокую, моластую фигуру и прыгнула со ступенек прямо в его объятия.

– Господи, какая же ты маленькая! – он точно не узнавал её, похудевшую и сильно загоревшую за два месяца у моря

– Да и ты как-то изменился – похудел, глаза красные, не высыпаешься, что ли?

Сосед по купе высунул голову в окно:

– Эй, браток, забирай невесту, а то я увезу её в Белую Церковь. Да-да, я не шучу, так и знай!

Она рассмеялась, а Родион как-то смутился, но спросил:

– А что? Давай и в самом деле сойдёшь с поезда на пару дней?..

И вот она уже в его скромной холостяцкой комнатухе знакомится с хозяйкой. А он торопится на работу, во вторую смену. Придёт после полуночи.

В его отсутствие Дина решила вымыть окна и полы. Хотелось сделать ему что-то приятное. Но на сердце было как-то смутно, нерадостно, точно она делает что-то неправильно, нехорошо... Вот и старалась отвлечься.

Окна, насухо протёртые газетой, уже сверкали, Прохладная вода с половой тряпки неожиданно густо пролилась под кровать. Дина подоткнула подол платяшка и заглянула за пикейное покрывало. В самом углу стоял картонный ящик, и под него подтекала вода. Дина резко отодвинула его ногой – оттуда посыпались письма.

– Этого ещё не хватало, испачкать в воде его бумаги! – она быстренько сгребла их, подтёрла лужицы под ящиком и водрузила его на место. – Фу! Слава богу, обошлось.

Она выбралась из-под кровати и увидела выпавший конверт, тот самый, злополучный, разделивший её жизнь на до



и после.

Какая разница, от кого оно было, это письмо?

Какая разница, о чём шла в нём речь?

Главное – зачем она его прочитала?! Зачем? Зачем?


Никогда больше ни до этого случая, ни после она не читала чужих писем. Но это всё же прочла! Прочла, перескакивая через строки, почти не вникая в смысл. И поняла одно: он встретил другую, но не может забыть Дину! И друг пытается убедить его, что не стоит скрывать это от Дины: она всё поймёт: она такая!

А Дина, сжимая голову руками, сидела на подсыхающем полу и повторяла про себя:

– Она такая! Она такая!..

Затем умылась, переделась и, не отвечая на вопросы перепуганной хозяйки, отправилась на вокзал. Да, письмо положила ему на подушку, тем самым объясняя всё происшедшее...

Через два часа она уже мчалась в поезде в своё родное Полесье. Кто знает, чем бы это всё обернулось для неё, если бы не полесские встречи с одноклассниками, если бы не рождение двух племянниц и не беспокойство о здоровье любимых тётушек... Двух недель как не бывало!.. А потом на неё навалилась долгая-предолгая тоска. Тоска по нему, по его вниманию, по заброшенному мостику в каком-то переулке, где он пел ей песенку с запомнившимися словами: «Мы шли с тобой на Поцелуев мост...», песенку о Ленинграде, «где все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет»...



Через год они случайно столкнулись в книжном магазине, и ей не удалось сбежать от него.

– Стой, Дина-Диночка! Дай на тебя посмотреть... Что ж ты наделала? Что натворила?

– Я наделала-натворила! Я?!

– Зачем же ты рылась в моих письмах? Что ты там искала? Это так не похоже на тебя, так стыдно...

У неё перехватило дыхание:

– Да как ты мог подумать! Я рылась?! Это случайно вышло... Но так тому и быть. Ты быстро утешился, ещё до того...

– Да это моя практикантка, замужняя дама. Ну, случился роман: она такая одинокая, росла без матери, с пьяницей-отцом...

– И с мужем, кстати...


– Да, и с мужем в Москве. Пойми: я был так зол на тебя. Ты меня так разочаровала...

– Да уж! А тут рядом такая очаровательница...

– Маха! Не ехидничай – тебе не идёт...

Услышав это почти забытое прозвище, боясь расплакаться от желания всё забыть и броситься к нему в объятия, Дина молча повернулась и ушла. Родион смотрел ей вслед, не пытаясь вернуть. Однако переписка всё же возобновилась: бумага как-то облегчала страдания обоих. И в одном из писем он попросил её позвонить ему, как только она приедет в деревню по месту распределения работы учителем. Он тотчас приедет и поможет ей обустроиться.

И вот она вызывает его на переговоры, мчится на по-



пугке в райцентр и взволнованно дышит в пропахшую табакот трубку:

– Алло, Родик! Это я, привет!

В трубке какое-то замешательство, будто кто-то у кого-то вырывает трубку, и затем чей-то глуховатый, немолодой голос, явно волнуясь, отвечает:

– Диночка, это не Родик, это его отец. Здравствуйте.

– Ой! Как я рада Вас услышать, Моисей Ильич!

– Диночка...дочка, – ей послышался то ли вздох, то ли всхлип, – приезжайте: парень надумал жениться. Вы ещё можете всё спасти...

Мгновенно оценив ситуацию, поняв, что женитьба парня ей – увы! – вовсе не грозит, Дина, собрав последние силы, закричала, отстраняя от себя трубку-вонючку:

– Поздравляю Вас, дорогой Моисей Ильич! Очень за Вас рада! И Родика от меня поздравьте, пусть будет счастлив! – при этом она явно слышала в трубке тяжёлое дыхание Родиона и дрожь в голосе его отца:

– Правда? – как-то растерянно переспросил он.

– Правда-правда... – она тихо положила трубку на рычаг и покинула здание почты.

Уже смеркалось. Как она потом добиралась до своего села, кто её подвёз и высадил у самого дома, она не помнит: неожиданно всю её сковала такая дикая зубная боль, что она едва не теряла сознание и всё вокруг происходило как бы не с ней. Помнит только, как стояла одна, голосуя на перекрёстке дорог из райцентра в селения, как обращалась, сама не зная к кому, умоляя: «Так пусть же теперь он

не просто любит меня – пусть любит меня и мучится! Пусть любит меня и мучится!» Вокруг никого не было, и она кричала – выкрикивала свою боль и душевную, и зубную. Но вторая была настолько нестерпимой, что откинула первую.

Что она ни делала, что ни пила уже в сельской хате у своих хозяев – ничего не помогало. Боль не отпускала ни на минуту, отдаваясь спазмами в горле и ушах. И так – всю долгую-долгую ночь на 22 августа. К утру боль стихла внезапно, как и началась. В медпункте врач, удивлённо рассматривая совершенно здоровый зуб, отказался его лечить, сославшись на вероятный нервный срыв у пациентки.

Самое удивительное было ещё и в том, что происшествие на почте в райцентре куда-то отодвинулось, словно бы ушло вместе с сумасшедшей зубной болью в абсолютно здоровом зубе. Ушло, забылось на долгие годы, чтобы спустя более полувека отдалось уже болью в сердце.

Неужели это её пророчество его настигло – «чтобы любил меня и мучился»? Неужели? Ведь кто-то из друзей ей рассказывал, как он часто жену свою Диной называл, особенно во сне... И вот на тебе – *«немцы пришли!»* Только их ему не доставало!

Господи! Помоги же ему! Ведь она не желала ему страданий. Не желала, не хотела, видит Бог!..





БЕЛУШКА

В той прошлой жизни её звали на русский лад смешно: Биба Белопольская. Поэтому, прилетев в Израиль из Житомира в разгар Большой алии в конце прошлого века, первое, что она сделала, – сменила опостылевшее имя, сократив его до фамилии. Точнее, превратила первую часть фамилии в имя. Получилась Бела Польская. Вроде бы всё своё сохранила при себе, только несколько упорядочила.


Правда, и фамилия по-израильски только в мужском роде пишется «Польски». Ну, да Б-г с ними. Она не в обиде. И на одно «л» в имени тоже: ну, не удваиваются согласные в иврите – что тут поделаешь!..

С тех пор, будто от чего-то освободилась. И походка легче стала, и сама, словно похудела даже. Ей приятно было носить имя бабушки Беллы, прославленной украинской партизанки-ковпаковки, но ещё приятнее стало откликаться на имя Белушка, которым её назвал кто-то из мужчин в ульпане.

Случайно окликнул замешкавшуюся у доски после звонка:

– Идешь, Белушка?..

С тех пор и пошло: Белушка да Белушка. Главное, непривычно. То ли дело «Белка», или «Белочка». И вроде бы она не настаивала, а всем по душе пришлось, так что женщина даже лицом светлела от нового имени.



И сыну Женьке новое имя мамы понравилось. Он сразу по приезду пошёл в школу, хотя имел уже аттестат зрелости, почти отличный, чтобы за год и иврит выучить, и «багрут»* полный получить, и свободно, на иврите, сдавать экзамены в институт. Белушка сыну очень доверяла: удалось же ему «хапнуть» всё лучшее и у неё, и у своего отца, скончавшегося незадолго до отъезда...

Как-то вечером парень готовился к экзамену, а она, чтоб не мешать ему в маленькой 2х-комнатной квартирке, бродила по «ханутикам»,* просто так, ради общения на иврите.

Ему позвонили. Точнее, не ему, а ей.

– Можно Белушку? – мягкий доброжелательный баритон удивил Женьку, но ещё больше, как назвали его маму.

– Кого-кого? – засмеялся он.


На другом конце провода помолчали. Потом раздалась гудки. Женька понял: это его басок напугал собеседника.

– Ну вот, нечаянно спугнул маминого поклонника, – покрутил он кудрявой головой.

Уже поздно вечером, плещась под душем, вспомнил об этом и, приоткрыв дверь, закричал маме в спальню, перекрывая шум и плеск воды:

– Ма-ам! А тебе звонили. Приятный мужичок... – и после паузы, уже стоя рядом в белом махровом халате с капюшоном и энергично вытирая волосы. – А может, и не тебе вовсе...

Тоненькие скобочкой мамины бровки полезли вверх, в



душистую массу крема, заботливо оберегавшего от морщинок выпуклый загорелый лоб.

– ?

Женька хохотнул:

– Не-а! Не тебе – какой-то Белушке.

Она улыбнулась себе в зеркале, промокая салфетками всё ещё отказывающееся стареть лицо.

– А Белушки у нас нет! Где у нас Белушка? – он дурашливо запрыгал на одной ножке, выливая воду из уха, потом заглянул под кровать. – Ау! Белушка, ты где?


– Я здесь! – подскочила она к сыну и отвесила лёгкий шлепок по заду.

– Ага! Так у нас от любимых сыновей, коих легион – подумать только – легион! – уже тайны завелись! Псевдонимы всякие! За спиной дитяти ведутся... Ладно, ладно... Придёт котяра за салом, а сала немає, – вспомнил он вдруг украинскую пословицу своей бердичевской бабки.

Белушка так и покатила от хохота, уж очень забавно скопировал её маму, такой был смешной, как в детстве, в этом балахоне, рассчитанном на крупного мужика. И такой вдруг, в самом деле, стал обиженный...

– Нет, мой сыночка, моя косыночка, какой легион? На фиг мне тот легион, тот баритон, – она целовала его мокрые волосы, а он, совсем заигравшись, шмыгал носом, как в детстве...

Утром в ульпане «училка» Хадаса опять начала урок с забавных ситуаций на рынке. Группа уже заранее настроилась смеяться, даже те, кто ни ухом, ни рылом в



иврите. А Белушка закончила улыпан «алеф» ещё в Житомире, ей было проще, чем иным одноклассникам. Жаль, что не было сразу улыпана «бэт», это бы помогло ей быстрее продвинуться в языке, без чего казалась невозможной её дальнейшая жизнь здесь.

Между тем спектакль одного актёра набирал силу. Светловолосая, с весёлыми конопушками Хадаса – один в один французский актёр Пьер Ришар из фильма «Игрушка» – разыгрывала сценку «Продавец – покупатель», как опытная актриса, озвучивая роли двух не понимающих друг друга людей. Белушка не выдержала и подключилась к беседе, вставляя к месту и не очень свои любимые «лама ло?», «нахон» и «ло нахон»*...

Тут уже начала покатываться и Хадаса, а за нею и вся группа...

После занятий она заторопилась домой: вечером обещала сыну накормить его блинами с мясом. Фарш приготовила заранее. А блины надо было ещё нажарить! Времени-то в обрез оставалось – полтора-два часа до прихода Женьки из школы.


А тут этот Анатолий!

– Белушка! Не хотите за компанию со мной кофейку выпить? Здесь, рядышком, такая кофейня отличная!

– Я бы с удовольствием. Но мне надо домой. Извините, Толя.

– А что так? Вроде бы свободная женщина, насколько мне разведка донесла...

– А детей разведка в расчёт не берёт? – бровки Белушки поползли вверх.



– Ну, не куча же детей. Один сын и тот – старшеклассник! Так? – хитро прищурился Анатолий.

– Да уж разведка у Вас отменная, – рассмеялась Белушка. – Но, знаете, для меня это самое дорогое существо на земле. Раз пообещала ему напечь блинов – ничто не отменит обещания.

Она приготовила мелочь на оплату билета и, перекинув ремешок сумки через плечо, заторопилась к выходу.

– Белушка! – она обернулась: у него было лицо, приговорённого к вечному страданию.

Женщина остановилась, внимательно посмотрела на него и, на мгновение прищурив глаза, коротко бросила:


– Ладно! Пошли!

...Спустя полчаса они поднимались на четвёртый этаж пятиэтажного дома. У входа в квартиру Анатолий, пытаясь скрыть учащённое сердцебиение и небольшую одышку, заметил:

– Нет, я с этажами больше не дружу. Себе дороже...

– Ну, а мы пока в дружбе, – улыбнулась Белушка, распахивая дверь в гостиную. – Прошу, проходите, осваивайтесь. Я с Вами через пару минут.

Она скрылась, очевидно, за дверью спальни. А гость, без удовольствия оглядывая небольшую чистенькую квартиру, снял пиджак и повесил его на еле заметный крючок у двери. Зайдя на кухню, поднял чайник и, убедившись, что воды в нём достаточно, нажал кнопку. Затем снял с вешалки на кухонной двери один из двух передников и повязал его поверх брюк. Разложил две сложенные наготове салфетки и поставил на них две кера-



мических чашки и тарелочки, выбрав подходящие на открытой посудной сушилке. Поискал глазами кофе и присоединил его к керамической компании.

А тут и хозяйка в дверях.

– Ах, вот Вы где? А я смотрю, нет никого в гостиной. А Вы молодец – без церемоний...

– Вы же сам сказали: осваивайтесь! Я и пытаюсь...

Она с улыбкой повязала на домашнее платье оставшийся фартук и принялась стряпать, да так быстро и ловко, что Анатолий только головой вертел туда-сюда.

– А что ж Вы кофе не пьёте? Меня не ждите – я тороплюсь!

– Без Вас?! Ну, нет: и невкусно, и неприлично...

– Ни то и ни другое... А, впрочем, как хотите... – слегка подогрев молоко, она налила его в бутылку, вбила туда же пару яиц и засыпала смесь несколькими ложками муки – всё это не пролив и не просыпав ни капли!


Не забыв о соли и сахаре, она закрыла бутылку пробкой и передала Анатолию, чтобы тот энергично разболтал содержимое, а сама взялась за сковородку и прогрела её как следует на огне. Взяв из рук помощника бутылку, на счёт «раз-два-три» аккуратно разлила в меру густую смесь по сковороде. И через мгновение золотистый с одной стороны блин уже лежал на разделочной доске.

– Ну, что стоите, помощник? Кладите начинку прямо на срединку, – рассмеялась рифме Белушка.

– Так она ж с той стороны не пропечена!

– А зачем? Мы же их сейчас жарить будем!

– Как знаете! Хозяин – барин! Вернее, хозяйка, – он



неуверенно зачерпнул ложкой аппетитно пахнущий открытый фарш.

– Полней, полней! – подгоняла его Белушка. – Для себя ж готовим!

Пока он примеривался класть начинку, уже около десятка блинов ждали наготове...

– Не женщина – фейерверк какой-то! – выдохнул наконец Анатолий, когда последний блин был им надёжно упакован.

– Что? Устали? Теперь небось не будете проситься в помощники!

– Ещё как буду...

– Да ну! Не испугались, значит! – медленно проговаривая эти слова, Белушка сняла с конфорки на сей раз большую, полную сковороду румяно-золотистых блинчиков.

И в то же мгновение раздался оглушительный трезвон: примчался сын, ещё у подъезда учуявший запах маминых блинов.

– Как ты вовремя! Проходи, сынок!

– Я не сынок! Я волк! Голодный, как собака, волк! – зарорал юноша и закружил мать вокруг себя, но вдруг остановился, увидев на кухне чужого.

– Познакомьтесь, Анатолий, моё чадо единственное, мой почти взрослый сын! – так Белушка несколько высокопарно представила младшего старшему.

– Очень рад знакомству, Анатолий! – широко улыбнулся гость.

– Евгений, то есть «благородный», прошу заметить...

– Да как же тут не заметишь, Ваше благородие, – в тон юноше подыграл гость.

Все рассмеялись, а Белушка незаметно подмигнула сыну: мол, знай наших! Вслух же напомнила про блины и отравила сына мыть руки...

На другой день Анатолия не было на занятиях, что несколько удивило Белу: она ведь ничего о нём не знала, да и телефона его у неё не было. Уроки длились почему-то медленно и скучно: то ли Хадаса была не в ударе, то ли тема казалась неинтересной...

Почти со звоном Бела появилась на проходной клуба, в котором им выделили комнату для занятий ивритом. Анатолий стоял у ворот с тремя розовыми гвоздиками в руках.

– Спасибо! Но по какому поводу и что за прогул?

Он как-то странно посмотрел на неё:

– Прогула никакого нет: я всегда пропускаю четверг, потому что три дня в неделю работаю, и четверг – один из трёх.

Она смутилась:

– Извините, как-то прежде не замечала... К урокам Вы всегда готовы... Сидите поодаль... Вот и не замечала.

– Да что Вы, Белушка, мне, знаете ли, по душе, что Вы наконец заметили моё отсутствие. А цветы – просто приятный пустячок.

– Спасибо, мне действительно приятно... А Вам не хочется немного рассказать о себе? Давно ли Вы здесь? Судя по ивриту, много раньше иных коллег...

– Встречное предложение: а не посидеть ли нам в каком-нибудь кафе на берегу Кинерета, на открытом воздухе? Или Вам опять встречать своё «дитя»?

– Нет, нет, сегодня я не спешу. Да и обед Женьке готов: всё те же блины вчерашние... Пойдём, посидим, я ещё здесь не была. А пахнет вкусно...

– Ещё бы! Это лучшее рыбное заведение на Набережной. И здесь подают вкуснейшего мушта, на иврите «амнон»*. И очень вкусные мазилки с поджаренной питой.

– Мазилки? Ма зэ?*

Он рассмеялся:

– Нет, это от русского слова «мазать» - хумус*, например, – Анатолий, почти не прерывая беседы, сделал заказ волоокому красавчику-официанту.

– Ну, хумус мы с Женькой любим, да и с питой его ели...


На столике мгновенно появились два бокала с белым вином и несколько салатов. В отдельной корзиночке та самая жареная лепёшка, присыпанная чесноком.

– Аромат божественный! – Белушка с удовольствием потянулась к пите, а Анатолий протянул ей бокал и потихоньку чокнулся своим.

– Ну, что, Белушка, за знакомство?

– Да мы вроде месяца два уже учимся вместе, – улыбнулась женщина.

– Но Вы сами только что сказали, что ничего обо мне не знаете! Вот и познакомимся! – он вдруг посерьёзnel. –



Только обещайте мне не разочаровываться, о чём бы я ни рассказал...

Она тоже ответила без улыбки, чуточку насторожённо:

– Чтобы разочароваться, надо сначала очароваться... Я просто не успела, извините. Так что слушаю Вас, Толя...

– Ой! А вот и «король Кинерета» к нам плывёт! Давайте, я сначала Вам покажу, как едят здесь эту рыбу, не путаясь в костях. А потом уже разговоры будем разговаривать. А то как бы аппетит Вам не испортить...

Спустя четверть часа Анатолий, улыбаясь и вытирая салфеткой пальцы, спросил:

– Ну, что, Белушка, не слышу восторженных «ахов» и «охов». Неужто мушт не по душе пришёлся?

– Не знаю, как насчёт души, но по сердцу пришёлся, точнее, по желудку... Придётся повторить этот культпоход с сыном и доставить ему такое же удовольствие.

– Ловлю Вас на слове и предлагаю сопровождение.

– Нет уж, коллега, выкладывайте ваши тайны, способные меня сразу разочаровать, не очаровав даже.

– Я уже пожалел, что сболтнул лишнее. Может, в другой раз?

– Пытаетесь разжечь моё любопытство? Да мне всё равно: в другой – так в другой, – она отставила кофейную чашечку, а в голосе её прозвучали то ли досада, то ли нетерпение.

– Белушка, не торопитесь, посидите, – он положил свою тёплую ладонь на её прохладную руку.

Она вскинула на него почти спокойный взгляд, но руки

не отняла.

– Я Вас слушаю, Толя.

Он набрал полную грудь воздуха.

– Дело в том, что я женат.

Наступила пауза. Они смотрели друг на друга. Наконец, она спросила:

– И что? Продолжайте. Ваша жена препятствует нашей дружбе?

– Да нет. Она в Америке. С дочкой и внучкой.

– Я Вас не понимаю. Что Вас всполошило именно сегодня? Она вот-вот прилетит?

– Да нет, Я думал, Вы узнаете... Вы такая...

– Какая? – её бровки подковкой поползли вверх.

– Такая правильная, честная, искренняя...


– Может, Вы преувеличиваете, но что это меняет?

– Я боялся, что Ваши взгляды не позволят Вам встречаться с женатым человеком.

– Знаете, Толя, смотря что иметь ввиду под встречами: если это совместный обед или ужин, совместная поездка на экскурсию или посещение выставок и спектаклей – мои взгляды это позволят. Если подразумевается нечто иное – нет, не позволят... Тут Вы правы. Ну, что Вы головой качаете? Вы что это по-другому представляли?

– Не знаю, не знаю... Но пионерская дружба, честно говоря, меня мало радует... А после ваших слов я вроде бы упал, разбился, но жив буду. ,

– Вот видите, как хорошо Вы меня поняли, хотя явно переборщили по поводу «разбился». Зато никаких



скандалов, заокеанских сплетен, спокойные переговоры с родными людьми...

– А мы с Вами?

– Да и мы с Вами можем встречаться, скажем, раз в неделю...

Он попытался что-то сказать... Она перебила:

– И никаких угрызений совести, заметьте. Никаких волнений перед возвращением жены. Кстати, когда она прилетает?

– Вряд ли когда-нибудь. Мы с ней как-то оказались свидетелями ужасного теракта. На другой день она улетела к дочери в США. Там около года лечилась у психолога. С тех пор я и не спрашиваю, когда прилетит.

– Давно это было?

– Почти три года прошло, а я как вспомню эти ошмётки женских и детских тел на одной из остановок Тель-Авива... Так что она вряд ли вернётся сюда.

– Значит, Вы полетите к своей семье.


– В этом-то и проблема, Белушка.

Её бровки-подковки опять подпрыгнули вверх:

– ?

– Я уже там был. Больше не хочу. Да и английский у меня не идёт. Иврит как-то ближе. И вообще, по правде сказать, мне там неинтересно. А сейчас, – он поднял на неё глаза и выдержал лёгкую паузу, – тем более. В общем, не могу и не хочу.

Она пропустила его фразу про «сейчас», отлично поняв, что он хотел этим сказать.



– Не нравится мне Ваш пыл, молодой человек, – она укоризненно покачала головой. – Не нравится Ваш настрой. Очень уж боевой, как я посмотрю.

– Да решил побороться, знаете ли, – он по-мальчишески насупил брови.

– За что или за кого, а может, против кого? – удивилась женщина.

– За себя – это точно, но хочется и за Вас, Белушка. А противников в этой борьбе у меня нет, – он опять помолчал, рассеянно разглядывая заполняющийся зал. – Не могу же я в самом деле считать мою бедную Верочку своим противником!

– Не можете, – эхом откликнулась Белушка.

Он покачал головой в ответ:

– А знаете почему? – он опять выдержал паузу. – Да не нужен я ей, дорогая моя, не нужен. Вот дочка, внучка – это её святыни, а мне там места просто нет.

Ей показалось, он сейчас расплечется, а этого нельзя было допускать. Она жестом подозвала официанта и раскрыла сумочку.

– Этого ещё не хватало! Белушка! – он торопливо рассчитался, и они вышли на сумеречную набережную Кинерета и пошли вдоль ограды из широких парапетов.

Несмотря на ветер с озера, было жарко. Они спустились поближе к воде. Здесь было легче дышать. Внезапно всё преобразилось: зажглись огни, засверкали вывески прибрежных ресторанчиков, зашумели толпы молодёжи, заискрились глаза, зазвучала весёлая музыка и задвигались

в такт ей молодые гибкие тела. Они поднялись наверх и присели на парапет.

– Знаете, я всё думаю о Вашей последней фразе. Нужен – не нужен... Как говаривала в Бердичеве моя мама, давайте не будем бежать впереди паровоза. Жизнь сама расставит всё по своим местам. А пока надо жить и не оглядываться на прошлое... Вы проводите меня домой, а то мой сын, уже, наверное, ждёт-не дожждётся меня. Вот и автобус мой.

– Я с Вами, если позволите.

– С удовольствием позволяю...

У подъезда оба подняли головы вверх: на четвёртом этаже из бокового окна выглядывала кудрявая Женькина голова. Они помахали ей снизу.

– Спасибо Вам, Белушка, за сегодняшний вечер, за понимание и за надежду, которой Вы меня не лишили, – он поцеловал её в щёку.

– И Вам спасибо за правду. За то, что не хитрите... Запомнили, Анатолий? Не торопите события. Жизнь сама всё расставит по местам. Жизнь сама...

Багрут (иврит) – свидетельство об окончании школы.

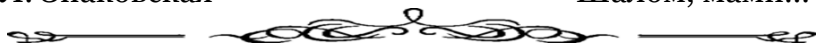
Ханут (иврит) – магазин.

Мушт (араб.), амнон (иврит) – серый карась, эндемик Кинерета.

Ма зэ? (иврит) – что это?

Хумус (араб.) – восточное блюдо из бобов.

Пита (араб.) – лепёшка.



Цикл 2
ДЕТСТВО,
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ



НОВЫЙ ГОД В КАБАНКИНО

Я проснулась на рассвете с сильно бьющимся сердцем: мне снился волк. Он стоял прямо под окном, смотрел снизу вверх, задрав тяжёлую серую морду и глухо тянул своё «у-у-у...»

– Ну, что ты выдумываешь? Ты ж его никогда не видела! – удивляется моему рассказу мама.


И до сих пор я не могу понять, как может сниться то, чего никогда не видела?

А видела я в свои только что стукнувшие (или постукавшиеся?) четыре года не так уж мало: ведь я была не просто ребёнком, я была беженкой...

Кабанкино, или Кабановка, – глухая татарская деревушка будто спряталась в глубине Чёрноотрогского райцентра, самого отдалённого в Чкаловской области.

Я с мамой и тётушка с двумя детьми оказались здесь по воле горькой военной судьбы в середине осени 41-го года, проблуждав в «теплушках», или «телятниках», а точнее – загонах для скота на колёсах – по всей европейской части страны, пока не перевалили в её азиатскую часть, через могучий и мрачный Уральский хребет.

Здесь – уже в который раз! – мы остановились, в надежде, что фашист не пройдёт. И вправду, на сей раз не надо было утром хватать недосушенные чулочки и ботиночки, запихивать их в мамин чемоданчик, наскоро надевать то,



что ещё было сырым после нашего бегства из Белгорода, или Саратова... Не надо было в панике хвататься за мамину юбку, чтоб не потеряться в стремительно бегущей к вокзалу толпе. Не надо было с ужасом вспоминать, что оставила в чужой постели тётушкин красивый трикотажный кардиган, свёрнутый наподобие спелёнутого младенца, – мою «куклу»...


...Вот уже более двух месяцев мы в этой забытой Б-гом деревушке.

Вначале нас было довольно много – эвакуированных из Украины, из её Полесья. Но семьи, где были хотя бы старики или подростки, способные таскать взад-вперёд тяжёлые узлы и чемоданы, постепенно разъехались в поисках лучшей доли – в города, где было много работы, где были школы для детей, сносное жильё...

А у моих уже не было сил... Да и в отличие от других семей нам повезло: нас приютила бывшая землячка, почти десять лет тому назад выселенная с мужем и детьми как злостная «куркулиха» - «кулачка», потому как не пожелала добровольно отдать кормилицу своих детей – корову в колхоз...

У неё, нашей суровой и немногословной хозяйки тётки Матрёны, в отличие от татарских подслеповатых мазанок, дом стоял на прочных сваях, чтоб не смыло в весеннее половодье, которое мне довелось со страхом наблюдать через год, в 5-летнем возрасте, сидя с хозяйскими детьми на покато́й крыше этого дома...

Ещё в доме были нары-полати, где спала тётушка моя с



детьми. Хозяйка же со своими тремя – на печке, а мы с мамой удостоились чести спать на узкой железной кровати, правда, в холодной комнате, отдельно от всех. Матрёна, сама чистюля первостатейная, увидев мамину постель, посветлела лицом и сразу повела её в свою «особую» комнату...

Так что и вправду повезло не завшиветь в маленьких грязных землянках со шкурами животных на полу, где копошились малыши вместе с детьми этих животных...

Больше сюда эвакуированных не привозили – размещать было некуда.

Хотя нет!.. Неправда... Однажды на подводе председатель сельсовета Мусса-бабай (дедушка Муса) привёз молодого парня в рваной солдатской одежонке и обмотках поверх разбитых, потерявших всякий облик ботинок. Но зато сам по себе юноша был редкой красоты.


– Вот, панимашь, грамотея привёз. Целых 10 классов закончил! Будет машина крутить, трахтар пахать. Да-да-да, Муса вам правда говорит. Якши?

Никто ему не возражал. Только мой братишка Лёвушка удивлённо воскликнул:

– Какая машина? Какой трактор?..

– Муса сказал «да-да-да»?! Значит, будет машина, будет трахтар! – независимо дёрнул бородёнкой-клинышком председатель.

Он поселил парня в своём сараюшке, потому что никто не хотел брать к себе этого странного красавца с отрешённым, остановившимся взглядом... Чёрные с проседью пря-




ди давно не мытых волос оттеняли ещё очень юное, бледное лицо с глубоко запавшими глазами. Лицо страдальца, мученика. Нездешнее лицо.

Только наш недалёкий Муса-бабай мог надеяться воззвать его к жизни. Даже нам, детям, когда случайно встречались с ним взглядом, становилось не по себе. И стыдно отчего-то было, будто виноваты были перед ним.

Звали его Исаак, точнее Ицхок – на идише.

Так звали и моего отца. Поэтому мама моя, томимая неким предчувствием, с особой жалостью отнеслась к несчастному: делилась с ним последними крохами еды, постирала всё, что он позволил снять с себя, принесла что-то из папиных вещей, которые сама себе не разрешала выменять на еду... И он, чуть оттаяв, что-то о себе ей рассказал: вчерашний школьник, он полюбил одноклассницу. А наутро после выпускного – война, и все выпускники-мальчишки отправились добровольцами на фронт. Ицхок, естественно, тоже. Семья же его Белушки не успела эвакуироваться. Над нею, её сёстрами и матерью фашисты долго глумились...

Об этом написали в письме к его другу-однокласснику, теперь уже сослуживцу, а тот прочитал Ицхоку, и не представляя, какую рану в сердце ему нанёс. Видно, не только в сердце. С тех пор парень стал сам не свой, искал смерти. С ним помучились и отправили от греха подальше в тыл. Так он оказался у нас, но недолго прожил в холодной клетушке Мусы. В последний день старого, уходящего, страшного 41-го года застал его хозяин мёртвым на охапке



соломы под старой, сваявшейся кошмой.

По еврейскому обычаю, надо было похоронить его в тот же день. Мало того, решено было предать тело земле в белом саване, по просьбе стариков, а саван этот из двойной марли, выданной в аптеке по требованию Мусы-бабая, шила вручную моя мама. Шила и плакала, может, предчувствуя очень близкое своё вдовство и моё сиротство...

Могилу в смёрзшейся земле подростки и женщины копали несколько часов, и хоронили беднягу уже в сумерках.

А тем временем на сцене маленького, насквозь промёрзшего сельского клуба, освещённого по случаю Нового года аж тремя коптилками, я со своим земляком Абрашкой Кофманом танцевали «Шамиля». Этот странный герой всех кавказских народов в порыве гнева убивает свою возлюбленную, а потом, раскаявшись, и себя закалывает кинжалом. Вот такую «драму-мелодраму» мы с Абрашкой и изображали, попеременно распевая на мотив «Лезгинки» свои реплики. Оба в нарядных матросках (как вам эти кавказцы в матросках?) – он в тёмно-синей, я в вишнёвой. Ему – 5 лет, мне – 4 года. Вот, сражённая его кинжалом, я шлёпаюсь на холодный пол сцены, а он в отчаянье орёт своим хрипловатым срывающимся фальцетом:

*Ах, зачем я погубил
Душу молодую?!
Лучше б сам себя убил,
Чем свою родную! –*

И, сделав вприпрыжку прощальный круг под знаменитое «Асса!», закалывается и аккуратно укладывается рядом со

мной. Под бурные аплодисменты старых и малых татар, а также нескольких бабушек с внуками из эвакуированных, мы обходим ряды зрителей и получаем свой гонорар – по жменьке семечек. Мне сыплют прямо в приподнятую мною юбочку, партнёру – в бескозырку. Счастливые, мы несём домой свой «заработок».

А наступившее морозное утро Нового 42-го года словно предупреждало застывшую в холоде страну о предстоящих ещё жестоких боях и жестоких потерях. Может, об этом и был мне в предрассветном сне в это новогоднее утро приснившийся серый волк...




КУКЛА

Вот вы часто говорите «глупая корова», «толстая корова». А у нас была корова – Кукла!

Нет, нет, вовсе не игрушечная, не кукольная – это имя у неё было такое, то есть кличка. Так мне объяснил брат Лёвушка. Он был уже школьник, пятиклассник, а я только собиралась в первый класс, хотя семи мне не было. Но в тот год так и не собралась.

Ещё шла война с немцами, правда, уже за границей нашей страны. А мы поторопились домой, на Украину, в маленький зелёный городок, где от нашего дома только печная труба осталась – всё сгорело... Мама с тётушкой и мы, трое детей, жили пока в доме родственников, ещё не вернувшихся из эвакуации. Брат и сестра пошли в школу, а мне было не в чем: зарядили дожди, и я сидела дома, глядя в окно, как пробегали подружки с полотняными торбочками. В большой, через плечо, – самодельные тетрадки и палочки для счёта, а в маленькой, что в руках, – глиняная чернилка-непроливайка, изделие местных гончаров.

В один из тёплых осенних дней стояла я так коленками на широкой, тёмной от времени лавке и что-то писала печатными буквами на затуманенном стекле. Стукнула входная дверь – прибежала тётушка из гончарни, где она работала «старшей куда пошлют». Торопилась своих школяров покормить, следом за нею вошедших, и самой чего-нибудь перехватить в обеденный перерыв. В этот день и мама была дома, ожидая заказчицу сшитого накануне платья.



Тётушка достала ухватом из печи глиняный горшок с супом, разлила в три глубоких миски и отрезала себе и детям по ломтю чёрного хлеба. Мы жили довольно дружно, но питались всегда отдельно – так повелось издавна. «Ты – брат мой, но ешь хлеб свой!» – говорили взрослые, приучая детей не попрошайничать.

– Слышишь, Ася, – взволнованно нарушила молчание тётушка. – Мне сказали, где моя Кукла...

– Правда? – мама радостно вскинула тонкие бровки.

Я не удивилась: сколько себя помню – и в эвакуации, и в долгом, мучительном возвращении из неё – у тётушки с языка не сходила эта самая Кукла, её первая и, по-моему, последняя корова.

– Мам! Мам! Где? – наперебой закричали Куна и Лёвушка.

– У Текли, в Лещенцах...

– Слава Б-гу! Текля ж почти наша! – ещё больше обрадовалась мама. – Столько лет в няньках у Малки была. Думаю, отдаст корову без лишних слов.

– Не знаю, не знаю... Мы с ней виделись позавчера на базаре. Как вспомнила нашу Малку – всплакнула, а вот о Кукле промолчала...

– Ах, вот как! – протянула мама, но, глянув на золовку, осеклась. – Причём одно к другому? Смерть Малки и какая-то корова, пусть даже такая, как твоя Кукла, – согласишься, это ж несравнимые вещи, Фрумэлэ!

Тётя задумчиво качала головой и рассеянно помешивала жидкий супчик, где две картофелинки будто в жмурки иг-

рали, ища друг дружку...

– Хочешь, я пойду в Лещенцы? – тихо спросила мама, вплетая мне в косички цветные обрезки от скроенной сегодня голубой сатиновой блузки.

Тётушка вскинулась, будто внезапно проснувшись:

– Ещё чего не хватало! Если уж идти, так мне...

– И не с пустыми руками, – добавила мама.

Тётя вопросительно глянула в нашу сторону:

– И что же я понесу? Что у меня такого есть, чтоб её разжалобить или совесть пробудить?

– Если хочешь, чтоб отдала без скандала (отдать всё равно отдаст: куда она денется, найдём на неё управу), но чтоб по-хорошему, мирно, – отнеси ей свою шаль.


– Ой, шаль! – простонала тётя. – Ты меня без ножа режешь: подарок мужа! Я всю войну её берегла... На продукты детям не выменяла... От вагонных воров за пазухой прятала... А теперь своими руками... – и добавила вполголоса на идише. – А фрэмдн тОхес из гит цу шмайсн!..*

– Мамуль, не надо, не отдавай! – всхлипнула Куночка.

– Тётя, не отдавайте! – расплакалась и я.

Подозрительно запыхтел брат, уставившись в окно.

– Но это же для вас, дети. Кукла каждое утро и каждый вечер будет поить вас тёплым молочком, а потом, может, и творог, и даже сметанка появятся, – тётка будто себя уговаривала. Сама же, присев на корточки, уже отпирала дрожащими руками забренчавший навесной замочек на жёлтом фанерном чемодане, где на самом дне бережно спелёнутая льняным полотенцем и удушливо пропахшая нафта-



лином лежала красавица-шаль.

Её не разворачивали ни разу с тех пор, как, узнав об освобождении Украины, взрослые разом собрались домой и укладывались в дорогу.


А сейчас мы стали в четырёх углах нашей полупустой, тусклой комнатки – мама, Куночка, Лёвушка и я, а тётушка, не разворачивая шаль, только чуть встряхивая, дала каждому по уголку с густой тёмно-красной бахромой. Мой кулачок с крепко зажатыми кистями она не выпускала из своей руки. А потом скомандовала:

– Раз, два, три!

Мы разом подняли руки – полотенце, бессильно раскинув крылья, нехотя опустилось на пол, и серая комната празднично преобразилась, радостно вспыхнув разноцветьем алого, вишнёвого, малинового и тёмно-розового цветов. И лица моих родных сразу же похорошели, став из привычных бледно-серых, землистых от недоедания – нежно-розовыми, с тёплым, улыбчивым румянцем...

– О-ох! – общий вздох восторга завершил это молчаливое действие, и мы ещё некоторое время, почти не дыша, разглядывали ярко-красное поле с пунцовыми и пурпурными розами, причудливо сплетёнными в большой и малый венки. По углам же квадратной этой шали были разбросаны букеты и букетики аленьких, малиновых и тёмно-розовых, словно только что распустившихся цветков, и густо-бордовых, багровых бутонов, готовых вот-вот выплеснуть наружу свой огненный костёр.

Первою пришла в себя тётушка:



– Ну, полюбовались – и хватит! Хотя нет – попрощайтесь... Что, Ася, отдаём?


Мама молчала. Ей тоже было жаль единственного богатства золовки. Но, видно, Кукла того стоила. Виновато, исподлобья мама глянула на тётушку:

– Надо. Но решай сама.

Тётя решительно тряхнула головой и деловито, не торопясь, словно оттягивая минуту прощания, обошла каждого, аккуратно сложив уголок к уголку все концы мягкого кашемирового платка. Затем снова бережно завернула его в пожелтевшее от времени полотенце.

– Решено! И нечего откладывать до завтра. А то за ночь передумаю... Может, на вечернюю дойку ещё приведу домой нашу Куклу... – и, ни на кого не глядя, вышла, тихо прикрыв за собою дверь.

Мама смахнула слезу, отправила Лёвчика в гончарню подменить мать, прижала к себе заплаканную племянницу, и они стали вспоминать, как накануне войны дядя Грэгор, муж тётушки, съездил в Литву, только что провозглашённую Советской, и встретился в Ковно с матерью и братьями. Ах, какие он всем привёз подарки! Но самым роскошным даром была эта шаль, похожая и непохожая на самые красивые украинские и цыганские платки, что даже сейчас, после войны, можно было увидеть на воскресных базарах-ярмарках... Был в ней какой-то вечный, неутомительный, неназойливый праздник, где главный цвет дополнялся, обогащался и насыщался оттенками родственных ему цветов. Какая-то мера вкуса и красоты, удивляю-



щая меня и сегодня, потому что я никогда ничего подобного больше не встречала...


Но по сей день это видение вызовет во мне также и сосущую, ноющую тоску, потому что из-за меня тётка потеряла ещё один польско-литовский подарок – бежевый кардиган.

Да-да! Бежевый кардиган – так взрослые называли очень милую, вовсе не роскошную, мягкой шерсти кофту без воротника, на удлинённых пуговках-карамельках, расчерченную впереди коричневыми, бежевыми и бордовыми ромбами. Возвращаясь из эвакуации, на одной из бесчисленных пересадок с поезда на поезд я свернула её наподобие куклы и укачивала на руках. Услышав неожиданный зычный крик «По вагонам!», я в спешке, панически боясь потеряться, ухватилась за мамину юбку, выпустив куклу из рук...

Со временем тётя меня простила, но я себя не прощала и, повзрослев, привозила ей отовсюду разные кофты, однако такой не нашла...

... Незаметно за окном стемнело, и мы вышли во двор, беспокоясь о тётушке. Мимо ворот проходило небольшое стадо коров наших соседей-украинцев. Все эти Ночки, Марточки, Дочки, Зореньки точно знали свои ворота и калитки и торопились к ласковым тёплым рукам своих хозяек, готовых облегчить им тяжкую ношу вымени.

Только близ убогих еврейских полуразвалин с обгоревшими яблоньками и грушами не открылась ни одна калитка, не скрипнул ни один перелаз... Правда, кое-где за берё-



зовыми перекладами на месте бывших ворот, на пустырях и пепелищах уже шумели стайки чернокудых, голенастых ребятишек, всегда пугливо смолкавших при виде мычащей и бодливой процессии. Вот и сейчас они молча постояли у дороги и тихо разошлись.

... А тётушки всё не было. Мы вчетвером вышли со двора и пошли её встречать. Впереди Лёвушка вёл меня за руку, а за нами в обнимку, как две подружки, шли мама и Куночка.


У нас на Полесье летом темнеет довольно поздно, но сейчас, в конце сентября, долгие сиреневые сумерки быстро сгустились, и небо уже кое-где вызвездило. А воздух был ещё влажный, гулкий, каждый звук отчётливо слышен и узнаваем. Вот и тётушкин негромкий, воркующий голос мы расслышали прежде, чем она появилась из-за поворота песчаного шляха.

– Ну, ну, моя красавица, моя Куколка, вот мы почти уже дома...

Мы разом остановились, а навстречу нам из-за поворота, горделиво покачивая красивой глазастой мордой с белым пятнышком на лбу и увенчанной точёными рогами, торопливо и легко переступала копытцами наша Кукла. Ей явно не нравилась незнакомая эта песчаная дорога. Она капризно оттопыривала свои роскошные губища, раздувала большие чёрные ноздри, изредка недоумённо поворачиваясь к хозяйке, будто спрашивая:

– Куда ж ты меня ведёшь?..

Мы посторонились, радостно приветствуя тётушку, а Кук-



ла вдруг мягко ткнулась Лёвушке в плечо.

– Узнала! Узнала, Куколка! – как девочка, обрадовалась мама и, хотя тоже, как я, побаивалась бодливой кормилицы, всё же осторожно её погладила по тёплому ворсистому животу.

А Лёвушка, добрая душа, засопев от удовольствия, достал из кармашка загодя, видно, заготовленную корочку хлеба и угостил долгожданную гостью. Та совсем почеловечески глянула на мальчика своими выпуклыми, удлинёнными, как чернослив, очами и мягко слизнула большим шершавым языком подсолённый сухарик. Затем, зажмурившись от удовольствия, царственно зашагала дальше по песчаной дороге. Мы с благоговением шли сзади, только Лёвушка, сменив мать, но отказавшись от хворостинки, вышагивал рядом, изредка поглаживая красавицу по тёплому боку.

Тётушка взахлёб рассказывала, как Кукла её узнала и больше к себе Теклю не подпустила. Пришлось Фруме самой её там и подоить.

– А где ж молоко?

– Ну, вот ещё – тащить в такую даль... Правда, если б бидончик был...

– А шаль, мама? – с надеждой прервала её дочь.

– Шаль я отдала ещё до того, как коров пригнали с пастбища. Текля, как меня увидела, прямо в лице изменилась...

– Ага! Си от ир геворн кил ин пипык!* – на идише поддразнила мама. – И дальше?

– Вот именно: ей стало плохо! Нахмурилась, что-то там

запрічитала, как они тут мучились при немцах, пока мы там, в эвакуации, на всём готовом...

– Да-да! Всем нашим завистникам этого бы «готового» да на всю оставшуюся жизнь! – не унималась мама.

–...но, увидев шаль, онемела, даже расплакалась...

В домах горели уже огоньки коптилок и керосиновых ламп. Казалось, улица была пустынной, но гулкое вечернее эхо доносило голоса удивлённым соседок:

– Ти бачиш, Марусю, оддала-таки Текля Куклу!

– А на базарі божилася, що не оддасть ні за що...

– Я б не оддала! То ж не корова – то королева! А молоко солодке, як мед!

Тётушка с мамой молча переглядывались. Лёвушка обошёл корову справа, и она послушно повернула к нашей запахнутой калитке.

Уже выплыл месяц и позолотил её ровную рыжую шерсть, а над бугристым лбом с белоснежной звёздочкой зажглось целых два отражения – два полумесяца.

Ну, что тут скажешь?

Не корова – Кукла!

**А фрэмдн тОхес из гит цу шмайсн! (идиши) – чужая беда не болит. Дословно: чужую задницу хорошо хлестать!*

**Си от ир геворн кил ин пипык (идиши) – ей стало дурно. Дословно: у неё похолодело в пупке.*



ЭТА ЖЕНЩИНА МИНУЛА...

*Эта женщина минула,
В холст глубоко вошла.
А была она милая,
Молодая была...*

Белла Ахмадулина

Чёрный мрамор стелы охлаждал мой горячий потный лоб. Обеими руками я гладила выбитые на ней «ФИО» отца, две даты с промежутком в тридцать лет – «1912 – 1942» – да ещё место его гибели – Харьков...

Я не плакала. Скорее, радовалась: наконец-то, будет у меня место, где я смогу думать только о нём, говорить с ним, рассказывать ему, как мама всё сердилась на него за то, что он ушёл навсегда, не поцеловав меня, спящую, боясь разбудить... Он, видно, думал, как на Финскую: месяц-другой – и домой! А вышло – навсегда... И ещё я расскажу ему, как моя тётушка, его старшая сестра, нянчившая его маленького, в старости своей звала своего внука его именем... Говорят, впала в детство...

Рядом кто-то всхлипывал. Мне не хотелось поворачивать голову, открывать глаза. Гул многолюдной толпы, собравшейся на открытие мемориала, не смолкал. Звучала торжественно-скорбная музыка. Издалека наплывали театрально звучащие речи да расшаркивания друг перед другом каких-то незнакомых и знакомых политиков... Софа Ландвер из Кнессета, нынешний мэр Ашдода, послы Литвы и Казахстана – надо же!.. Господи, им-то что до наших

«пропавших без вести», чьи косточки по всему миру рассыпаны...

– А всё-таки он молодец, наш Сёмка-красавчик! Такое доброе дело сделал... Все грехи, если есть у него, за это спишутся, – я не поняла, что говорю вслух, да и кто мог меня услышать в этом шуме...

– Любонька, ты?!

Оказывается, услышали. Я нехотя повернулась – на меня в упор смотрели, близоруко щурясь, нежно-голубые заплаканные глаза. Газовая косыночка поверх поседевших кудрей, бывших в молодости белокурыми... А главное – эти выгоревшие щёточки бровей, так и не потемневшие со временем...

– Танюшка, Танечка! Сто лет тебя не видела, но не узнать невозможно: всё та же, как когда-то в школе, прелестная скромница-снегурочка!

Мы обнялись, расцеловались.

Она меня спросила об отце, и я кивнула головой, уставившись на табличку, у которой она плакала:

Сапожникова

Ольга Соломоновна

1917 – 1942

– А кто это, Тань?

– Сестра моя...

– Двоюродная? – почти с уверенностью спросила я, хорошо зная всю её семью – родителей и старших братьев ...

– Нет, родная...

– Как родная? Она ж всего на пять лет моложе моего от-



ца, почти ровесница моей мамы, а ведь ты моложе меня...

– Всё правильно, Любонька, всё так и было... Вот посмотри...

Она достала из сумочки старый плотный конверт, а из него осторожно извлекла фотографию девушки в пилотке со звёздочкой, в суконной гимнастёрке с петлицами. Из-под пилотки выбивались светло-русые кудряшки, старательно убранные за уши...

Если б не тёмные брови «домиком» да этот необычный костюм, я бы в ней узнала Таню Сапожникову лет на тридцать моложе нынешней: тот же грустный взгляд глубоко посаженных, светлых глаз, несколько тяжеловатый подбородок, высокий, уплывающий под пилотку лоб...

Я не удержалась:

– Да это же ты, Танюша!

Она не могла говорить, слёзы заливали её лицо, дыхание было прерывистым, как у зашедшегося в плаче ребёнка. Я протянула ей бутылочку с водой.

– Давай выйдем отсюда, – тихо промолвила она после нескольких судорожных глотков, – посидим за оградой, пока митинг идёт... Ни с кем о ней не говорила, а с тобой хочется...

– Конечно, конечно... Мне тоже ...

Мы сидели друг против друга за оградой Ашдодского военного кладбища, где была сегодня открыта целая аллея чёрных и серых мраморных стел, сложенных из отдельных плиток с выбитыми на них именами тех, чьих могил до этого дня не было на земле... На этой стеле – белорусы, на

этой – коростенцы, на этой – наши олевчане...

Кто бы мог подумать, что Сёмка Гендельман, синеглазый баловень и любимчик девчонок-сверстниц, никогда не отличавшийся особой серьёзностью в школе, с таким рвением, даже страстью возьмётся за это дело, заразит им власть имущих и доведёт-таки до этого радостного и горького праздника «со слезами на глазах»...

... – Что-то я никак не соображу... У тебя же братья, Таня?.. Я их помню, красавцы-офицеры... Они живы?..

Она прерывисто всхлипнула:

– Да, слава Б-гу, живы! Оля была намного старше их.

– Ты её помнишь?


Она как-то странно посмотрела на меня, словно издали, из дальнего далека...

– Нет, мы никогда не виделись, я ведь родилась в сорок втором. А она в том же году пропала без вести... Мы разминулись...

– Разминулись... – эхом откликнулась я. – Значит, ты ничего не помнишь...

...Она не могла этого помнить. Ну, никак не могла! Ей и трёх лет тогда ещё не было. Но ведь помнила и помнит!.. Можете верить или не верить – помнит, и всё тут!..

Будто в старом довоенном кино, на плохо сохранившейся плёнке видит она свою старенькую, низкую хатку на бывшей Базарной улице в полуразрушенном еврейском местечке... Видит её не снаружи, а изнутри. Слабый огонёк коптилки выхватывает из темноты лица немолодых, усталых родителей и ещё кого-то – высокого, кудрявого,



беспокойного какого-то военного. Он всё снимал с себя кругленькие, блестящие очки, не такие, как у отца, на верёвочках, а блестящие, яркие, отражающие в стёклышках огонёк коптилки, и то и дело вытирал их скомканным клетчатый носовым платком.

За столом ужинали, точнее, прихлёбывали что-то из глиняных глубоких мисок, бережно подставляя под ложку ломти чёрного хлеба. А гость попеременно клал ложку на край своей миски и всё порывался сбросить с себя шинель, но его останавливали:

– Нет, Миша, не раздевайся: у нас холодно!..

Пахло грибным супом и особым, киевским чёрным хлебом – видно, гость привёз.


Наконец, положив ложку на недоеденную краюху, отец тихо попросил:

– Расскажи ещё раз, что она там писала своему начальнику...

– Да если б я знал, что... Это ж мне главврач пересказывал... А само письмо не сохранилось...

– Господи! Как же можно было письмо выбросить?! – воскликнула Сора.

– Вот тут Вы не правы, мама, – немного запнувшись на последнем слове, при этом вопрошающе вскинув на женщину глаза, возразил Миша. – Вы представьте себе это время: 42-й год!.. В Киеве давно хозяйничают фашисты... В Кирилловской больнице тоже они, только раненые... И тут главврачу кто-то передаёт письмо от партизанки! Это представить невозможно! На всех столбах расклеены при-



казы о смертной казни за укрывательство евреев и партизан, за связь с ними... А тут её письмо!..

– Да, да, мы знаем... И о Бабьем Яре тоже – там же мои сёстры с малыми детьми, другие родичи... – тихо откликнулся отец.

– Ну, вот я и говорю... Да видел я эти приказы, видел много чего... Я же сразу примчался в Киев, когда его освободили! Так надеялся что-нибудь узнать о ней... Куда только ни обращался... «Пропала без вести», и всё...

– Мальчики, сыночки наши, тоже там побывали, в её больнице, с кем только ни говорили! Даже с двумя её больными, чудом уцелевшими: всех этих несчастных «психов» они же постреляли! – подхватила Сора. – А этих двух ещё наши определили истопниками, и они выжили...

– Постойте... Значит, вам рассказали... Значит, вы знали о её письме? – удивился зять. – А спрашиваете о нём почему?

– Не знаю, сынок, не знаю, всё надеюсь на что-то...

– Как же я просила её уехать с нами в эвакуацию – со мной и с младшим, Яшенькой. Старший в Москве военное училище заканчивал. А мы с последним эшелонем из Олевска в Киев, в тамбуре стоя, добрались. Она нас встретила – такая стройная, тоненькая, как берёзка, в гимнастёрке, перетянутой ремнём. Да ещё эти петлицы офицерские... Я смотрю, у вас теперь погоны... Как у белогвардейцев... Странно... О чём это я?.. Да... Всю ночь я просила её, всю ночь... Могла бы сказаться беременной! И слушать не хотела... Хотя после финской войны другая она

стала, совсем другая...

– А меня как «американского шпиона» за месяц до войны посадили, – перебил Соломон.

– Да, да, Оленька ещё тогда мне рассказала... Поэтому и свадьбу в Олевске мы не делали. Просто расписались и посидели с друзьями в Олиной комнатке при больнице...

– Господи, какую ж вы красивой парой были!.. Будто созданы друг для друга, – простонала Сора.

После непродолжительного молчания Миша спросил, обращаясь к отцу:

– А как Вам-то выжить удалось?

– А мне иной раз кажется, что они сами понимали, что это ни в какие ворота не лезет: простой бухгалтер – и связь с разведкой США! Но письма-то от сестрёнки из Америки мы и вправду получали – вот дело и состряпали... А сестрёнку-то в няньки сосед-ювелир взял с собой ещё в 22-м году... Обещал, правда, отправить назад...

– Но, слава Б-гу, ума хватило не делать этого! – воскликнула Сора.

– Да, да, и что же – вас просто отпустили? – удивился зять.

– Как же! Дождёшься от них правды! Да и не отрицал я своих «связей» – ещё и пошутил: если моя сестрёнка – шпионка, то признаюсь в связи с ней через переписку... А они мне тут же под нос протокольчик на подпись... Уж и не знаю, чем бы дело кончилось, если б не война... Отправили меня в Джекказган на медные рудники – сказали, на трудфронт... Моего здоровья там и на год не хватило. Вот в

начале 42-го меня и отправили умирать к жене, в эвакуацию, в казахский аул...

– С целым букетом болезней приехал – от ветра шатался: язва, туберкулёз... Но я за него взялась, да и местные старухи-казашки своими снадобьями помогли его выхаживать. Он же поначалу не вставал!.. А через какое-то время у нас дитя родилось...

– Что?! Так это ваш ребёнок?.. А я думал – соседское дитя спит...

– Наша дочка, – то ли всхлипнул, то ли кашлянул Соломон. – Она-то меня скорее всего на ноги и поставила...

– А я же ничего не знал... Через месяц после свадьбы – командировка на север, и там, под Мурманском, меня война и застала. И всё... С Ольгой связь прервалась. Ни весточки от неё за всю войну... Родители в Белоруссии, в оккупации погибли...


Миша вдруг резко встал, сбросил шинель на спинку скрипучего венского стула и тихо подошёл к сундучку, на котором в большом деревянном корыте спала девчушка лет двух-трёх.

Неожиданно для хозяев, да и для себя, он опустился на корточки и стал вглядываться в нежное спящее личико. Ему показалось...

– Деточка, а может, ты моя?.. Ты ж, как две капли воды, на Оленьку похожа... Оленька, Оленька моя... – он не замечал, что уже не шепчет, а говорит вполголоса.

– Миша, ты что?! Опомнись! О чём ты?

– Ну, скажи, маленькая, ну, скажи – ты наша с Олей до-



ченька?! – он почти рыдал, ничего не видя сквозь залитые слезами очки, которые, наконец, снял и сунул в нагрудный карман кителя. А другою рукой нежно-нежно поглаживал старенькую стёганку, прикрывавшую дитя.

– Миша, ты что?! Успокойся! Ребёнка испугаешь!

– Что с тобой, сынок?!

– Не сходи с ума, парень! Этого ещё не хватало!

Соломон и Сора вскочили со своих мест и, перебивая друг друга, громким шёпотом пытались образумить вконец забывшегося зятя.


– Это наше дитя! – почти задыхаясь, вытягивая шею, безголосо шипел отец.

– Кто бы тебя обманывал, сынок! Да и зачем?! – Сора, добела сцепив под подбородком пальцы, остановилась рядом. – Разве нам легко растить сейчас малютку? Но раз Богу было угодно одарить нас...

– Вот и я о том же... – он произнёс это почти вслух, но неожиданно охрипшим голосом, уронив лицо в ладони. – Вам обоим за пятьдесят. Отец вернулся домой такой больной... Мне не надо рассказывать: я врач, я вижу...

В это время малышка проснулась, и свето-голубые незабудки глаз широко распахнулись навстречу маминим рукам. Гостя она не видела и будто вспорхнула, вскинув навстречу просиявшей Соре ручки в вылинявшей байке рубашонки.

Но вот Миша оторвал тяжёлые ладони от беспомощных близоруких глаз, вскинул голову и замер: такой и только такой могла быть его дочка, их с Ольгой дочь... Он засто-



нал, протянув к ней руки, но Сора перехватила испуганное, но молчащее дитя, с тёплых щёчек которого медленно опадал румянец сна.

– Вы себе представляете, как будете растить малышку?.. В этом холоде... в нищете... Отдайте мне её, отдайте мне Олю...


– Это не Оля, слышишь, Миша?.. Ребёнка зовут Таня, Танечка, Тайбеле по-нашему...

– Тайбеле – голубка... Как хорошо вы её назвали... Но может, всё-таки...

– Очнись, парень, приди в себя! Ты же военный человек! – резко оборвал его Соломон, так и не приблизившийся к ребёнку. Он стоял у стола, держась за спинку стула тонкими худыми пальцами.

– Это мой ребёнок, Миша, мой... Я её родила... Я!.. – Сора заходила по полупустой комнате, поглаживая спинку прильнувшего дитяти и будто взвешивая каждое своё слово. – Не Оленька моя, которой сейчас было бы всего двадцать восемь... А я, которой уже пятьдесят... А отцу ещё больше... Но Бог рассудил иначе... Сначала вернул мне полуживого, будто с того света, мужа... Это сейчас он уже герой, а ты бы видел его тогда... Б-же мой, как говорят, в гроб краше кладут... Но я выходила его, выкормила с ложечки... Да, а потом Бог дал мне счастье забеременеть в мои годы...

– Казахи, между прочим, нормально отнеслись. Радовались за нас... Сядь, сынок, и послушай мать. Мы ж тебе не чужие...



Соломон собрал только свою посуду, тщательно протёр её намыленной тряпочкой, облил кипятком и поставил на подоконник, прикрыв полотенцем. Миша молча наблюдал за ним, с горечью отмечая эти предосторожности инфекционного больного, и слушал Сору.

– А в первые дни войны, я, кажется, уже говорила, Кирилловскую больницу превратили в госпиталь для наших раненых.

– А больных куда подевали?.. – Миша и сам знал ответ, но надо же как-то разговор поддерживать...

– Что тебе сказать... Оленька плакала, рассказывая об этом... Приказали, чтоб родные их забрали. А кому ж они, бедные, нужны?.. Да и война на пороге. А то и некуда было забирать: там же больные со всей Украины были... В общем, может, двух-трёх и забрали, остальные по людям разбрелись, в сарае больничном прятались... Недолго, правда, мучились: гитлеровцы быстро порядок навели...

– Да, а наши начали...


– Замолчи, Соломон! Жизнь тебя ничему не научила...

– Видать, не научила...

Сора грустно покачала головой и продолжала:

– Проводила Оля нас, а через пару дней и сама увозила раненых из госпиталя в эвакуацию. А фашисты уже входили в Киев... Раненых полный вагон, большинство лежачих, тяжёлых... Бомбить их начали сразу же, не давали выехать даже за пределы области...

Женщина присела на тёмную некрашеную лавку у окна, укачивая ребёнка. Говорила вполголоса, как-то отрешённо,



будто пересказывая что-то недавно увиденное...

Миша медленно поворачивал к ней голову, брови его разглаживались. Сора продолжала:

– Ночью они опять налетели. Одна бомба попала в соседний вагон. Да ещё и разнесло в щепки железнодорожный мост впереди...

– Говорят, что его партизаны взорвали...

– Соломон, ты опять?..

– Ну, что ты мне слова не даёшь сказать?!.

– Да говори, говори... Только сначала думай что, где и при ком...

– Что ж ты Мишу-то обижаешь?

– Боже сохрани! Мишенька, я вовсе не хотела тебя обидеть...

– Я и не принял на свой счёт, продолжайте, мама...

– Так вот, разбомбили мост, и остатки эшелона оказались в ловушке.

– Это не ловушка. Это окружение, – снова перебил Соломон.

– Какая разница?.. Жара, ветер!.. И пожар мгновенно перекинулся на их вагон... А ей, Оленьке нашей, удалось выбраться из огня и вывести, а может, вытащить ещё трёх ходячих раненых.

Не знаю как, но им снова повезло: удалось той же ночью добраться до партизан... Поезд разбомбило вблизи леса...

Спящую малышку Сора уложила в корытце на бочок, прикрыла стёганкой...

– Бедная моя девочка!.. Сколько ей пришлось пережить!
– Миша встал, одёрнул китель. – Да, от главврача я узнал не больше вашего... Ещё, правда, о самолёте с Большой земли...

– Ну, конечно, это было в начале 42-го...

– Что за год такой?.. И меня с рудников Джебказгана умирать отпустили в начале 42-го... – охнул Соломон. – И Оленька наша в 42-м пропала...

– Да, да, действительно... Вот этим самолётом она и отправила письмо в Кирилловскую больницу. Как же оно могло попасть в оккупированный Киев?

– Видимо, через городских подпольщиков... Но сначала – в Москву, там же был штаб связи с партизанами, – рассуждал вслух Миша, меряя шагами комнату.

Соломон, будто решившись на что-то, поднялся из-за стола:

– Я вам скажу кое-что... Меня давно эта мысль мучает: когда сыновья наши вернулись из Киева и почти дословно пересказывали её письмо, я запомнил не столько слова, сколько тон...

– О чём ты, Соломон? Почти три года прошло, как человек держал в руках её письмо. Как он мог дословно его пересказать мальчикам?!

– Не знаю. Но слова звучали так, будто она их говорила... Но вот тон, настроение...

– Что? Что такое? Какое настроение? – Миша остановился прямо перед отцом, таким хрупким, худеньким...

– Я вам скажу, паршивое, видно, было у неё настро-

ние... Раза два она повторила слово «устала»...

– Да, да, припоминаю: «Нет больше сил – устала я очень»... И ещё: «Надоело мне воевать, измучилась я вконец!»

– Ну, и что ты об этом думаешь?.. Представь себе, как в штабе партизанских соединений читают это письмо...

– Да, за такие письма по головке не гладят... – скрестив руки, Миша стоит над спящей девчушкой. – Это называется пораженческим настроением... Перед войной такие две строчки могли всю жизнь человеку перечеркнуть...

– Господи, Б-же мой! Да что ж вы, в самом деле, ещё больше меня пугаете? – Сора тихо заплакала, вдруг осознав всю серьёзность мужниных предположений. – А ещё она там спрашивала о нас и добавляла: «Неужели я одна-одинёшенька на свете осталась?»

Отец, скрипнув зубами, чтоб не заплакать, пробормотал:

– Чем-чем, а патриотизмом и не пахнет...

– А пахнет кровью, гниющими, незаживающими ранами, вонючими непросыхающими портянками... И ещё трупами. Просто человеческими трупами...

– Мишенька, что это ты? Как ты можешь судить о том, чего не видел?

– Я просто знаю свою жену, мама... Я помню её письма с Финской войны... Ничего похожего... Хотя вряд ли там было легче... Скорее, тяжелей... Чтоб чужому человеку она написала такое...

– Вот об этом-то я и хотел вам сказать... Или спросить...

– Ты хочешь сказать, дорогой, что они и туда добра-



лись?!.

– Что после такого письма они непременно навели о ней справки – это и дураку ясно...

А что теперь Ольга для них не только опытный врач, прошедший Финскую войну, но и дочь «врага народа»... Вот и понятно её настроение, как ты сказал, «пораженческое»...

– Между прочим, никто её специально для подпольной и партизанской работы не оставлял. Она случайно там оказалась, – как могла, защищалась Сора.

– Но истолковать-то можно и по-другому... А вдруг специально.

– Перестань, Соломон, я тебя умоляю... Не терзай меня и себя...

– Я слишком хорошо узнал их повадки, поэтому стараюсь как бы стать на их место.


– Лучше не надо... Лучше на своём... – это Миша, коротко глянув на часы, заметил. – Ого, до прибытия на станцию Брестского поезда меньше часа осталось...

– Да, да, – засуетился Соломон, – Ковельский поезд хоть постоит минут пять, а «Брест – Киев» может только замедлить ход и пошёл дальше.

Бледный заспанный рассвет, крадучись, заглядывал в лиловые стёкла окошка, царапался о незакрытые с вечера ставни, тоненько позвякивал расшатанной форточкой.

Миша подошёл к столу, расстегнул верхний карман кителя, достал какие-то бумаги.

– У меня сохранилась её фотография с Финской. Это



уже после той войны их медперсонал сфотографировали. Кстати, очень мало их выжило тогда... Видите, какие грустные глаза...

Дрожащими руками Сора молча прижала снимок к груди.

– Была и у нас такая, да в спешке в эвакуацию ничего с собою я не взяла...

– Не плачьте, мама... Я Вам оставлю карточку. Мне переснял фотокорр, которому я ногу спас... Киевлянин, кстати... Взгляните, как малышка на неё похожа...

– Спасибо тебе, Мишенька... Спасибо, родной, – она пропустила последние слова, словно не слыша. – Адрес наш тебе известен – пиши, не забывай...

Зять подошёл к ней, порывисто обнял, нежно поцеловал мягкие седеющие завитки на виске...

Повернулся к двери, наклонился над деревянным ведром, зачерпнул из него воды глиняным ковшиком... Медленно пил, не сводя глаз со спящего ребёнка. Затем быстро подошёл к корытцу, будто боясь, что остановят, наклонился и коснулся губами светлого, прозрачного локона на затылочке. Распрямился, приложил руку к сердцу, словно прося прощения у Соры, и вышел за дверь, где его ждал уже Соломон в наброшенном на плечи ватнике.

– Вот и ночь уже минула...

– Да, минула, как война, как моя молодость, как и Оленька наша...

По длинной тропинке, ведущей к калитке, шли рядом, тесно прижавшись друг к другу.

– Держись, сынок.

– Крепись, отец...

Закрывая за собой калитку, Миша оглянулся на домик ещё раз. Там, в освещённой изнутри комнате, стояла у окна мать и держала на руках малышку. Вот она ей что-то сказала, и девочка застенчиво помахала ладошкой ему вслед...

– Помню я, помню эту тропинку заснеженную от вашего домика, Танечка, до калитки... Как они гуляли там с тобой, такой хорошенькой, в шубке и шапочке...

– Да, да, это братья-офицеры меня наряжали, всё подарки слали...

– А родители твои старенькие, слабые такие... Это ж тогда я и прозвала тебя Снегурочкой – не только потому что беленькой ты была, но потому что годилась им во внучки...

– Сперва они меня, а потом я их нянчила... Потому и школу вечернюю закончила, и физмат заочный, хотя мечтала о медицинском... Заочного мединститута ведь не бывает...

– А что же Миша?

– А он с тех пор больше не появлялся... И вообще, эта тема в семье была под запретом. Об Ольге не принято было говорить, нельзя было спрашивать, чтоб маме сердце не рвать – оно и так слабое... Только потом, после её смерти, братья мне об Ольге рассказали и всё удивлялись, как я ту ночь запомнила... Их-то рядом тогда не было... Кто же мне мог рассказать об этом?..

– Кто?..




«БЕЛЫЙ НАЛИВ» ИЗ САДА ШИЕ-ГОЯ

«Мне кажется, здесь некогда был дом...» Не помню, кому принадлежит эта несколько претенциозная, выпренная строка, но при её мысленном прочтении в воображении возникает высокий дощатый забор с острыми вершинками, заботливо скрывающий густую тёмную зелень, где наверняка таится добротный, ухоженный дом с разными хозяйственными пристройками и конурами для собак, чей хриплый лай слышен сразу, стоит лишь приблизиться к ограде.

Но никто из моих сверстников-школьников послевоенных лет и даже их родителей не бывали за этим забором. Какая-то недобрая тайна витала вокруг этого дома. Хотя кое о чём мы знали, о чём-то догадывались, а от иного отмахивались...

Я, наверное, знала чуть больше других о хозяине дома, которого в городке звали коротко и зло: Шие-гой! Нет, конечно, не в лицо звали так! Посмел бы только кто-нибудь – тотчас бы схлопотал по шее! Здоров, недобр и угрюм – таким казался он горожанам.


А я ведь помнила его другим, и было это сразу после войны. Да нет, простите, я ошиблась: ещё за полгода до майских дней победы. То есть осенью 44-го, когда часть эвакуированных на восток евреев буквально рванула домой, на Украину, только-только освобождённую от оккупантов. Вернулись и мы с мамой, и одна из тётушек с



детьми-подростками. Но её дом, где перед войной она приютила и нашу семью, был разрушен; и дом её старшей сестры, убитой полицаиями, сожжён. И только маленькая, низенькая хатка под соломой (точь-в-точь Тарасова хатынка), собственность младшей из сестёр отца, всё ещё пребывавшей в далёкой зауральской эвакуации, одиноко ждала нас, пустая и холодная. В ней-то мы и поселились в ожидании хозяев.

А с нами и выживший чудом в оккупации муж расстрелянной моей тёти Малки по имени Тевье. Долгими-долгими вечерами при свете коптилки на наскоро – в ожидании зимы – сколоченных нарах рассказывал нам этот 46-летний старик, каждый раз заходясь в удушающем кашле, свою страшную историю, которая как-то переплелась однажды мрачной осенью 41-го года с судьбами ещё двоих моих земляков – Шие-гоя и портного Шкловера. Только Шие тогда ещё никто так не звал, разве только Шие-пекарем, и был он нежным отцом двух красавиц-дочерей и добрым мужем их матери. Да и Шкловер был счастливым семьянином, имея неплохую парнасу* в своём портняжном деле. Только война всё перевернула. Всё разбила, сломала, изувечила. Каждому из этих троих было едва за сорок. Самым старшим, наверное, был наш Тевье: в первые дни войны они с Малкой проводили на фронт всех троих своих сыновей-погодков. Повторяю: и хоть было им всем слегка за сорок, мне же в 44-м они казались стариками. Да, они все выжили. Но какой ценой!..


Из рассказов дяди я узнала, что глубокой холодной осе-



нию 1941 года еврейский вопрос в нашем полесском городке подошёл к завершению: более тысячи людей, не успевшие эвакуироваться и согнанные в гетто – на две улочки – несколько раз обобранные до нитки, до последней копейки, решено было расстрелять за городом, вблизи кирпичного завода.

Но жил в местечке один фольксдойче, то есть обрусевший немец, считавшийся своим среди евреев. Когда пришли немцы, он вспомнил, что не был ни украинцем, ни евреем. Но ему вовсе не хотелось, чтоб расстреливали его земляков и соседей. Каждый раз он что-нибудь придумывал во спасение их. Так он предложил новым властям приберечь для себя самых мастеровитых людей для обслуги, и по его подсказке из толпы приговорённых вывели Шиепекаря, Тевье-сапожника и портного Шкловера. А так как дядя мой был очень болен, то и жену его Малку на время освободили. Семьи Шии уже не было: жену убили, когда она загордила собой дочек от насильников; семья Шкловера погибла вместе со всеми... Так каждый из них избежал общей участи, но счастья это им не принесло.

Шие пёк хлеб, Иосиф шил мундиры, а Тевье подбивал каблуки самодовольным временщикам из местных, потому что немцы здесь почти не задерживались, и вся власть была в руках националистов. Однажды ранним зимним утром Тевье с Малкой попытались сбежать в лес к партизанам, предупреждённые тем же фольксдойче о предстоящем аресте Малки. Но их на льду замёрзшей реки заметили соседи и бросились за ними вдогонку. Ведь за каждого еврея –




живого или мёртвого – полагалась награда: по килограмму соли и сала. И Малка, более крепкая и здоровая, чем её муж, отвлекла на себя внимание молодых полицаев. Так и случилось: её убили, а его упустили...

Когда войска Красной Армии приблизились к городку настолько, что понятно стало, на чьей стороне будет победа, пекаря спрятали от отступающих бандитов соседка Федора, давно равнодушная к крепкому, хозяйственному и по-своему красивому вдовцу. Спасся по людям и Шкловер, женившийся после войны на молодой вдове, которая родила ему дочку. А Тевье после войны дождался возвращения двух сыновей, но здоровье его было подорвано ещё и пребыванием в партизанах, так что прожил этот, несмотря на горести, весёлый, улыбчивый и щедрый человек всего восемь лет, греясь у чужого семейного очага – младшей сестры своей незабвенной Малки.

А Шие так и остался у Федоры. Местечко ему этого не простило: столько горьких еврейских вдовушек возвращалось из эвакуации. Многие были ещё очень молоды, а этот привлекательный здоровяк предпочёл им какую-то гойку! И слышать не хотели о том, что она спасла его в лихолетье! Дала ему силы жить после гибели семьи! От этого лишь отмахивались. Так и прозвали его в отместку: Шиегой!

Родная сестра его Дора с дочкой Манечкой, моей подругой, жили неподалёку от нас. Мы часто играли в песке на дороге, где машин не бывало, а подводы проезжали только с покойниками: улица вела прямо на кладбище. Но




по вечерам, когда он возвращался из пекарни, распространяя вокруг запах свежего ржаного хлеба, Манечка бросалась к нему навстречу, и он расцветал на глазах, превращаясь из сутулого бородача в белозубого красавца. Но сестра его переехала в другой город, а он почти не общался с друзьями. Жену свою, говорят, звал не Федорой, а еврейским именем – Дора. И жили они по-прежнему одиноко, ни с кем особо не общаясь. Её я никогда не видела, а его высокая, сутулая фигура в неизменном чёрном нет-нет да и мелькнёт в мои редкие каникулярные наезды в родной городок.

Поговаривали, что у них был крепкий дом, прекрасный сад, где водились редкие по вкусу яблоки, вишни, груши. Урожай свой Дора увозила на рынок в Киев, где ей не давали застаиваться с фруктами.

А нам, ещё школярам, а потом и студентам, так хотелось хоть одним глазком поглядеть на знаменитый «белый налив» из их сада, тем более, что наши посиделки проходили на скамейках так называемого «бульвара» – улицы, усаженной по обе стороны довольно жиденькими «чернобривцами», душистой маттиолой и «растрёпанной барышней». Наискосок от нас, через дорогу, возвышался тот самый дощатый забор Шие-гоя, за которым прятались вожделенные яблоки сорта «белый налив».

Сказать, чтоб мы мало ели фруктов-ягод летом в родном полесском городке, означало бы врать невероятно. Почти у всех рядом с домом росли вишнёвые деревья, у кого-то – яблони и груши; поспевали они, правда, поздно, осенью, а



не летом, как «белый налив».

А уж черникой, малиной, даже душистой лесной земляникой мы успевали на каникулах просто объедаться!

За каким же дьяволом нас понесло в тот тихий поздний час к этому глухому забору?!

Почему поздний? Да потому, что у нас на Полесье летом очень поздно темнеет. Только после одиннадцати мы, бывшие одноклассники, обычно собирались погулять по городу, посидеть, пообщаться... Кто первый из нас предложил проверить друг друга на «слабо»?..

Теперь уже и не вспомнишь, но вся наша хохочущая компания, перескакивая через цветочные клумбы, живо перебежала на ту сторону и притихла в ожидании привычного лая. Но было неожиданно тихо.


– Тс-с-с! – приложил палец к губам Ромка и, сбросив с ног лёгкие спортивные тапки, ловко забрался босиком на забор. Там он чуть замешкался, аккуратно устраивая тощий свой задок меж острыми вершинками сосновых досок. Внизу было всё так же тихо. Никаких собак. Никакого лая. Странно...

Ромка пытался разглядеть, что там внизу.

– Эй! Ромчик! – испуганным шёпотом окликнула его Лилька. – Не вздумай прыгать вниз!

Тот молча подмигнул и осторожно притянул к себе большую ближайшую ветку. Я снизу подсветила фонариком:

– Не-а! Не «налив»! Это «антоновка», ещё зелёная, кислощяя... Отпускай!



Лёнька уже сбрасывал одну за другой туфли, но остался в носках: доски были неструганные, сплошь шероховатые, и надо было иметь огрубевшие Ромкины ступни, чтоб не бояться заноз!

Не так ловко, как Ромка, он всё же взобрался на забор в метре от друга и тоже притянул к забору ближайшую ветвь. Я вновь подсветила трофейным фонариком:

– Есть! Он самый! «Наливчик»! – забывшись, вскрикнула я, и тотчас издали послышался лай.

Рома тут же соскочил с забора, а Лёнька прислушался, не выпуская из руки ветку со спелыми плодами.

Лай не прекращался, но и не приближался, доносясь откуда-то жалобно и сердито.

– Они где-то заперты! – догадался Лёнька. – Странно. Может, всё же спрыгнуть в сад?

– Нет! Нет! – хором закричали мы. – Одной ветки хватит! Видишь, как рясно?*

И правда. Неимоверно густо сидели, тесно прижавшись друг к дружке и словно бы светясь в темноте, кругленькие и продолговатые яблочки.

Лёнька поспешно срывал их целыми гнёздышками под непрекращающийся издали вой, пока не обобрал всю ветку. Кучка получилась немалой, хватило всем по десятку штук.

Но сказать, чтоб они были так вкусны, как нам казались, вовсе нет. Да, рот переполнен был кисло-сладким соком, аромат словно заполнил дыхание, и вообще, как у Пушкина – «видно семечки насквозь»... И всё же...

— Ну, что? — самодовольно подмигнул нам Лёнчик. — Исполнилась мечта идиотов?

— Вот именно! — так и залилась своим заразительным хохотом Лилька. — Мечта идиотов!

— Всё, ребята, по домам! Второй час ночи! — это я засуетилась, представив, как дядя, опирая мне дверь, вновь будет выразительно постукивать ногтем по циферблату будильника.

И мы с соседом Лёнчиком нырнули в ближайшую подворотню, чтобы пройти огородами к своей Интернациональной, где по обе стороны колодца-журавля жили наши родные. У Лёньки пузырилась пазуха клетчатой рубашки, я же ссыпала добычу прямо в подол ситцевого платьишка, из-под которого фасонисто выглядывал накрахмаленный подъюпник.

Всё так и случилось: дядя отпер дверь и выразительно постучал по будильнику. Я лишь заискивающе улыбнулась ему и прошмыгнула к столу. Стараясь не шуметь, высыпала на праздничную скатерть горку яблок в кружеве листьев. Полюбовавшись на «картину маслом» одно мгновенье, на цыпочках прошла в спальню.

Воскресное утро, как обычно, началось с громкоголосой соседки бабы Итки, уже пришедшей с базара и спешащей поделиться с тётушкой «последними известиями» городка.

— Фрумеле, слышишь? Эти газлоном* опять обнесли сад! На этот раз знаешь чей? Ни за что не догадаешься!

Тётя стояла у плиты у скворчащей сковородки — жарила

к завтраку драники.

– Ни за что не угадаешь! – повторила соседка, с удовольствием принюхиваясь к оладушкам. – Они добрались уже до сада Шие-гоя!

После этих слов меня будто смело с кровати. Вся дрожа, я прислушиваюсь к диалогу за дверью.

– Сад Шие-гоя? Да что ты? Как им это удалось? И овчарок не побоялись? – воскликнула тётушка.

– В том-то и дело, что обошлось без овчарок!

– Как это?

– А ты послушай! – баба Итка с явным удовольствием «тянула резину». – Вечером их соседка Саввишна (ну, ты её знаешь: она всех детишек приняла, акушерка) зашла к ним сделать укол его жене и вызвала «скорую», так той было плохо. А когда Шие пришёл из пекарни, он никого не застал, только записку. Но первое, что он сделал, уходя на ночь в больницу к жене, – запер собак. Боялся, чтоб этих босяков не порвали... Представляешь?

– Представляю! – тётин голос предательски дрогнул. – Всё же у Шие-гоя «а идише нешуме» – еврейская душа...

Стоя за дверью, я боялась, что стук моего сердца услышат на кухне. Боже мой! Как же мне пробраться в столовую и спрятать вчерашнюю добычу?

– Итка! Что же ты стоишь на пороге? Иди к столу, я угощу тебя... – моя тётя не закончила фразу.

За дверью повисло молчание. Я слегка приоткрыла дверь. Две пожилые женщины застыли у стола, покрытого праздничной шёлковой скатертью. А на ней красовалась

горка яблук раннього сорту «білий налив» в розкошному обрамленні з листків і віточок, сорваних з дерева з саду Шие-гоя. Немая сцена. Натюрморт. Картина маслом.

**Рясно (укр.) – густо*

**Газлоньм (идиш) – гады, бандиты*




БРАТ МОЙ МИРОН

Как мне быть? Как рассказать о моём старшем двоюродном брате Мироне, чтобы все поняли, каким он был, даже те, кто вроде бы знал его?..

Он всю жизнь прожил в маленьком нашем городке, занимаясь (я уверена!) не своим делом, жил в доме, который не был ему по сути домом, спал с женщиной, которая только внешне и по бумагам была ему женой, хотя и родила ему двоих детей... Очень одинокий был человек.

В городе его многие не любили: резкий, честный, правду-матку в лицо выдаёт, да ещё и матерщинник отменный! Кому ж такой букет понравится? Друзей у него и в молодые годы я что-то не припомню. Даже среди собутыльников. А он тогда крепко прикладывался – не раз видела его на лавочке у магазина «Пиво-Воды» с неизменной бутылкой в наружном кармане бушлата... Одинокий, такой одинокий...

А ведь что-то обещала ему жизнь в то раннее февральское утро 1946-го, когда он стоял у дома своей младшей тётушки... Стоял и боялся войти. Боялся увидеть чужих под старенькой крышей этой бедной хатки, где его так любили и привечали до войны. Торопясь с вокзала домой, он ещё с моста увидел два пепелища – одно слева, наискосок от деревянных перил моста, по ту сторону Уборти, – на месте нашего с тётушкой домика, а другое – справа, на



пригорке, где был его Дом, что снился ему все эти «вырванные годы»...

Остался только этот – осевший на завалинки пятистенки почти на краю городка, последняя его надежда увидеть родное лицо после пятилетней разлуки... Вот он и стоял перед дверью в своей короткой серой шинели, чёрной «кубанке» с красными крест-на-крест полосками на плоском верху, в тяжёлых, выдавших виды сапогах. Невысокий, ладный, крепкий.

Мне, как обычно стоящей коленками на лавке у окна, видно было, как он протянул руку к щеколде и отдёнул. Губы его шевелились. Сам с собою что ли говорил?.. Я вдруг почувствовала его волнение. И оно мне словно бы передалось. А может?.. Нет, нет, что-то мне подсказывало: это не отец. Но кто же тогда?..

– Тётя! Там, за окном, какой-то дяденька-боец...

Обе тётушки кинулись к окну и разом вскрикнули:

– Ой, Мирон, племянничек наш! Какое счастье!

Дверь нараспашку, и он уже в объятиях двух своих тёток, повисших на его плечах и заплакавших-заголосивших, когда, перецеловав их, гость подхватил на руки худенького, бледного, с запавшими чёрными глазами отца – Тевье-сапожника, чудом выжившего здесь в оккупации. Глазами же, минуя нас, детей, сбившихся в кучку, искал кого-то нетерпеливо и жадно.

– Её нет, мальчик наш дорогой! – сквозь слёзы выкрикнула тётушка Белла. – Нет больше твоей мамы и нашей любимой сестры, Мирон...

— Даже могилки не осталось!.. Эти газлоным*, соседи ваши бывшие, что до войны со двора у вас не выходили и булочками её угощались, в тот день гнались за нею по реке замёрзшей, пока не убили...

— Говорят, за килограмм соли...

Белый, как стена, он присел, пошатнувшись, на подставленный кем-то табурет, и быстро-быстро задёргалось что-то на тёмной, очень загорелой шее.

Я испуганно прижалась к сестре.

Шурик, старший из двоюродных братьев, шепнул с важностью:

— Ясное дело – контузия...

...От неё, от этой контузии, брат так и не избавился до конца жизни. Чуть что – и задёргалась вначале крепкая, молодая, а затем всё подсыхавшая с возрастом, но всё такая же загорелая, будто из тёмного дерева шея...


В те первые дни или недели он, по-моему, был одержим манией мести. Исходил все дворы бывших соседей, не боясь никого и ничего – а бояться было чего: бульбовцев* по лесам ещё водилось, как вшей у солдат в окопе! По-хозяйски гаркнув за воротами, так что не открывались, а распахивались они перед ним, он одним пинком сапога отбрасывал злющего кобеля куда-то на задворки разжиревшей в войну усадьбы; входил без приглашения, оглядывал ухоженный дом с приметами награбленного в еврейских семьях добра и, сузив серо-голубые, под насупленными, выгоревшими бровями глаза, негромко выстреливал только два слова:



– Де Петро?! (Или там Мыкола, или Грыць – неважно)

И, не глядя на трясущихся в страхе родичей полицаю или бульбовца, выслушивал очередную брехню про сгнувшего где-то сына, брата, отца... Но ни на кого руку так и не поднял, хотя был у него за голенищем кнут-батог – единственное его оружие, которое он как бы слегка поглаживал... Хотя неправда, ещё одно было – голос его, командирский или командный, уж не знаю, как правильно, он его и в войну спас, я знаю. И здесь наводил шороху. С таким голосом не пропадёшь!.. Боялись его жутко. А слух о его визитах, думаю, и до милиции дошёл, но не трогали контуженного фронтовика пока что... А закончилось всё неожиданно – свадьбой! Да-да, как в романах, – его свадьбой.


Они появились, по-моему, одновременно с Мироном на нашей улице, на Варваровском шляхе, в доме напротив, где ещё полгода назад снимали жильё мы с мамой. Но мама моя не вернулась из киевской Октябрьской больницы, меня забрали тётушки, а на нашем месте поселились две новых жилички: старуха с дочерью. Даже если бы мы вскоре не породнились, я бы не забыла эти две колоритные фигуры. Не помню, как звали старуху, предположим, Ривка. Она была как две капли воды похожа на бабуку-ёшку из детских сказок: подбородок вот-вот встретится с крючковатым носом, блеклые, водянистые, слезящиеся глаза навывкате, клочья седых волос выбиваются из-под платочка... Но главное – это выражение вечной безвинной жертвы, несчастенькой, всеми обиженной бабульки-сироты...



А дочь... Да, дочь её я вряд ли сумею вам описать такую, какой увидела, когда она была уже невестой Мирона. Честное слово, такой красавицы я больше никогда не встретила и не видела даже в кино! Мои земляки, я знаю, мне не поверят: они-то помнят её другой. Она, кстати, не так давно умерла там же, в моём родном городке. Да, к сожалению, другой она стала очень скоро. В этом, наверное, есть доля вины и любимого моего брата... Но сначала, какою она предстала предо мною тогда, после «условного вечера», так у нас в местечке называли церемонию «сговора», что ли...

Мне, как младшей в роду, доверили преподнести ей *ле-ках* – бисквитный пирог, мастерски испечённый старшей тётушкой, наутро после сговора. Я так боялась переступить порог дома, где ещё недавно жила с мамой!.. Но, шагнув за него, была ошеломлена увиденным. Даже помню, как стучало у меня сердце, когда я смотрела на неё.

С чего начать? Наверное, с глаз. Они не смотрели – они сияли, лучились, переливались в улыбке, тёмно-карие, почти чёрные, под выпуклым, чуть нависающим лбом и полукружьями бровей, девственно пушистых и аккуратно выписанных. Высокие скулы, не тронутые помадой свежие губы, сверкающая белизна зубов, ровненьких – один в один. Этот прелестный, словно бы матово-молочный цвет лица, обрамлённого не чёрными, но тёмно-синими какими-то волосами, с ровным, правильным пробором посредине. И струящиеся по высокой груди косы, которые она застенчиво теребила, то сплетая, то расплетая их концы...



Вся её статная, не худая, не полная, именно статная фигура в каком-то простеньком сарафане завораживала, притягивала к себе взгляды. Единственное украшение – это несколько низок самодельных бус, нарезанных из красного телефонного провода, украшали её высокую гордую шею...

Я не знаю, долго ли я так стояла столбом и смотрела, но очнулась от звонкого её хохота и весёлого, непривычно высокого, будто поющего голоса Мирона:

– Дора! Что ты сделала с моей сестрёнкой? Посмотри: ты околдовала её, она никого не видит и не слышит, сейчас леках уронит! Люська! Да что с тобой?

Хохоча, она присела на корточки и обняла меня, обдав чуть горьковатым запахом полыни и ромашки. При этом зажмурившиеся глаза девушки совсем пропадали в густых зарослях ресниц...

Господи, бывает же такая красота!..

Меньше, чем через год у них родился сын. К удивлению родных, Мирон не выглядел счастливым отцом. Да и Дора как-то сразу потускнела, осунулась. Куда-то девался её звонкий девичий смех, да и улыбалась она редко. Только когда одна из тётушек заглянет проведать внучатного племянника. А я частенько забегала по новому адресу: любила потетёшкать Аркашку. Но даже меня поразило то, что снова они сняли однокомнатное жильё с кухонькой. На неширокой кровати спали молодые, а на печи напротив, рукой подать – старая Ривка. Можете себе представить эту ситуацию?.. А бабка-то была капризная, слезливая, ревнивая. То и дело среди ночи, мучимая старческой бессонницей,


охла, ворочалась, канючила водички...

И всё же через полтора-два года родилась Машенька. И я Мирона не узнала. Он сиял, как праздничное утро. Опять сверкал своею белозубой улыбкой, восторгался крохой-дочуркой, между тем, как был почти равнодушен к сыну. И ведь никаких оснований для этого не было, просто с первого дня – всепоглощающая любовь к дочери, названной в память о его погибшей матери, и почти равнодушие к сыну, названному в честь Дориного отца. Что за дикость?..

И вообще, неладно было что-то «в их королевстве». Детским сердечком своим я чувствовала беду, окружавшую брата. Он и сам был не подарок, конечно. Чуть что, повышал голос. А голос у него, как я уже говорила, был ого-го! Помню, как он меня в первые дни по возвращении из армии учил определять время на часах. А я, оглушённая его командным голосом, просто немела с перепугу...

Вот и в этот день я по дороге из «маленькой», то есть начальной школы забежала полюбоваться племянниками. В дом я не зашла – малыши сидели на травке у дома вместе с бабушкой Ривкой. Она всегда меня, надо сказать, сердечно привечала, а мне что-то не по себе было от её вечно жалостливых словечек по поводу моего сиротства: я вообще не выносила жалости к себе. Ласки всегда мне не хватало, но жалости не выносила... Я присела рядом с малышами на травку, стала плести им веночки из одуванчиков. Вдруг резко распахнулась дверь, и Мирон босиком, в галифе и голубой майке выскочил на крыльцо:

– Да что ж это в конце концов такое, чёрт бы вас побрал!



Каждую неделю я покупаю себе зубную щётку, и каждую неделю она пропадает! Что вы жрёте их, что ли? Едрит твою качалку!

Но, увидев меня, покраснел и осёкся. Бабушка Ривка, скорчив любимую мину несчастной обиженной сироты и повернувшись ко мне, как бы беря меня в свидетели, прошамкала:

– Кому нужны твои щётки? Мне они без надобности. А дети ещё малые, не достанут до рукомойника!


Брат с силой захлопнул дверь. И вдруг я старушку не узнала: она вся сияла от радости. Вот-вот захлопает в ладоши и запрыгает на одной ножке! Не в силах сдержаться, она бубнила, постукивая кулачком о кулачок, уже забыв о моём присутствии:

– Вот тебе! Вот тебе! Не будешь сверкать своими зубками! Не будешь всем подряд улыбаться!

Малыши, хохоча, вслед за бабкой тоже постукивали кулачками.

У меня похолодело внутри. Под каким-то предлогом я поспешила домой. «Ой, неладно у них в доме, ой, неладно...» – думала я, но тётушкам ни о чём не рассказала. Они теперь жили каждая в своём доме. Старшая, дождавшись мужа с трудфронта, выкупила у наследников жильё своих родственников, расстрелянных в оккупацию. Я жила у неё, вместе с её детьми, как и прежде, когда живы были мои родители.

А тётушки, сойдясь по субботам вместе, судачили на идише о своём племяннике. Вот и сегодня, морозным зим-



ним полднем, сидя за столом с чашками субботнего «цикория» и маленькими ломтями струделя с брусничным вареньем, они так увлеклись спором, что совсем забыли о моих ушах, притаившихся за перегородкой.

– Нет, ты его видела вчера? На нём лица нет.

– Лица нет, потому что выпил! И это не в первый раз! Что это за беда такая с ним?

– Я тебе давно, Фрумеле, говорила: эта старуха – колдунья. Это её проделки!

– Ай, Белла, какие могут быть проделки против собственной дочери? Да и Дора тоже на себя не похожа! Ходит – глаза не поднимает, будто на всех в обиде!

– Знаешь, сестра, я не хотела тебя расстраивать, но ты не не веришь в колдовство её матери, поэтому должна я тебе рассказать кое-что.

– Ну, что ты ещё придумала, Белла? Скажи, что просто её не любишь! Даже не выносишь!

– А я и не отрицаю! Хороша бы я была терпеть врага в нашей семье!

– Тихо-тихо, только не перебарщивай! У тебя, вообще, только белое и чёрное – другого нет!

– Да! Нет у меня другого цвета! Я такая! И не собираюсь мириться с человеком (Господи! Прости меня: может, она и не человек вовсе!)...

– Ой, да хватит болтать глупости!

– Нет, ты слушай: ...с человеком, который разбил жизнь нашему мальчику и своей дочери тоже!

– Нет, ну, как эта жалкая старуха могла испортить жизнь



здоровому 30-летнему мужчине и своей дочке, да и зачем?

– Он, конечно, виноват! Подозреваю, что он не лучший муж. Но его и понять-то надо: через что он прошёл в своей жизни!

– Знаешь, дорогая сестрёнка, понять может любящая женщина. А наша Дора, по-моему, просто не успела его полюбить. А он, ведь не обучен нежностям, вспыльчив, горяч. Боюсь, и руку на неё поднять может. Смотри, какая она стала пришибленная... Знаешь, я его виню. А старуха, может, виновата в том, что не научила дочку маленьким женским хитростям: как встретить мужа с работы, как улыбнуться ему, как показать ему, что он любимый...

– Да всё как раз наоборот! Я ж пытаюсь тебе доказать, точнее, объяснить, почему он стал таким злым, нервным!

– Ну!

– Да он просто не спит с ней! – приглушённым голосом объявила Белла.

– Что?! С чего ты взяла? – возмутилась старшая тётушка.


– Соседка их рассказала по секрету, но просила никому – ни-ни: она старухи, как огня, боится!

– Ой, перестань сплетни слушать! Она что свечку у их постели держала? Ещё скажи, как Райкин по радио: агентство ОБС передаёт... – отмахнулась Фрума.

– Какое ОБС?

– Одна Баба Сказала! – усмехнулась старшая сестра.

– Ты всё шутишь, а соседка Двоська повторила мне страшные старухины слова – одно в одно: «Видишь, как у



них дети посыпались один за другим?! Всего три года живут вместе, а уже двоих детей родили. Ничего! Я сделаю так, что он и спать с ней не сможет, и уйти от неё не уйдёт!»

За перегородкой воцарилась тишина, а мне вдруг стало не по себе, да и слушать дальше было невмоготу, тем более, что я всё сразу поняла и поверила в страшную правду! Набросив на плечи пальтецо, я сунула обутые в бурки* ноги в резиновые калошки и выскочила на улицу.

Короткий зимний день был на исходе. Но можно было ещё проведать дядю Тевье, послушать незамысловатые песенки на идише и отвлечься от грустных раздумий о том, почему молодые и красивые люди, его сын и невестка, не могут быть счастливы. Правда, спросить об этом нельзя было даже у него, обычно понимавшего меня с полуслова...

Я торопливо шла по протоптанной в снегу дорожке. Моя смешная длинноногая тень бежала впереди, размахивая четырьмя руками, две из которых болтались на невидимых на тени шнурках. У них не было пальцев, но они жили какой-то своей весёлой, танцующей жизнью. Разглядывая их, я понемногу успокаивалась, с наслаждением вдыхая морозный воздух. Но пересекая поперёк аллею парка, увидела на скамейке у магазинчика «Пиво-Воды» одинокую фигуру в военном бушлате и чёрной барашковой кубанке, низко надвинутой на глаза. Сердце моё сжалось: я узнала Мирона. Он тоже заметил меня и негромко окликнул. Я медленно подошла, но от робости забыла поздороваться и

стояла, потупившись.

– Привет, сеструха! – он не умел говорить тихо, поэтому голос казался сиплым. – Ты не смотри, что я выпил. Это я так. Но я не пьян. Просто домой идти не охота. К отцу и тёткам нельзя – всё сразу поймут... Был бы жив твой отец – мой дядька и друг, такой друг... – он скрипнул зубами. – Ты знаешь, что мы с ним дружили?..

– Знаю...

– Да нет, ты не знаешь! Откуда тебе знать?..

Я молчала.

– Вот там бы меня поняли. И батька твой, и мама. Ах, какая мама у тебя была, сеструха! – у него задёргалась мышца на шее.

Я повернулась, чтоб уйти: боялась при нём расплакаться. Но я так его понимала, так жалела, так любила, что сердце готово было разорваться. Он, видно, это почувствовал, положил руку на плечо – самая его нежная ласка – и, как всегда в подобных случаях, сунул мне в карман пальтишка смятый рубль. Я не отказывалась, боясь его обидеть...

Шли годы. Я становилась старше. Уроки, участие в школьных кружках, обязанности по дому занимали всё моё время, и я перестала бывать у Мирона. Просто знала, что ничего там к лучшему не изменилось. Но однажды, по моему, году в 53-м, Мирон исчез. Не пришёл с работы. Жене и тёткам передали, чтоб не суетились, не паниковали, не искали...

Но на третий день вечером он сам пришёл к нам и всё



рассказал.

Оказывается, его вызвали, куда надо, и допросили:

– Фамилия, имя, отчество, представьтесь, пожалуйста!

– По документам или на самом деле? – в свою очередь спросил брат.

У сотрудника НКВД глаза на лоб полезли:

– А кто вы такой, что живёте под псевдонимом?! Может, Максим Горький или Демьян Бедный?

Мирон нервно рассмеялся:

– Нет, ни тот и ни другой, к счастью или к несчастью своему, не знаю... Но я еврей, который в войну со своей ротой попал в окружение, затем в плен, и, чтобы выжить и продолжать воевать с фашистами, назвался другим именем.

– Как же так – Вы, еврей, выжили в плену у немцев?


– Видно, Бог уберёт!

– Так Вы ещё и верующий? – опять ухватился за компромат энкаведэшник и повысил голос. – Да назовите Вы, наконец, свою фамилию!

А Мирону моему, видно, вожжа под хвост попала. Думает: пропадать – так с музыкой!

Он вскочил со стула, встал по стойке «смирно» да как гаркнет:

– Рядовой такой-то части Мирон Тевелёвич Тросман! – затем, глядя прямо в широко раскрытые глаза чекиста, продолжил на чистейшем украинском. – А з серпня 1941 – го року сотник Української Повстанчеської Армії Тросюк Мирон Павлович!



Хозяин кабинета, вытирая вспотевший лоб, только и сказал:


– Ну, ты даёшь, парень! Садись и рассказывай... И подробнее, пожалуйста!

Брат нам, конечно, не пересказывал всего того, о чём поведал оперативнику в том невесёлом кабинете. Но мне, 14-летней девчужке, многое увиделось тогда в ином свете.

Вы только представьте себе, что у него за плечами! Он учился в техникуме в Житомире, когда первые бомбы были сброшены на этот город. И в то же утро вместо экзаменационной комиссии предстал перед комиссией военкомата. Но повоевать вначале долго не пришлось: окружение и плен под жестоким, палящим, всевидящим огненным оком. Сколько их там было? Да тысячи на этом огороженном для скота загоне, наскоро опоясанном колючей проволокой в рост человека. Есть в первые дни вообще не давали. Да ладно – есть. Но пить! В эту жару. В этом месиве потных, голодных, злых и отчаявшихся людей! Многие пили мочу. Он – нет. Не мог и всё тут. (Не знал и не ведал он о нынешней уринотерапии!) Рядом лежал раненый сибиряк Никифоров. А полицаи-западенцы* рыскали в поисках евреев и «москалей». И тех, и других пускали в расход, никого не спрашивая...

Миرون тут же придумал себе имя, да такое, чтоб не забыть и не перепутать в случае чего.

А Никифорову тоже помог с именем и ночи напролёт учил обязательному украинскому правилу – мягкому «щ», в отличие от твёрдого русского:



– Слышь, Васька, значит, ты никакой ни Никифоров – ты Нечипорчук! Василь Петрович Нечипорчук из села Радовель, что под Олевском. Запомнил? Повтори.

Тот, с трудом ворочая распухшим от жажды языком, повторял по два-три раза.

– А теперь скажи: паляныця*.


– Паляница, – послушно повторял Никифоров. – Паляница!

– Да что ж это такое! – возмутился брат. – Неужели так трудно повторить: паляныця, цяточка*, молодець. Повтори, если жить не надоело!

– Паляница, цаточка, молодец. Отстань, брат. Ничего не выйдет!

И тогда Мирон придумал сказку про раскулаченную и высланную в Сибирь семью украинца Нечипорчука. И эта сказка сработала! Полицаи поверили и не стали «расходовать» ни «Тросюка», ни «Нечипорчука»... Но последовавшие месяцы были, наверное, самыми жуткими в жизни брата, когда он видел заживо гниющих людей и сам выковыривал червей из раны на голове друга Васьки, потом присыпал рану землёй; когда отчаявшиеся пленные грызли что ни попадя и просто сходили с ума от невыносимой жажды... Когда же пришли вербовщики в своих почти маскаранных украинских костюмах, тридцать его однополчан согласились пойти на службу в УПА.

– Ваших однополчан?! Как это понимать? Они с Вами служили в одной части? То есть они знали, что Вы – еврей, и молчали всё это время? Или не знали?



– Знали, конечно. И про Ваську знали. Но молчали. Почему – не знаю, не спрашивал. Были среди них и земляки-олевчане. Хотя Вы знаете, конечно, кто расстрелял почти тысячу несчастных стариков и детей в Олевске, возле Варваровки. Братья-украинцы из местных и отряд львовских карателей.

– Всё-то ты, хлопец, знаешь, – неожиданно перейдя на «ты», недовольно заметил оперативник. – Это, между прочим, секретная информация. Не для печати, не для разглашения. Откуда известна тебе?


– Да уж секретная! Любой подросток в Варваровке Вам расскажет, ещё и с такими подробностями – волосы дыбом встанут... Как земля до конца ноября шевелилась... Как слышались стоны из-под земли...

– Ладно, об этом в другой раз... Вернёмся к вербовщикам... Ну, а ты что же? Как я понимаю, и ты согласился надеть ту же маскарадную форму. Иначе бы не стоял сейчас передо мной. А?

– Правильно поняли, товарищ капитан. Не моя это была идея, честно Вам скажу. Но и оставить своих в такую минуту я тоже не мог. А они мне доверяли почему-то как старшему. Хотя мне было всего двадцать два годочка...

Он не верил, что выйдет отсюда вскорости. Сажают сейчас и не за такое! Вон с утра опять по радио о врачах-убийцах говорили. И все знают, что это враньё чистой воды. А ему-то зачем врать? Он чист перед собой и людьми.

И брат продолжил свой рассказ о недолгой службе в жиитомирской школе украинских националистов, где он был



единогласно выбран старшим в своём отряде, то есть сотником. Около месяца понадобилось вчерашним пленникам залечить свои раны, отъесться немного, набраться сил. А через месяц однажды ночью всё те же тридцать хлопцев держали тайный совет, как поступить: остаться ли здесь и, возможно, повернуть оружие против РККА, разбежаться ли по своим домам в дальних сёлах и хуторах или податься в партизаны в здешних густых полесских лесах. И этот вопрос каждый решал наедине со своей совестью.

– И не поверите: будто кто линейкой отмерил – по десятку и разделились. Так что в первую же после совета ночь мы простились друг с другом и сбежали.

– А ты...

– Конечно, в партизаны. Куда ж ещё? Разве ж у меня выбор был? Вкупе с другом Васькой около года воевали под началом Фёдорова. А после ранения был я вывезен на Большую Землю, оттуда попал в действующую армию. В общем, войну закончил в Венгрии. Но демобилизовали только в 46-м. Вот документы... Всегда при мне... Такое нынче время...

– Да, брат, не жизнь у тебя, а роман.

– А с продолжением «роман» мой, товарищ капитан? – неожиданно для себя чуть осипшим голосом спросил брат, и когда тот поднял голову от какой-то бумажки, пояснил: – Продолжение-то у меня будет или нет?

– Ну, это вопрос не ко времени, – как-то непонятно пробубнил тот, нахмурившись. – А ты, Мирон Павлович, возьми-ка вот чистую бумагу и всё, что мне рассказал, из-

ложи письменно. Понятно? Времени, надеюсь, хватит?

– Это Вам решать.

– Ну-ну! Там посмотрим, сверимся, где соврал, где правда...

Его отвели в какую-то узкую сырую комнатёнку, указали на крепко сколоченный стол и тяжёлую табуретку при нём, положили несколько простых школьных тетрадок и сказали:

– Давай, пиши, хлопец. Всё от тебя зависит...

Так ничего и не поняв, он добросовестно взялся за школьную ручку с пёрышком-«немчиком» и, преодолевая какое-то непонятное вначале сопротивление, стал излагать на бумаге всё то, что давно уже колобродило в нём, ища выхода. А, примерно, с третьего листа – будто плотину прорвало: где что бралось, какие-то подробности возникали в памяти, давно забытые, но такие яркие. Например, когда он шёл по главной улице Житомира в своём псевдоукраинском наряде, будто только что с Запорожской Сечи явился – не запылится. Так вот, идёт он себе по Житомиру, а навстречу Зинка-блондинка, его однокурсница и подружка. Остановилась, как вкопанная. Побледнела – вот-вот грохнется на тротуар. А кругом люди!.. Мирон её в объятиях стиснул:

– Не продавай, Зинка! Держись! Зовут меня так же, но фамилия – Тросюк! – жарко зашептал ей в нежное знакомое ушко. Та быстро пришла в себя в его объятиях и, оценив, видно, находчивость старого приятеля, даже рассмеялась.

– Ой, Мироне, до чого ж ти цікавий у цій формі! Вона-таки личить тобі!*

И оба, как встарь, покатывались со смеху, пока не спохватились, что могут и другие знакомые подойти. Договорились о встрече. А через время именно Зинка помогла ему уйти к партизанам...

А то вспомнилось, как увидел он знакомую соседскую фуру*, доверху гружённую мешками с картошкой и медленно влекомую к базару двумя пятнистыми волами. Низко надвинув на глаза серую папаху с трезубцем, он издали всматривался в возницу в надежде увидеть соседа, но разглядел его дочь, вертлявую, гулящую молодку. Минут пять боролся с искушением подбежать и расспросить, как там родители, успели ли эвакуироваться, а если нет, что с ними...


Но будто кто-то привязал его к старому тополю – стоял за ним и смотрел вслед въехавшей на рыночную площадь повозке.

– Шо, брате-козаче, перебрав трохи? Може, довЕсти додому?*

 – кто-то панибратски хлопнул его по плечу.

– Ні-ні, брате, дякую, Я й сам ще в змозі!*

Позднее, по возвращении с фронта, он сопоставил даты и факты. Выяснилось, что именно в эти дни ноября 41-го расстреливали за кирпичным заводом его старых и малых земляков-олевчан, что в один из этих дней гнались за его немолодой мамой по льду Уборти красномордые полицаи, а чахоточный отец в калошах перебежал речку в другом месте и нашёл временный приют в Лещенцах.



Узнай же он правду о родителях в те дни, никакой силой его бы не удержали в Житомире. И один Б-г знает, на какие муки обрѣк бы он себя и отца своего!

Нет, не обо всѣм он написал. Разве можно поведать чужим людям о том, как однажды на большой партизанский сбор перед общим наступлением фронта и тыла прибыла откуда-то с дальних лесов со своей группой переводчица Элла? Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, какого она роду-племени! Но до чего же хороша была девка! Глазища в пол-лица на худеньком, смуглом, горбоносом личике с высокими скулами. А какая осанка! Будто не партизанка, а королева! Мирон не отрывал от неё глаз, когда она с командиром верхом на лошадях медленно проехали мимо его поста, о чём-то тихо беседуя.

Ещё пару раз он наблюдал за нею издали. И всё. А потом она приходила к нему в сны, первое время почти каждую ночь. Такая вот любовь случилась в его жизни, и ничего, кроме имени её, он о ней не знал... Разве ж об этом напишешь? И кто поймѣт?..

Исписав мелким летящим почерком штук шесть тетрадей в линейку, Мирон словно бы очнулся. В маленькое зарешѣченное окошко давно, смеясь и поддразнивая его, заглядывали и попеременно прятались солнечные «зайчики». На столе всё ещё горела керосиновая лампа, а рядом, на куске газеты, лежал толстый кусман хлеба с салом и стояла кружка с давно остывшим чаем.

«Кто-то явно поделился своим ужином. Не похоже на тюремную еду, – подумал брат и потянулся так, что косто-

чки хрустнули где-то в плечах. – Это ж надо – не помню, чтоб кто-то заходил, ключами брэнчал...»

Минут через пять за ним зашли и провели в тот же кабинет, где вчерашний капитан-энкаведэшник, неожиданно широко улыбнулся ему из-за стола и, здороваясь, протянул через стол руку.


У Мирона вытянулось лицо: что-то не по себе стало ему от этой приветливости. А тот, понимая состояние задержанного, только усмехался, с интересом листая одну за другой тетрадки, быстро-быстро просматривая их «по диагонали». Несколько минут прошло в молчании, капитан только изредка хмыкал, то кивал головой, то недоверчиво ею покачивал. Наконец, он аккуратно сложил их, пронумеровал, на последней странице каждой предложил брату расписаться. Затем, достав какую-то папку, вложил их в неё и спрятал в стол.

– Ну, вот и всё, Мирон Павлович! Об одном должен Вас попросить: надумаете писать об этом книгу (а, должен признаться, Бог вас этим даром не обделил: и рассказывать, и писать Вы умеете) так вот, надумаете – предупредите. Уж очень многое здесь не подлежит публикации. Надеюсь, это Вам понятно? – он поднялся из-за стола, поправляя ремень синей милицейской гимнастёрки.

– Так точно! Только какой из меня писака! И в голову такое не приходило...

– Ладно, ладно, не скромничайте. Да, и ещё... Фамилию-то надо бы вернуть свою!..

– Честно говоря, сам не знаю, какая больше своя. Одна



по наследству досталась, так сказать, задарма, а эту сам выстрадал, сроднился с ней. А впрочем, Вы правы. Перед отцом неловко: вроде как отрёкся... Конечно, возьму опять отцовскую, – всё ещё не веря в благополучный исход нового своего приключения, Мирон изо всех сил старался казаться спокойным.

– Ну, вот и ладно! Не вижу больше причины Вас задерживать. Вы свободны. Сейчас пропуск выпишу...


Когда он спустился с высоких ступенек Дома милиции, его поразил какой-то необычный гул на улице. Странная гнетущая музыка звучала по радио. У репродуктора, как в войну, сбившись в кучку, стояли люди, в основном, школьники-старшеклассники, сбежавшие, видно, с уроков.

– Что случилось, хлопцы? – с замиранием сердца спросил он у заплаканного паренька.

– Ты что, с луны свалился, дядя? – в свою очередь удивился тот. – Товарищ Сталин умер!..

...Постепенно жизнь входила в свою колею: зимы сменялись обязательными вёснами, в которых после короткой оттепели вновь то и дело подмораживало...

Я уже была студенткой и на каникулах непременно виделась со старшим из моих двоюродных братьев. Он почти не менялся, был всё такой же подвижный, поджарый, громкоголосый и ... плохо одетый. Если я приезжала на зимние каникулы, на нём был всё тот же потёртый военный бушлат, правда, кубанку сменила чёрная кожаная ушанка, очень на неё похожая. Если это были летние каникулы, он приезжал к нам на велосипеде в неизменной




рубашке защитного цвета, в кепке «блинчиком», по привычке низко надвинутой на глаза. Крупную лобастую голову он давно брил наголо, «под Котовского». С удовольствием и гордостью рассказывал о школьных успехах дочери, о её победах на областных олимпиадах, а о сыне, как всегда, вскользь...

И ещё меня всегда поражало, насколько великолепно он ориентировался в политике. Я училась на историко-филологическом и часто спорила с ним, а он посмеивался над моей горячностью, комсомольской пылкостью, хотя никогда антисоветчиком не был... Просто он умел читать не только написанное, но и между строк, а слушал не только наше радио... По поводу же «антисоветчины», которой не так много было тогда, но которой так модно козырять сегодня, он говаривал:

– Слишком дорого мне это всё досталось, слишком большую кровью плачено за моё сегодня.

Я, как всегда, «с учёным видом знатока», отмалчивалась, хотя и не до конца понимала, о чём это он... И за какое «это» он проливал свою кровь? Прямо, как в том фильме про чёрную и алую розы – «...умрём за что «за это»?..

Но как же я ему благодарна за интерес к Израилю, который он во мне разбудил! Особенно к Голде Меир. Он столько о ней рассказывал, с таким восторгом! А в одноглазого Моше Даяна был просто влюблён! Он знал всё о войнах Израиля в таких подробностях – диву даёшься и сегодня! А какой у него был идиш! Ну, это естественно: и он, и его братья закончили до войны школу-семилетку на



идише. Когда же я после репатриации убедилась, что язык европейского еврейства претерпел на родной земле (!) повторный Холокост, я себе позволила кощунственную мысль: хорошо, что мой Мирон не дожил до этого!..

Живя здесь чуть более десяти лет, я ловлю себя на мысли, что на многое смотрю его глазами, с его колокольни. И часто про себя вздыхаю: как его не хватает. И не только мне!

Стране тоже! Я знаю, что мои земляки только пожмут плечами, читая эти мои строки. Но я всё же скажу: он был большой человек, государственнй человек. Только не выполнил своего назначения на земле, но это не вина – это беда его!..


Как-то в один из моих приездов уже на учительские каникулы он показал мне пачку благодарностей из армии, из автовойск, в которых служил срочную службу его сын. Помоему, он был даже растерян: ну, как же – бабушкин любимчик вырос настоящим мужиком, выносливым, смекалистым, любящим и знающим машины. Начальство части благодарило родителей за воспитание сына...

– А я ведь и не воспитывал его вовсе, сестрёнка, – в раздумье потирал он бритую загорелую голову.

– А вот и неправда! – горячо воскликнула я. – Он что не видел, какой ты технар? Не знал, как ты мечтаешь о машине? Да у тебя всё в руках горело, за что бы ни брался!

Мирон смущённо взглянул на меня.

– Ты-то откуда знаешь? Мы ж так редко видимся! А если это и правда, то всё от твоего батьки-танкиста...



Последнюю фразу я пропустила мимо ушей, потому что впервые в жизни решила подколоть его:

– А впрочем, – тоном заправского педагога-наставника предположила я, – есть ведь ещё и воспитание от обратного.

– От чего? – наивно переспросил брат.

– От обратного, то есть, когда дети, вырастая, противопоставляют себя родителям.

Он помолчал.

– Ну, и когда ты сказала правду?

Мне стало стыдно.

– Прости, братуля, я неудачно пошутила. Просто мне всегда было обидно за мальчишку. Но я знала, что он толковый и настоящий. В общем, твой сын. Ну, а что же наша красавица, моя коллега Мария Мироновна?

К моему удивлению, он не просветлел лицом, не заулыбался, как обычно, а вздохнул и развёл руками:

– Замуж выскочила!

– ??

– Да, да, на практике в сельской школе вышла замуж за...

– он скрипнул зубами, и на шее привычно задёргалась жилка. – Даже сказать стыдно – за завклубом.


Я рассмеялась:

– Ну, и что же здесь такого постыдного?

– Да как же ты не понимаешь? Человек без профессии, без специальности!

Я пыталась возразить, но он не давал и слова вставить.

– Ты не думай, я ничего не имею против сельского парня



вообще: пусть бы он был шофёром, трактористом, да хоть в том же клубе кино показывал! А то завклубом – что это такое? О чём с ним можно говорить? И как жить с человеком, который спит, когда все работают, и проводит танцы-гогалки, когда нормальные трудяги спят?..

Против этого, честно говоря, трудно было что-то возразить, и мне осталось только сочувственно вздохнуть.

Через пару лет её завклубом разбился на мотоцикле, оставив Машу вдовой с двумя крошками-дочурками на руках. Мирон перевёз их в наш городок и стал копить деньги на кооператив для любимицы. Это длилось долгие годы. Выросли внучки – обе красавицы, блестящие ученицы – «золотые медалистки». И у сына всё сложилось в жизни – в том же западноукраинском городке, где он был солдатом, нашёл он своё счастье. Только у Мирона с Дорой так ничего и не вышло: жили под одной крышей, имели общих детей и внуков, а семью так и не построили.

Я знаю, Вы возразите, что же такое тогда семья, если не общая крыша, общие дети, внуки, их судьба, их здоровье. Если б не знала о горькой доле моих близких, может, рассуждала бы так же. Но семьи не было, т.е. не было тепла, не было мало-мальского уюта в их домишке. Никогда брата моего не тянуло домой, никогда он не торопился, как другие: ой, не могу, жена с обедом ждёт... А ей, вечно хмурой, с больными зубами, чем-то постоянно озабоченной, по-старушечьи одетой в тёмные цвета, каково ей было жить и сознавать, что дочь стыдится их ссор, их убожества?.. Ни разу я не видела их вместе в кино, на концерте, в

гостях...

Правда, когда кто-либо из них заболел, второй, как ни странно, паниковал ужасно. Но стоило жизни войти в норму – всё начиналось сызнова: взаимная грызня, попреки или долгое-предолгое молчание на грани ненависти.

Ох, баба Ривка, что же ты наделала!

Дочери учились в Киеве, Маша жила на квартире, строился её жилкооператив. Каждый день Мирон подъезжал на велосипеде к медленно растущей пятиэтажке и наблюдал за стройкой. На этот раз опять было, как у Азова в юмореске «Сидю, куру!..»

Высказав шабашникам всё, что он о них думал в непечатных выражениях, Мирон резко оседлал своего верного двухколёсного коня и почувствовал лёгкое головокружение. Он не придавал этому значения и продолжал с силой жать на педали. Тропинка рядом с мощёной дорогой была ровнёхонькой. А он вдруг оказался на земле.

– Что такое, чёрт побери? Цепь, что ли порвалась? Колесо, может, проколосось? Едрит твою качалку! С трудом поднялся, попытался взгромоздиться на свой «велик» и опять свалился. Уже без сознания.

Из больницы он уже не вышел – его вынесли. Перед смертью пришёл в себя, увидел у постели плачущую жену и от жалости к ней тоже всхлипнул. Жилка на тощей, морщинистой шее часто-часто запрыгала...

Хоронили его всё в той же рубашке военного образца – новой не нашлось: всё съел Машин жилкооператив. Но памятник через год установил сын. Он же через несколько

лет и мать похоронил. С тех пор ухаживает за родными могилками. Для этого ему приходится приезжать из далёкого городка почти у самой границы с Польшей. А дочь не приходит, говорят, в Германию уехала. И кооператив ей теперь без надобности.

Ох, баба Ривка, что ж ты наделала?!.

**газлоным (идиш) – бандиты, враги*

**бульбовцы – член УПА (Украинской повстанческой армии), действовавшей на территории Полесья с 1941 по 1943 год под началом Тараса Боровца, одним из его псевдонимов был «Тарас Бульба».*

**паляныця (укр.) – каравай*

**цяточка (укр.) – пятнышко, точечка.*

**Ой, Мироне! До чого ж ти цікавий у цій формі! Вона-таки личить тобі (укр.) – Ой, Мирон! До чего ж ты интересный в этой форме! Она тебе к лицу.*

**Фура (укр.) – повозка для грузов.*

**Може, довести додому? (укр.) – может, довести домой?*

**Я й сам ще в змозі (укр.) – Я и сам ещё в состоянии.*




ДЯДИНЫ ЧАСЫ

В нашей семье никогда ничего особо ценного не было: ни дорогих колечек-серёжек, ни старинных картин в тяжёлых золочёных рамах, ни фамильного фарфора. Если и было что-то, доставшееся от бабушек в наследство – какой-нибудь пузатый медный самовар, такой же сверкающий таз для варки варенья или парочка субботних подсвечников – всё это в первые дни войны было наспех брошено в маленьком домике у реки. А мама и обе мои тётушки схватили детей и самое необходимое на всякий случай да и сели в первый же подошедший к станции эшелон, увёзший их от верной гибели в том жарком июле сорок первого года.

Однако же средняя тётушка моя одну вещь всё-таки увезла и сохранила. В долгие, голодные и холодные годы эвакуации на еду для детей всё выменяла, а её сберегла...

Что же это? Часы.

Да нет, не золотые и, может быть, даже не серебряные. Но вы не смейтесь!.. Лично для меня и, надеюсь, для того, у кого и сегодня часы хранятся, они представляют настоящую, истинную ценность. Хотя это были обыкновенные карманные механические часы швейцарского производства не позднее 1870 года. По форме не то, чтобы круглые, а словно бы яйцевидные, в блестящем металле, который странно теплел в руках. Во всяком случае, мне, ребёнку, такими они запомнились. Чёткий, слегка увеличенный




стеклом белый циферблат, а над ним – круглая пимпочка для завода. Над нею – полукольцо для цепочки, которой, сколько я помню, никогда не было...

Это были часы тётушкиного мужа, дяди Гриши, точнее, дяди Грэгора. Был он польским евреем из-под Каунаса. Семья его, видимо, не бедствовала. У стариков-родителей была своя усадьба на хуторе. Старшие братья владели магазинами и лавочками в Ковно и в Вильно. Именно так дядя произносил названия литовских городов Каунас и Вильнюс и сердито возмущался, если мы, дети, их называли иначе...

Какая-то странная случайность изменила дядину жизнь, вырвав его с корнем из родного дома, где жил он с отцом и матерью, у которой было необычное, причудливое имя – Миниха... Со старинного, хорошо сохранившегося, коричневого дагерротипа спокойно, с достоинством смотрит на меня открытое лицо с правильными тонкими чертами. Я бы сказала, лицо польской пани, если бы не знала, что это еврейская женщина в строгом, закрытом платье с длинной ниткой жемчуга поверх него. А по обе стороны от дамы – две черноволосые молодые красавицы-невестки, позади каждой – их мужья, сыновья Минихи. Её мужа, отца дяди Грэгора, на снимке нет: уже, видно, в живых не было. Фотографию же эту прислали нам вскоре после присоединения Литвы к СССР, в 1940 году. Дядя даже успел навестить родных после долгой, почти 20-летней разлуки...

Да!.. Я ведь обещала рассказать вам о случае, вырвавшем дядю моего из родной семьи. По редким его воспомин-



нениям и ещё более редким пересказам тётушки, случилось это в день его рождения. Шестнадцать лет парнишке тогда исполнилось. Семья сидела за праздничным столом. Отец читал молитву, и все, как обычно, подхватывали: «Омэн!» В семье придерживались строгих еврейских традиций. Тем не менее, братья после хедера* закончили коммерческие училища и теперь вполне грамотно вели свои дела. А Грэгор пока ещё жил с родителями, но всерьёз готовился идти по стопам братьев.

Сегодня они как раз приехали поздравить младшенького, привезли подарки: портмоне, модное кепи и кашне того же цвета. Как сказали бы сейчас, последний писк моды!.. Но главный подарок был за отцом: младшему сыну он подарил те самые карманные часы, свои часы, доставшиеся ему от отца.


Вот тут даже братья ахнули – не ожидали такого от скуповатого, прижимистого старика. А Грэгор так растерялся – покраснел, все слова благодарности куда-то подевались, он даже руками развёл:

– Отец, как же так? Почему мне?..

Не смея прижаться к отцу, он обнял ещё совсем не старую, без единой сединки медноволосую маму Миниху, и та поцеловала его в макушку такого же, тёмно-рыжего цвета.

– Носи на здоровье, сынок!.. – это мамины слова.

– И помни – время не ждёт, время надо ценить, а потому следи за ним, рассчитывай. Его нам Б-г не так уж много отпустил! Не опоздай! – это был завет отца...



А потом глава семьи со старшими сыновьями завёл вечно их волновавший разговор о том, как уберечь от погромов свои магазинчики и лавчонки в Вильно. Затем вспомнили, как жестоко пострадали те из них, что приносили неплохую парнасу*, потому что располагались поближе к центру... Даже вспоминать не хочется те страшные январские дни девятнадцатого года, когда Вильно трижды переходил из рук в руки – от поляков к литовцам и опять к полякам...

– И всем есть дело до нас, – сокрушался старый Лейб. – Всем есть дело до Ерушалаим да Лита!*

И старшие сыновья горестно кивали в ответ, а мама вытирала сразу набрякшие веки, потому что вспомнила племянницу Йохведку, замученную и расстрелянную в те дни польскими офицерами как большевичку, хотя девочка просто любила читать и возвращалась с друзьями из библиотеки...

– Ха! А сорок наших несчастных, пришедших просто помолиться в синагогу? Где они теперь? Хочется верить, что так, всем скопом, и молятся Всевышнему в райских кущах...

– Да уж их перепутать с красными подпольщиками!.. А главному раввину это злодейство как объяснили? «У бедных шляхтичей, мол, нервы расстроены!» – гневно возмущалась Миниха, и ей вполголоса поддакивала из кухни домработница.

– Ай! О чём говорить? Паны дерутся, а у нас пейсы на клочки рвутся!.. – это отец пытался закончить бесконеч-



ные, выматывающие душу разговоры...

Между тем Грэгор, то и дело достававший из маленького брючного кармашка своё тикающее сокровище, решил отпроситься у родителей и сбежать в соседний хуторок к другу Ионику. Отец, особенно не вникая в суть просьбы, к тому же соскучившись по старшим сыновьям, только кивнул. А мама, строго следившая на кухне за работой молодой служанки, великодушно крикнула вослед:


– Надеюсь, не до полуночи?!

– Нет, чуть пораньше, мамэлэ!..

И всё... Ах, если б он знал, что это всё!.. Что своего отца, бородатого, в бархатной вышитой ермолке («ярмолке»), он видит в последний раз... А с мамой и постаревшими братьями свидится лишь лет через двадцать!.. Боже мой, кто ж это мог предвидеть?

А тогда он поднялся в свою комнатку, набросил на белую праздничную рубашку с перламутровыми пуговками и настоящими, как у взрослых, запонками коричневый в едва заметную красную полоску пиджак, быстро спустился по узкой лесенке прямо во двор, оттуда за ворота и зашагал по плотно утоптанной петляющей тропинке в соседний хуторок. Не терпелось показать дружку Ионатану отцовский подарок. И не только Ионатану...

Как она незаметно подросла – сестрѐнка его друга, конопатая Бронька, которую они вечно гнали от себя, а она – собачонкой за ними, за ними... И вот на тебе – уже около месяца нейдѐт из головы Грэгора эта кудрявая плясунья. С тех самых пор, как увидел он её танцующей краковяк. Он и



не знал, что можно так танцевать: не только детскими, ещё тонкими ножками в красных туфельках с белыми горошинками-застёжками на боку. Не только грациозными худенькими руками, словно готовыми радостно обнять весь мир! Нет, танцевали её кружевные рукавички-фонарики и юбочка с вышитым передничком! Даже тёмные меленькие конопушки, густо усеявшие забавный её, круглый носишко, отплясывали с нею весёлый краковяк:

Краковякорице!


Их трайб аруйс ды прице!

Ды прице вил нышт гейн?

*Их клоп аруйс ды цейн!**

Совершенно бессмысленная, даже дурацкая песенка-припевка, но Бронька так задорно её распевала, то смеясь, поворачивалась к нему лицом, то, будто сердясь, отворачивалась от Грэгора в танце!.. И теперь он сам её пел-напевал с утра до вечера...

Ну, вот и небольшая усадьба и приземистый дом с хозяйственными пристройками, с дворовыми службами. Здесь и живут его друзья с родителями, с бабушкой и дедушкой. А вон и Ионик сбегает с крылечка к нему навстречу, и чьё-то улыбочное, румяное личико просияло в окне. Сердце юноши забилося: «Ту-тух, ту-тух, ту-тух...» Странно, даже после взаимного взрослого рукопожатия с другом и обмена застенчивыми взглядами исподлобья с малышкой Бронешкой сердцебиение не только не успокоилось, а точно ещё более росло и нарастало, заполняя всё вокруг...



Когда Грэгор поднял удивлённые глаза, он увидел, что его друзья смотрят не на него, а куда-то поверх его головы, поверх растрёпанного рыжего чубчика, и лица их медленно вытягиваются... Он оглянулся. Конный отряд стремительно приближался к хутору. Остроконечные шлемы и сверкающие штыки вздымались и опали в едином нарастающем ритме: «Ту-тух, ту-тух, ту-тух...»

– Красные! – выдохнул очкарик Йонатан.

– Красные? – удивились одновременно Грэгор и Бронька, но не было в этом возгласе ни страха, ни радости. Только безмерное удивление. – Красные? Русины?.. Здесь, у нас?..


Распластанные на серых суконных шлемах красные звёзды уже вплывали в распахнутые ворота по-крестьянски ухоженного двора.

– Здорово, братцы! – подошёл к ним, мгновенно спешившись, невысокий ладный паренёк с открытым улыбчивым, по-мальчишески курносым лицом.

– Дзень добры! – не в лад, друг за другом ответили Йонатан и Грэгор. По-русски они понимали, поскольку знали польский, но говорить почти не могли. Вот разве только поздороваться, да и то на польский манер...

Тем временем их плотно окружали молодые запылённые кавалеристы, немного коряча ноги после долгого, видно, пути верхом. Бронешку старший брат на всякий случай успел посадить на крыльцо, а там уже дедушка силком втянул её в приоткрытую на веранду дверь.

Неожиданно, легко раздвигая присобравшуюся у крыль-



ца толпу, в круг вошёл высокий чернявый парень в маленьких круглых очках на переносице и с пушистыми кудрявыми бакенбардами, обрамлявшими крупное квадратное лицо.

– Ой, Шимшон, эйныкл майнер! Ды бист до, ба дер бабе? Цы мир дафцах дус, рабейну шалейлом?*

 – закричала с крыльца старая бабушка.

Она бы упала, не видя перед собой ступенек, но вездесущая Бронька, вырвавшись из «плена», схватила её сзади за крылышки цветастого передника и вместе с нею благополучно приземлилась на верхней ступеньке крыльца. Оба внука кинулись поднимать старушку, и тут все заметили, как похожи двоюродные братья – просто одно лицо, правда, с разницей в десять лет...

– Ото-то* мы тебя вспоминали, внучек, – заворожённо повторяла старушка, не отрывая глаз от внука-первенца, – ото-то, душа моя...


И от этого бабушкиного «ото-то» у железного комиссара Самсона Мацюка подступила к глазам предательская влага, но он с коротким, нервным смешком проглотил подкативший было к горлу комок...

– Ну, ты даёшь, комиссар! – восхищённо сверкнул голубыми, в белых коротких ресничках глазами давешний курносый всадник. – Ни словом не обмолвился, что к своим родичам в гости отряд ведёшь!

– Да, братцы, я и сам как-то не ожидал....

– Го-го-го!..

– Ха-ха-ха!..

- 
- Ой! Хлопцы! Помру от смеха!..
- Нет, ты правда, не ожидал тут родню встретить?
- Да, в общем-то, знал, что где-то под Ковно старики мои живут, но я ведь лет десять здесь не был...
- Да, Шимшон, аккурат десять лет, – подал, наконец, голос и дед, вновь затолкнувший внучку за дверь и пытавшийся спокойно стоять у двери, в которую с внутренней стороны изо всех сил колотила Бронешка.
- Да ладно, дедуль, никто не обидит нашу малышку, – успокаивал его старший внук, обнимая старика.
- Да она сама кого хочешь обидит! Но ведь глупая же ещё, последить за ней надо...

Между тем бойцы отряда слонялись по двору, словно бы ища что-то, заглядывали в щели сарая, небольшого птичника, дёргали за кольцо дверь погреба. Сталкиваясь друг с другом, только почёсывали стриженные свои мальчишеские затылки, не решаясь признаться, что не знают, как поступить... А что тут было непонятного? Хлопцы хотели есть. И к тем, кто в изнеможении после многочасового конного перехода растянулся под старой грушей, сон тоже не шёл! Сказано же – голод не тётка. Была б это усадьба кого другого – никто никого бы и не спрашивал! Так обычно и поступали. А тут родные дед и бабка самого комиссара!..

Но Самсон уже вроде бы очнулся от неожиданности встреч и, смущённо теребя курчавую бородку, о чём-то просил стариков. Они сами понимали, что гостей, хоть и непрошенных, надо кормить, да вот самих хозяев, то есть сына с невесткой, нет дома. С утра уехали по делам в го-

род, и всё нет...

– Ну, да ладно! Что я, уже здесь ничего не значу? – хохорился старик. – Открывайте погреб, доставайте мешок картошки, берите лук, соленья.

– Маловато, дедушка, – виновато перебил его внук. – Хлопцам нужно поесть мясное, горячее, наваристое... Не поскупись, не позорься, дедунь...


– Твой внук дело говорит, – неожиданно поддержала его старушка и вполголоса добавила. – Будешь жадничать – сами возьмут. Вели резать бычка, а не хватит – ещё и пару петухов в придачу...

– Во-во! Разошлась! – прикрикнул дед, а сам тут же согласился с мудрой своей половиной и повёл двух быстро откликнувшихся парней в сарай...

Бабушка показала, где за домом, с подветренной стороны, можно разжечь костёр. Трое расторопных солдат постарше притащили и установили там большую треногу, а на неё взгромоздили огромный котёл, с которым домовитые хлопцы не расставались даже в дальних походах.

В общем, работа закипела. И никто при этом не сидел без дела: кто нёс воду из колодца, кто рубил на дрова старое, спиленное по весне дерево, кто ловко, умеючи, разделывал телка, кто натягивал на доску его шелковистую рыжую шкурку, аккуратно зачищая от остатков мяса. А другие несли из погреба пшено, солёные огурцы и капусту.

Через час-полтора красноармейцы, измученные сногшибательными запахами свежего казацкого кондёра, уписывали по две-три миски этого густого супа, пока не до-



скребли до дна. Молодёжь – Йонатан, Бронешка и Грэгор – в охотку за компанию тоже что-то там прихлёбывали, удивляясь непривычному вкусу. Старики же отказались по понятной для большинства причине: мясо-то было некошерное.*

И очень неодобрительно поглядывали на детей, но, боясь рассердить старшего внука, не решались запретить детям есть.

Однако же бабушка и в этой ситуации пыталась вести беседу со своими непрошеными гостями.

– Шимшон! – обратилась она к внуку, с которого глаз не сводила. – А как твой Вася стал командиром отряда? Он же совсем ребёнок! Я, думаю, чуть старше нашего Ионика!

При этих словах, сказанных, на идише, Вася-командир явно смутился, закашлялся, тряхнул белёсым, выгоревшим на солнце чубом и, аккуратно облизав деревянную ложку, обратился к бабушке по-русски, не дав Шимшону и слова произнести.

– Я сам отвечу Вам, гражданочка хозяйка.

– Во даёт! – на этот раз удивился комиссар, перекрывая восклицания бойцов. – Ты откуда идишь знаешь?

– Ну, не могу сказать, что язык знаю, но кое-что кумекаю. Я ж с местечка родом, с Олевска, что возле Коростеня. Ну, и соседи все евреи были, и дед мой в кузнице у коваля-еврея учился кузнечному делу. А я с его внуками рос вместе, по соседству... Да, о чём это я?.. Ага, как командиром стал? Ну, об этом лучше хлопцев спросить. Они меня выбрали после смерти нашего батьки Шевчука. А что мо-

лод – это правда. Ну, да это дело недолгое...

– Да ведь тебе, небось, и восемнадцати нет?


– Нет, мне скоро девятнадцать! Я уже год, как воюю, с 19-го года, с тех пор, как понял, что не могу и не хочу быть быдлом у пана...

Все умолкли, даже перестали скрести ложками по котлу, отыскивая куски мяса. А Вася-командир, глядя прямо перед собой, продолжал о наболевшем своём:

– Аккурат в апреле, 19-го, приехал я до материной сестры в Барановичи помочь огород вскопать, «бульбу», звиняйте, картошку посадить. А тут и поляков нелёгкая принесла. А за командира у них генерал Лисовский. Век этого гада не забуду! Вот уж палач так палач! – Вася скрипнул зубами. – Тётка моя вдовою осталась ещё о 16-м годе. Старшему было лет пятнадцать, он всю семью и тянул. Так когда согнали нас всех на майдан, поставили на колени и заставили петь «Еще польска не згинела», братуха мой не пел, потому что слов не знал. Стоял и улыбался. Вот за ту улыбку его и застрелили: «недобро» улыбался, сказали. Прямо тут же, на глазах пана Лисовского...

– А уж били нас, братцы, нет, не батогами, а колючим дротом! – неожиданно включился пожилой мужиковатый боец. – Васильку тоже досталось... Я ж там был, видел ту расправу с полещуками.

– Это земляк наш, его при отступлении без крыши над головой оставили, хату сожгли и всё село ихнее... А уж про ваших, про евреев, и не спрашивайте... Такой погром учинили! Может, слыхали про местечко Тетиево, где четыре



тысячи народу вырезали?.. Вот с тех пор и воюю... – Вася полез в карман за кisetом и стал крутить из обрывка газеты «козью ножку». Руки его чуть заметно дрожали.

Бабушка что-то причитывала на идише после того, как дедушка ей шёпотом вкратце перевёл. Потом упомянула Йохведку.

– Не надо, бабуль, прошу тебя! – по-детски, как от удара, вскрикнул Самсон, услышав имя любимой родной сестрёнки. – Да, у каждого из нас есть что предъявить врагу. Вот и припомним им это в бою, – с этими словами комиссар поднялся на крыльцо и обнял бабушку.

Командир же, привычно поправляя ремень на гимнастёрке, негромко объявил:

– А сейчас отдыхайте пару часов. А в доме, кстати, часов нет?

И не успел ещё Ионатан ничего ответить, как Грэгор поднёс к лицу командира отцовский подарок, держа его, как птенца, в обеих ладонях.

– Ух ты, какие часы! Швейцарские, небось, самые лучшие, я слышал про такие, а видеть никогда не видел! – восхитился тот и бережно взял их в свои ладони.

Грэгор сбивчиво стал объяснять, что только сегодня получил их от отца в подарок. Василий восхищённо кивал головой. Ионатан и Бронешка помогали другу в поисках слов. Все четверо были по-детски счастливы, прикладывая ухо к тёплому, сверкающему на солнце корпусу часов.

Когда же насытившаяся «братва» разбрелась по двору в поисках холодка для отдыха, в ворота отчётливо и требо-

вательно постучали.

– Может, дядя? – обрадовался комиссар.

– Да разве ж хозяева так стучат? Так ведь и ворота сорвать с петель недолго! – удивился пожилой боец.

Ионатан отодвинул тяжёлую задвижку на воротах, и во двор вошёл, ведя под уздцы взмыленную лошадь, спешившийся за воротами всадник.

– О! Здорово, вестовой! – окликнул его командир, затем крепко пожал руку. – Здравствуйте, товарищ Арвид! С чем пожаловали?

– Здрав будь, Вася-командир. С депешей.

– Ну-ка, ну-ка! Чем там нас порадуют штабные?

Вестовой достал из-за пазухи пакет, крест-накрест перевязанный бечёвкой с большой сургучной печатью. Командир торопливо вскрыл послание и вместе с комиссаром склонился над листом бумаги. Через мгновение они оторвались от чтения, уставившись друг на друга. Затем, не сговариваясь, опять стали читать.


Обеспокоенные красноармейцы стягивались в круг и, нетерпеливо подталкивая друг дружку, ждали объяснений.

– Видать, мало радостей, а, братцы?

– Да не томите вы душу, хлопцы!

Вася-командир вздохнул, поправил гимнастёрку и протянул лист Самсону, отчеркнув пальцем, что прочесть.

«Несмотря на успехи Красной Армии на Западном фронте, несмотря на растущее влияние первой в мире Республики рабочих и крестьян на международное рабочее движение, несмотря на моральную поддержку милли-



онов немецких и венгерских рабочих, мы всё ещё находимся в железном кольце врагов и вынуждены идти на уступки. Антанта предъявила нам ультиматум («Нота Керзона»). Чтобы сохранить за собою наши победы и в связи с создавшимся положением, СовНарКом совместно с Реввоенсоветом и Наркоминделом приказывают приостановить продвижение РККА на Западном фронте ввиду готовящегося перемирия.

Председатель РевВоенСовета – В.Ульянов (Ленин)

Главвоенмор – Л. Троцкий

Наркоминдел – Г. Чичерин»

– Вам лично на словах приказано передать, чтобы возвращались на вчерашние позиции. И немедленно! – повысил голос вестовой. – Комиссар, с тебя особо спросят!


– Что? Может, ещё и Вильно отдадут белополякам?! – запальчиво, по-мальчишески выкрикнул молодой командир.

– В дела штабные не посвящён! – резко, с явным нерусским акцентом отрубил товарищ Арвид, ловко вскочил на коня и через мгновение скрылся в облачке пыли.

– Ну, вот такие значит дела... – в растерянности покусывая губы, проговорил Самсон.

– Всё! Обсуждать приказы не положено! Трубач, труби общий сбор! – Василий как бы доказывал, что отряд не ошибся в выборе командира. Был собран, сух и точен в коротких своих командах.

Бабушка в слезах повисла на своём Шимшоне. Дедушка был сдержанней, но дышал тяжело, с одышкой.



– Увижу ли тебя ещё раз? – причитала старушка. – Береги себя, душа моя... Комиссар прижал к себе родное, залитое слезами лицо и ощутил на губах солоноватый вкус, затем, мягко оторвавшись, похлопал по спинам парнишек, а юную кузину поцеловал в лоб и погрозил пальцем:

– Пора взростеть, балованная сестрёнка!..

– По коням! — раздался осипший, ломающийся голос Васи-командира, и весь отряд покинул гостеприимное еврейское подворье...

И только когда бойцы скрылись в неглубокой балке неподалёку от хутора, старики словно бы очнулись и забеспокоились о долгом отсутствии своих детей - родителей Йонатана и Бронешки. Но их на полуслове прервал отчаянный вопль Грэгора:

– Часы! Мои часы! Отцовский подарок! – и он вцепился руками в рыжие свои вихры. – Что я скажу отцу?! О Б-же! Нет, я без часов не вернусь домой...

Старики остолбенели от этих криков, не понимая, в чём, собственно, дело.

– Что это с мальчиком? – испуганно переспрашивали они друг друга. – Какие-то часы ему привиделись!

– Да ничего не привиделось! – закричала перепуганная бледная Бронешка. – Мы с Иоником их видели. Дядя Лейб их подарил ему сегодня. Грэгор дал их подержать командиру. А потом я ничего не помню...


– Что ты хочешь сказать, девчонка, что наш Шимшон ведёт компанию с ворами?! – дедушка чуть не задохнулся от возмущения.

— Да нет, нет! — перебил старика Йонатан. — Просто в эту минуту примчался вестовой, и мы забыли о часах. — Но как ты мог о них забыть, Грэгор?

— Я сам не знаю... Я просто ещё не привык к ним... Что я скажу отцу? Что я скажу ему?!.. Дедушка, дайте мне Вашего коня на пару часов, я догоню их! — взмолился паренёк. — Я думаю, он просто забыл их отдать мне...

— Какого коня, сынок? Ты разве не слышал, что наши утром уехали в город? Кто же их повёз? Конечно, Гнедко. Но Грэгор уже решительно шёл к воротам. Йонатан пытался его задержать, что-то утешительное обещали завтра утром старики, наконец, Бронешка обогнала его за воротами, вцепилась в рукав принаброшенного пиджака, но Грэгор явно был не в себе!.. Не глядя на девочку, он с силой оторвал от себя её руки и ещё быстрее зашагал вперёд. Она снова обогнала его и по-детски уселась прямо перед ним, на дороге. Грэгор молча обошёл её, как пенёк, и продолжал сосредоточенно шагать, глядя себе под ноги... Последнее, что он услышал, это громкий плач девочки. Но он не оглянулся...

Через час на тёмной безлюдной дороге его обогнал всадник. Это был всё тот же товарищ Арвид, вестовой для особо важных поручений, возвращающийся в штаб из очередной поездки. Строгий латыш, как ни странно, тоже узнал парнишку. Выслушав сбивчивую, вперемежку со слезами речь, он усадил его на коня позади себя, велел крепко держаться, и тихим шагом часа через три они добрались до штаба красных. Но здесь Грэгор узнал, что от-



ряд Васи-командира недавно отбыл на старую польскую границу с заданием укрепить погранзаставу неподалёку от города Ковно.

– Ой, так это ж возле моего хутора! – обрадовался Грэггор. – Только с другой стороны, за Ковно.

Арвид резко поднялся с места при этих словах:

– Что ж ты радуешься, парень? Как же ты теперь домой попадёшь? Твой дом теперь за границей!


– За границей?! За какой границей? – Грэггору показалось, что земля уходит у него из-под ног.

– Да уж, парень, не везёт тебе сегодня, – сочувственно взглядываясь в побледневшее лицо мальчонки, почти виновато пробормотал латыш. – Да ты не печалься: жизнь не сегодня кончается! Прорвёмся, как только...

Он уложил Грэггору на лавку в своей маленькой комнатке здесь же, при штабе, и заботливо накрыл его своей кожанкой...

Проснулся парнишка от шума и топота солдатских ботинок: двое красноармейцев несли кого-то большого и тяжёлого. Грэггор вскочил с лавки, и на неё положили тело товарища Арвида. Его красивое мужественное лицо было изуродовано до неузнаваемости. А на теле не было живого места. Похоже, что затравили собаками. Потом, видно, привязали к седлу ещё живого и пустили коня, чтобы сам нашёл дорогу домой... А на белой рубашке кровью написали: «Смерть жидам и коммунистам!»

Перепуганный Грэггор тыкался то к одному, то к другому с кожаной курткой Арвида, но его не понимали или не хо-



тели понять и отмахивались: «Не до тебя, парень, видишь?»»


Оказалось, на рассвете вестового отправили с пакетом на ту самую погранзаставу, к Васе-командиру, но он, видно, не доехал – был схвачен невесть откуда взявшимися всадниками и замордован. А потом для устрашения умирающего возвратили в отряд...

...Хоронили товарища Арвида с почестями: с речами над гробом, с приспущенным знаменем, с салютом. На похороны прискакал и Вася-командир, который тоже речь держал и клялся отомстить за дорогого товарища... А потом протолкался через толпу к Грэгору, обнял его за плечи. Когда же они оба немного успокоились и присели рядышком на прогретое солнцем крылечко, Вася достал из нагрудного кармана гимнастёрки часы и бережно, как птенчика, положил их в раскрытые ладони парнишки.

– Прости, друг, я не хотел... Так получилось...

На часах было ровно 16.30. Как и вчера, когда он доверчиво протянул часы Василию. Значит, всего сутки прошли с тех пор! А Грэгору показалось – целая вечность!..

Больше они не расставались, считай, до самого конца войны, почти два года... Мало того, демобилизовавшись, Вася увёз друга с собою на родину, в маленький полесский городок Олевск. Ведь родные Грэгора по-прежнему жили за границей. Правда, в Москву его звал Самсон Мацюк, ставший большим начальником, но Вася не советовал. И, слава Богу, что послушался друга! А то бы следом за родственником в конце тридцатых сгинул в лагерях...



Здесь, в маленьком еврейском местечке, Грэгор нашёл свою судьбу. И ею оказалась внучка того самого кузнеца Якира, у которого в подмастерьях бегал ещё отец Васикомандира... Здесь родились его дети. Отсюда за год до войны съездил он на родину в Литву, ставшую советской республикой, и повидался с матерью и братьями, уже и не мечтавшими встретиться с ним. Отца к тому времени давно не было в живых. А часы отцовские Грэгор носил постоянно. Он с гордостью показал их уже седой Минихе, и она ему напомнила о традиции передавать их младшему сыну.


К тому времени сын у Грэгора уже был, и звали его Лёвушкой в память о деде Лейбе. Часы в свой срок достались его сыну, а он перед отъездом в Америку привёз их в Олевск.

Конечно, молодые люди таких часов давно уже не носили. Это, скорее, была память о предках, то самое связующее звено, которого так подчас не хватает...

Я росла в этой небогатой семье после смерти моих родителей и с детства знала об этой семейной реликвии. По этим часам Лёвушка учил меня определять время, а я просто любила брать их в руки и чувствовать, как теплом от них наполняются мои ладони...

Спустя годы, приезжая погостить в родной городок, я видела часы висящими возле старого потемневшего зеркала. Время они уже не показывали, но по-прежнему теплели в руках. А может, это мне только казалось?..

Старшая дочь Грэгора с детьми репатрировалась в Из-



раиль. Младший сын её, Юрий, должен был теперь хранить реликвию. А я всё забывала спросить его о часах. Да и неловко как-то было: мог и подумать невесть что. Хотя не такие у нас были отношения. Для меня дети сестры были роднее родных, и они мне платили ненавязчивой преданностью.

Однажды, будучи в гостях в Беэр-Шеве, я читала маленькому сыну Юры – Яниву стихи-загадку моего друга Владимира Орлова:

*Говорят, они бегут,
Говорят, они идут,
Говорят, они спешат,
Но немного отстают.
Мы смотрели с Мишкой вместе,
А они стоят на месте.*

– Знаю, знаю, это часы! – перебивая меня, закричал малыш. – А знаешь, у меня тоже есть часы. Мне папа на день рождения подарил.

– Ух ты, часы? – я отвернула рукавчик его свитерка, но часов не обнаружила.

– Да нет! Это не простые часы. Это...

– Золотые? – удивилась я.

– Ай-сь, бабушка, это же не сказка про курочку Рябу! Смотри! – он потянул меня за руку в свою комнату И тут я их увидела, наши часы. Они висели, как обычно, на гвоздике возле зеркала, поблёскивая своим нестареющим корпусом. Висели, как когда-то в Олевске, на шёлковой нитке, привязанной за пимпочку, потому что цепочки при них

никогда не было...

Я подошла, взяла их в руки и прижала к щеке.

– Осторожно! – закричал Янив. – Это не игрушка. Они настоящие. Только не ходят, потому что уже старенькие и устали очень... Ладно, ладно, поддержи, только не плачь, бабушка...

Мне показалось, они узнали меня: и ладоням, и щеке моей стало удивительно тепло... В дверях детской стоял Юрий и смотрел на меня, тоже улыбаясь сквозь слезы... Впрочем, мы с ним всегда понимали друг друга. Он же внук моего дяди Грэгора.

**хедер (иврит) – еврейская религиозная школа*

**парнаса (иврит) – заработок*

**Ерушалаим да Лита – Литовский Иерусалим*

Краковякорице! Их трайб аруйс ды прице!

Ды прице вил нышт гейн?

**Их клоп аруйс ды цейн! (идиши) –*

Краковякоресса! Бездельница принцесса,

Забудь дорогу к нам – Получишь по зубам!

Ой, Шимшон, эйныкл майнер! Ды бист до, ба дер бабе?

**Цы мир дафцах дус, рабейну шалейлом? (идиши) –*

Ой, Самсон, внучек мой! Ты здесь, у своей бабушки? Или это мне только кажется, святые угодники?!

**Ото-то (идиши) – вот-вот, только что*

**Некошерное мясо – мясо животного, зарезанного не резником-шойхетом.*




СТУДЕНТОЧКА

В послевоенном местечке

Вечером Люська довольно рано отправилась домой: скучно одной гулять по сумеречной улице городка, прислушиваясь к шумному жужжанию майских жуков-хрущей. Закадычная подружка сегодня со всей роднёй гуляет на свадьбе у двоюродной сестры - красавицы Жени Снежковой. Люся жила с ней на одной улице и сейчас, томясь на одинокой вечерней прогулке, не удержалась и стала подсматривать в окно на свадебное действо вместе с соседскими пацанятами, со всей улицы сбегавшимися на звуки музыки. Большие, чисто промытые окна ярко освещались электрическими лампочками под стеклянными абажурами с висюльками. Правда, гореть они будут только до полуночи. Потом зажгут керосиновые лампы: вон для них по стенкам развешаны деревянные подставки, специально заказанные у Иосифа-столяра.

В комнате полно народу. Одни рассаживаются, другие уже за длинным столом, покрытом накрахмаленными, подголубленными простынями. А в центре стола – удивительной красоты пара, «молодые»: Женя и Яков. Он только что закончил военное училище и получил назначение на службу в Подмоскowie. Серо-голубые глаза его невесты жмурятся от счастья, пепельные вьющиеся волосы оттеняют нежно-розовую кожу лица и шеи. Она, как всегда, улыбочива и разговорчива. А он вообще не сводит с неё глаз, такой



высокий, стройный, щеголеватый, в своей новенькой офицерской форме, с аккуратно причёсанными на косой пробор волосами, будто только что сошёл с раскрашенных фото-открыток, продаваемых в поездах и на вокзалах по рублю за штуку... Рядом с ними – свидетели их счастья, тоже праздничные, нарядные, красивые – Женина подружка Валя Быкова со своим женихом-офицером. Это про них, (конечно, про них!) поёт взахлёб пластинка:

Хороши весной в саду цветочки,

Ещё лучше девушки весной.

Встретишь вечерочком

Милую в садочке –

Сразу жизнь становится иной.


Нарядные родственницы и соседки ещё разносили закуски и соленья, холодцы-винегреты, а молодёжь уже вскакивала со стульев, желая танцевать, танцевать, танцевать... Видно, традиционный вальс жениха и невесты Люська пропустила, потому что Женя повернулась к кому-то позади, сидящему у патефона, и скомандовала:

– Ну-ка, а теперь дай нам танго, дай-ка «Студенточку»...

Ах, какой лебёдушкой взлетела её полненькая ручка с круглыми золотыми часиками на запястье и легла на сверкающий под лампочкой погон жениха, как томно дрогнули и опустились её пушистые ресницы, когда глянули они друг другу в глаза, заслышав первые ноты повсеместно исполняемого, несмотря на запрет, танго Петра Лещенко:

Студенточка! Вечерняя заря!

Под липою я жду тебя одну.




*Счастливы будем мы,
Задыхаясь в поцелуях,
И, вдыхая аромат твой,
Упиваюсь я мечтой...*

Кажется, в тот вечер двенадцатилетняя Люська впервые услышала эту полную неподдельной взрослой страсти песню, как-то даже смутившую и напугавшую её. Но всю обратную дорогу домой она потихоньку её напевала под громкий стук собственного сердца, особенно это: «Не помнишь ты... Но помню, помню я...»

А «Шер», замечательный еврейский «Шер» – танец, исполняемый на всех местечковых свадьбах! Ведь как правило его танцуют пожилые, даже старые люди, молодея на глазах!

Вот эти четыре волнующиеся пары, стоящие по углам просторной, освещённой комнаты, меж тем, как все гости, тесно сбившись у дверей и окон, затаив дыхание, ждут первых аккордов вступления в танец. И знаменитое олевское трио «Их мит майне киндер» («Я и мои дети») – аккордеон, труба и барабан с тарелками – играют вступление. А танцоры уже летят друг к другу навстречу и кланяются в общем кругу, тут же попарно разлетаясь. Так забавно наблюдать за толстяком дядей Мишей – отцом невесты, легко кружащем свою хрупкую жёнушку! А как степенно, спокойно, со знанием дела выступают в паре их сваты, родители Якова! А вот и сама мать-командирша – их соседка Хинечка со своим красивым послушным мужем – шурша шёлковой шалью в танце, вполголоса отдаёт команды




партнёрам о следующем движении. Как красиво идёт обмен партнёрами, когда они под руку кружатся, и жадный до женского тела дядя Миша выхватывает из круга свою полногрудую свояченицу, прижимаясь к ней всем телом...

Ах «Шер», незабываемый «Шер», в конце свадьбы сменяемый ещё и чудесным общим танцем «Фрейлахс», – короткая радость в суровых буднях послевоенного еврейского местечка...

Песни и песенки


Вообще-то, Люська любила танцевать и петь. Особенно петь. В классе было их немного, поющих девочек, всего четверо, и один мальчик, обычно выступавший на клубной сцене их городка со своей старшей сестрой. Неизменный восторг у слушателей вызывала их песня про колечки дыма, клубящиеся над сталинской курительной трубкой... А Люська про Сталина пела только в хоре. А на сцене в дуэте с соседским Борькой пела про дружбу: «...русский с китайцем – братья навек! Братья навек! Москва-Пекин! »... Но всё это на городских олимпиадах, соревнованиях между двумя школами – украинской десятилеткой и русской, пока ещё семилеткой. Летом же на улицах городка, на песчано-травяном пляже Уборти и с проплывающих мимо медлительных, грубовато сколоченных лодок, со скамеек тёмного скверика в центре города звучали совсем другие песенки, совсем другие имена: Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко, Вадим Козин... Правда, ещё год назад петь в скверике казалось кощунством: с малого его пространства



совсем недавно убрали и перезахоронили на кладбище несколько могил красноармейцев, погибших при освобождении Олевска. И, хотя скверик по-прежнему не освещался и главной его достопримечательностью оставалась мрачная трансформаторная будка, на дверях которой ржавела табличка с черепом и скрещёнными костями, теперь здесь на двух деревянных скамеечках тесно сидела олевская молодёжь, в основном, парнишки. Они пели полублатные песенки, к которым тогда относили и «Шаланды» Богословского, и «Огонёк» Исаковского, и «Мурку» О. Строка...

Среди поющих различались голоса бывших люсиных одноклассников, исключённых из школы за хулиганство и спроваженных в киевские ФЗУ (фабрично-заводские училища): Лёвушки Беккера, Фимки Браймана, Шурика Розенштейна, ещё двух-трёх еврейских мальчишек. Все они остались без отцов после войны... Мам своих, с утра до ночи вкалывавших на фарфоровом заводе или в гончарне, почти не видели – вот и развлекали одноклассников на уроках, как могли, пока взбешённые учителя, израненные или контуженные на фронте, не спускали их по школьной деревянной лестнице головой вперёд со второго на первый этаж...

Эти ФЗУ, в общем-то, оказались для мальчишек спасением: хорошая заводская профессия в будущем, какая-никакая дисциплина вдали от дома... Никто из них не спился, не стал вором или бандитом... Многие построили приличные семьи, работали на заводах Киева, потом репатрировались на землю предков... А пока что они приез-




жали в родной городок по субботам, иногда «зайцами», иногда, как «белые» люди, и привозили с собой эти песенки...

Да, удивительные были годы – первое послевоенное десятилетие ещё только добиралось до своей серединки. Это было начало пятидесятых годов, а за спиной уже была война и голодовка 47-го года, радостные перешёптывания взрослых о возрождении Израиля, впереди же – «дело врачей», «холодная война», смерть «отца народов» и многое другое, о чём только вздыхаешь, вспоминая... Но так хотелось верить в счастье, оттого и пелось так, что замирало сердечко.

Летними вечерами из клуба доносилась музыка духового оркестра. Это дедушка Люськиной одноклассницы Абрам Давыдович Фердман обучал молодых рабочих фарфорового завода. Одновременно этот седой немногословный волшебник создавал духовой оркестр и в школе-семилетке, и Люся так гордилась братом Эльчиком. Через годы она могла воскликнуть вместе с героиней А.Алексина: «Мой брат играет на кларнете»! Просто удивительно, как его мама, которой подчас не хватало денег прокормить двух сорванцов или купить им новые стёганки-«куфайки» на зиму, нашла деньги на покупку инструмента для сына – такой сверкающей на солнце трубы?!

Для большинства этих ребят музыка, благодаря бескорыстному подвижничеству их Учителя, осталась большой любовью до последнего часа, как и для моего брата Эльчика...



Но танцевали в клубном роскошном фойе вальсы и фокстроты, танго и падэспань взрослые девушки и парни – вчерашние фронтовики или ещё редкие в те годы студенты...

А школьники-старшеклассники «шпацировали» по Советской, переходившей незаметно в Ленинскую, от клуба до фарфорового завода и обратно, причём взявшись под руки и растянувшись во всю ширь улицы. Если не помещались, девушки шли впереди, тесно прижимая локотки друг дружки, а юноши – на шаг за ними, нежно всматриваясь в аккуратные затылочки подружек, с заплетёнными «корзиночкой» косичками.

Иногда делались остановки. Например, у низенького домика в самом центре городка, прямо против начала люськиной Интернациональной, тянувшейся отсюда, из центра, до самого леса, голубеющего где-то вдали... Эта почти вросшая в землю избушка, чья завалинка была чуть повыше узенького тротуара, состояла из двух половинок. В первой жили сёстры Беккер с мамой и братишкой, а во второй – сёстры Гендель с родителями. А перед домом из травы выглядывала простенькая некрашенная скамеечка, на которую с хохотом обрушивались девчонки, а мальчики присаживались на завалинке или просто растягивались на травке. Тогда открывались окошки в обеих половинках дома, и прелестные кудрявые головки радостно приветствовали друзей. А после обмена весёлыми новостями о прочитанном в книгах или услышанном по радио, кто-нибудь из девочек запевал:




*На крылечке твоём
Каждый вечер вдвоём
Мы подолгу стоим
И расстаться не можем на миг...*

Все так очарованы недавно прошедшим на экранах фильмом «Свадьба с приданым». У мальчишек с языка не сходят куплеты Курочкина, которые они распевают на всех переменках, ещё и аккомпанируя себе разухабистой чечёткой!..

А тут, отслужив срочную службу, из армии прибыл в наш городок симпатичный весельчак Хоне-Володя. Его сестрёнка Леночка училась на год старше Люси, вместе с Эльчиком. Впервые от брата Люся и услышала, что Хоне-Володя выбивает чечётку так, что любой актёр бы позавидовал. Мало того, оказалось, что вчерашний солдатик и нашего директора школы очаровал, так что тот пригласил его вести кружок танцев у мальчиков. Да-да, только у мальчиков: ведь учитель танцев – вчерашний солдат! Поэтому несколько любопытных девчушек после репетиций хора, соло и дуэтов, «случайно» задерживались в классе, где стояло расстроенное многострадальное пианино, пока Хоне-Володя не заводил своё знаменитое: «И-и-и... ла-та-та-та-та...» Дело в том, что вчерашний защитник отечества примитивно, по-еврейски картавил! Стесняясь этого «недостатка», находчивый танцор вместо привычного «и-и-и... та-ра-ра-ра-ра...» аккомпанировал своим ученикам немного иначе: «и-и-и... ла-та-та-та-та...»


В школе не было специального музыкального зала. Про-



сто поднимались и ставились друг на дружку тяжеленные, пережившие даже фашистскую оккупацию дубовые парты, освобождая часть класса для танцев. Девчонки забирались на эти трёхэтажные сооружения и оттуда наблюдали за своими одноклассниками и «балеруном», как они «окрестили» между собой Хоне-Володю. А внизу, в танце, разыгрывалась сюита про морячков и боцмана, заставлявшего их «драить палубу», нести «службу», а те всячески противились коллективному танцу, предпочитая свои сольные «штучки». Как же мы восторгались Ромкой, Валентином и особенно Лёнькой Заверным! Будто он ничем иным, кроме танцев, и не занимался в жизни. Как раскинет руки навстречу русской народной мелодии, голова чуть к плечу склонится – и пошёл выписывать коленца, так что сам Хоне-Володя только головой качал от восторга!..

Мы учились, кажется, в седьмом классе, точнее, готовились в нём учиться: заканчивались долгие летние каникулы. С утра накупавшись в жёлтых водах тихой медлительной Уборти, мы договорились о вечерней встрече. Когда Люська, вертя над головой скакалку, вприпрыжку прискакала к домику наших друзей, почти все были в сборе. А на подоконнике раскрытого окошка сестёр Гендель подружка младшей из них – Идушка сидела, свесив наружу ноги, и пела «вместе с Петром Лещенко под патефон»:

*Мне бесконечно жаль
Своих несбывшихся мечтаний,
И только боль воспоминаний
Гнетёт меня...*



Мальчишки лежали под окном на траве и покусывали сладкие былинки ещё не пожелтевшей травы, девчонки притихли на скамеечке. Они сделали знак Люсе не мешать пению и продолжали внимать певунье, а та пела, полуобернувшись и как-то грустно вглядываясь в глубину комнаты. Люся тихонько уселась на траве рядом с одноклассниками и проследила за взглядом Идушки. Та не сводила глаз с Дуси, старшей из сестёр.

Она стояла у стола и, тихонько вторя певунье, укладывала в раскрытый чемодан вещи. Дуся уже закончила двухгодичный пединститут и уезжала на Волынь преподавать математику в сельской школе. Вот она приложила к груди роскошно вышитую крестиком украинскую блузку – «вышиваночку» – очень в те годы модную и для мужчин, и для женщин. И девчонки ахнули от восторга: как хороша, как к лицу ей этот наряд!

– Дусенька! Надень сегодня! Когда ж теперь увидимся!

– Нет, нет, девчонки! Только первого сентября, только на первый урок... А ты, Идочка, спой ещё мою любимую, спой на прощанье, – и она долгим ласковым взглядом словно бы обняла нас всех.

У Иды нежно-голубые белки глаз порозовели от сдерживаемых слёз, но она обхватила руками худенькие высокие коленки, прикрытые комбинированным, весёлым платьицем (мама всё ещё шила ей, 7-класснице, такие платьица с высокой «гесточкой», как правило, коротенькие) и слегка дрожащим голосом запела «Студенточку», кивнув нам, чтобы помогли ей:



Не помнишь ты?.. Но помню, помню я:

С тревогою я ожидал тебя.

На берегу пруда

Твои очи целовал я,

И пленился я навек тобой

Под серебристой луной...

Совсем тихо, вполголоса, мы спели ещё раз первый куплет. Дуся, озорно щёлкнув замочками чемодана, присела рядом с певуньей, обняв одной рукой её, а другой – сестрёнку Риту.


– Ох, девчонки, как не хочется с вами расставаться! Вот бы мне таких учениц!

– А нам бы такую училочку...

И все рассмеялись, но как-то грустно, с щемящим сердцем расставались мы. Она же, по привычке склонив набок кудрявую, с пепельным оттенком темноволосую головку, ещё долго смотрела из окошка нам вослед...

Шла первая неделя сентября, тёплого, золотистого – настоящее «бабье лето», что довольно редко заглядывает к нам в Полесье. Обычно как зарядят дожди с конца августа – поминай как звали ушедшие в одночасье солнечные наши денёчки... А тут такой праздник увядающих листьев, аромат созревающих яблок и груш... А из лесу, что окружал наш городок со всех сторон, вереницей тянулись бабульки с тяжёлыми коробами ягод за плечами. Черника, ежевика, малина...

Наших два параллельных седьмых учились в тот год во вторую смену. Помню, с непривычки после каникул мы




все уже истомились в ожидании конца уроков, как вдруг в открытые настежь большие окна донёсся до нас чей-то горький, с трудом сдерживаемый женский плач. Так ещё совсем недавно, на нашей памяти в конце войны, рыдали женщины после встреч с почтальоном, обливая слезами «похоронку». Но на дворе стоял 1952 год: если кому и приходилось туго после доносов, то рыдали ночью, дома, в подушку, а не на центральной улице местечка, против окон школы, рядом с проспектом Сталина, где недавно установили ему огромной высоты памятник. Мы бросились к окнам, забыв об учителе, да и он уже вместе с нами вертел головой, вглядываясь в густую крону клёнов и акаций школьного палисадника. И вдруг все мы ахнули и замерли: по ту сторону резного деревянного заборчика, буквально припадая к нему в рыданиях, шла наша Рива Ефимовна – образец сдержанности и культуры! Что же такое с нашей негибавшей математичкой?!

– Так, дети, все по домам! К Риве Ефимовне – ни на полшага! – этого наш географ мог бы и не говорить: мы бы сами не рискнули...

А наутро еврейское местечко облетела страшная весть: на Волыни убили нашу Дусю... Она приходилась двоюродной сестрой Риве Ефимовне, её гордостью, и собиралась продолжить семейную учительскую династию...

Нам, детворе, просто сказали, что умерла наша любимица от разрыва сердца. Собственно так это и было. Так, да не совсем так...

...Подъезжая к райцентру и готовясь к выходу, Дуся



глаз не могла оторвать от окна. Казалось, красивее львовских парков и садов уже ничего быть не может, а здесь, на Волыни, ещё ярче и изумруднее зелень, ещё голубее небо, ещё более певучая, в растяжку мова...

У школы её окружила толпа хорошеньких белокурых девчонок в «вышиваночках». Они, застенчиво прячась друг за дружку, повели её за собою к директору. Тот, стараясь не выдать радости от встречи с долгожданной «математичкой», предупредил, что всему научит и всем поможет, кроме дисциплины.

– Это, коллега, первейшее дело. От этого зависит, быть ли Вам учителем...


Так что готовьтесь к урокам. А первого сентября прошу Вас на праздничную «линейку»...

... У домика, где она с коллегой-географией сняла комнатку на двоих, её ждала хозяйка, словно бы сошедшая со сцены Терпилиха из «Наталки-Полтавки» – такая же маленькая, изработавшаяся, морщинистая, но тоже нарядно и аккуратно одетая в свои национальные одёжки.

– Ласкаво просимо, ласкаво просимо, – тоненько пропела она, почти не разжимая выцветших узеньких губ и приглашая в такую же чистенькую и нарядную комнатку.

– Как в раю, – только и промолвила восторженная девушка, рассматривая весёлые ситцевые занавески и разноцветную герань на залитых солнцем окошках.

– Вот здесь будешь спать, а здесь – тетрадки проверять, – указала хозяйка на невысокий топчан с приподнятой дощечкой-изголовьем и квадратный маленький столик



рядом. – Умывальник у нас на дворе, пока тепло. За хатую отхожее место. А под топчаном миска для стирки.

В это время в комнату вошла высокая статная светлокосая девушка:

– А у нас гости, бабуню, что ж Вы мне не сказали утром?

– Да только-только твой директор привёл гостью. Такой радостный, что математика не надо звать из соседнего села!

– Так ты – коллега? – не дала опомниться Дусе девушка.
– Будем знакомы. Я – Даринка, Даша по-вашему.

– А я – Дуся, и по-вашему, и по-нашему, Евдокия, – рассмеялась в ответ находчивая гостья. – Можно и Докия, так меня тоже в школе звали...

– Оно-то, конечно, можно, но зачем? Кому это нужно наши украинские имена поганить? – это проговорил, будто проклокотал, высоченный, широкий в плечах парень в овчинной безрукавке поверх заношенной в подпалинах «вышиванке», вдруг возникший в дверях и застывший, не сводя с Дуси тяжёлого угрюмого взгляда.

– Ой! Внучок мой объявился, какое счастье бог послал мне! Я уже и не гадала увидеть тебя живым, моё солнышко! – запричитала, защебетала и заюлила одновременно хозяйка хатынки.

– Ну, всё... всё... старая! – он не давал ей обнять его. – Я вижу, бабцю, что ты забыла, в чьей хате живёшь!

Он с силой захлопнул дверь в комнату девушек и продолжал распекать старуху за дверь, нисколько не забо-

тясь о том, что его крики слышат.

– Ишь ты, чего надумала! Мало того, что москалей и «советок» в хату пускаешь, так ещё и на жидовку клюнула! Только жидвы мне тут и не хватало!

– Внучок, родненький! А на что ж мне было жить, как тебя «у допер» забрали? Ой, божечко мой! Та некому ж было и хлебца принести! Все ж отвернулись от бабци душегуба! Вот и стала на постой брать людей!

– Людей?! Где ты, старая, здесь видела людей? Где? Нема тут людей! Я тут вижу жидовку и «советку»! И чтоб до завтра их духа тут не было... Иначе... вместе с ними...

Девочки, одна бледнее другой, с ужасом уставились на дверь, готовую открыться в любую минуту. Первой опомнилась Дуся:

– Ну, и как ты здесь жила, Даша?

– Да это её внук из тюрьмы, видно, сбежал... Он убил тут семью учителей лет пять назад. Его судили. И никак не мог освободиться по закону... Он сбежал!.. Ой беда, беда на наши головы!.. Я хоть украинка из Житомира, всё равно для них – «советка». Ну, а ты, понятно...

– Надо идти к директору. Может, другую квартиру найдёт. Опасно оставаться здесь...

– Уже поздно... Давай завтра утром прямо в школе и поговорим...

– Давай!..

Но утро для Дусеньки так и не наступило. Когда «душегуб» с пьяной оравой в полночь ворвался в комнату к девочкам, Даша, спавшая у окна, успела выпрыгнуть в ок-

но... А Дусенька, говорят, не мучилась: сердечко разорвалось...

Весь городок наш оплакивал девушку. А их низенький домик словно бы совсем зарылся в землю. Никогда больше – ни зимой, ни летом – не распахивались настезь его окошки, не садились на скамеечку под окном ровесники даже соседских девочек. А младшую сестрёнку Дуси бедные старики-родители, кроме школы, вообще никуда не пускали...

Так вот и закончились для нас сталинские годы, за которыми пришли другие, со своими горестями и радостями, кода вернулись из мест столь отдалённых у одной сверстницы – отец, у подружки Шурки – дядя. У Люси в соседнем городке тоже «появился» дядя, с которым она познакомилась только студенточкой. Но это уже было другое время, а у времени – другие песни. Однако стоило приехать на каникулы и пройти мимо низенького домика, от которого брала начало её родная улица, убегавшая в далеко и маняще синеющий лес, как больно щемило сердце и сами собой выпевались чарующие звуки:

Студенточка! Заря вечерняя...

Под липами я ожидал тебя...



ЭТОТ ВЛЮБЛЁННЫЙ ЗИНГЕР

Я даже имени его не знаю – Зингер и Зингер. Да и мама, изредка, по секрету от золовки рассказывая о своей первой любви, не называла его по имени.

– Помню, – вспоминала её родственница тётя Нина, – приехали мы с Семёном из нашего Юрово в ваш Залевск на майские праздники и встретили тебя с Зингером в скверике. Знаешь, он мне тогда очень понравился: синеглазый, темноволосый, улыбочивый...

– Да он всем нравился – «красавчик Зингер», как весь городок его звал... А моя подружка Броня по нему вообще с ума сходила! Да мы с ним уже «условный вечер» готовили и сестёр наших пригласили. А другой родни у нас и не было – оба сиротами росли.

– Ну и что же вам помешало? – воскликнула тётя Нина.

– Да сама не знаю... Вроде бы и не ссорились... Но что-то не так пошло, когда он о свадьбе заговорил. Что-то во мне не вызывало радости предстоящее... Почему – не знаю... А тут вдруг появился Марк, и через месяц я уже была его женой.

– Ну, надо же... Быстро он тебя охомутил! А что же твой Зингер?

– А «моего Зингера» я женила на моей подружке Бронюшке. Вот уж кто был счастлив – так это она.

– А он?..

— Ну, ты ж сама понимаешь,, Он и на свадьбе был как потерянный... Но мы редко виделись: Броня десятой дорогой наш дом обходила... Всё боялась, чтоб мы с ним «назад не повернули»...

— А у тебя такой мысли не возникало: всё же вы года три встречались!..

— Да хоть бы и больше! И мысли такой не было! Как ножом отрезала прошлое...

— Да, помню... Ты ко мне в деревню таким смешным коlobком прикатила перед родами...

— Можно подумать, ты по-другому тогда выглядела!.. Рядом с Семёном вы такие милые были. Особенно в школе, где его обожали!

— Да. Это правда... Он прирождённый педагог, мой Семён...


— Я даже песенку-дразнилку учеников про него помню:

І шумить, і гуде,
Семен Якович іде.
А хто знае – той тікае,
Бо поставіць ДПГ*

Обе черноволосые, молодые, худющие, как девчонки-подростки, хохочут-заливаются.

Отсмеявшись, тётя Нина добавила:

— А потом ты меня на недельку опередила и родила свою Люську 9-го, а я свою Файку – 16 ноября... И мы не виделись всю войну.... Но об этом не будем...




– Всё же счастливая ты, Нинуля, – мама так и не научилась её детдомовской привычке звать всех на сельский манер, – Сонька, Бронька. Аська... Со дня на день ждёшь мужа с войны. И в войну не голодала: поварихой везде устраивалась и детей кормила... Вот и здесь, в голодном Залевске, повариха в столовой при лесопильне... Даже чашки золотые нашла на мосту вчера вечером! Десятки людей шли по мосту, никто ничего не видел, а ты вдруг из какой-то щёлочки вытащила эту красоту... Ты не думай, я не завидую, я просто удивляюсь: за что же я так обделена судьбой? Может, обидела кого?..

– Знаешь, Аська, я думаю, это Бог обо мне наконец вспомнил. Пожалел брошенную в приюте сёстрами в жутком 1918-м году двухлетнюю сироту... И с тех пор уже не оставлял меня...

– Так и я с шести лет без родителей. Правда, меня тётка вырастила. От детдома бог миловал... Может, это мне за несчастного Зингера?.. Вот нечаянно столкнулась с ним на той неделе, вернулся с фронта без единой царапины. Живой, здоровый, но победителем не выглядит: весь какой-то помятый, неухоженный, будто вдовец... А ведь Броня с сыном так его ждали ... Узнал, что у меня только извещение «Пропал без вести» за всю войну – даже лицом посветлел... Я тут же ушла. Не о чём нам разговаривать...

Так субботним вечером мама с тётей Ниной, сидя на перелазе, вспоминают свою довоенную молодость. Мы с Файкой напротив, на песчаной дороге, лепим домики каждая вокруг своей худенькой и загорелой ступни и делаем вид, что нас не интересует их беседа...



Пройдёт всего полгода, мама неожиданно заболит. Врачей в городке не было. А две крикливые сестрицы-фельдшерицы ничем не смогут ей помочь.. И она периодически приходила из больницы домой и обратно...

В тот день я торопилась домой из школы: маму должны были отпустить на время домой помыться, сменить бельё...

С порога я кинулась к кровати, но рядом с нею, на низком стульчике кто-то сидел. Он порывисто встал мне навстречу, но я не дала себя обнять: я сразу его узнала. Синеглазый, улыбчивый, с румянцем на худых небритых щеках. Неопрятный, хотя одет в чистое. Он успел меня погладить по голове. Я наклонилась к маме и спросила шёпотом:

– Мам, ты голодная? Давай я тебя накормлю чем-нибудь... Чаю согрею?


– Нет, доця, я не голодна. А вот ты возьми булочку с молоком, поешь. Дядя Зингер принёс.

– Нет, мамуль, не хочу, – я с трудом отвела глаза от булочки. – Лучше потом с тобой картошечку поедим...

Затем я уселась за стол у окна и открыла тетрадь по арифметике. Рядом сложила палочки для счёта, заботливо выстроганные для меня двоюродным братишкой из старой дворовой метлы.

Учебников не было, поэтому учительница надиктовывала нам домашние примеры и задачки прямо в тетрадки.

Что я там писала в ответах – вряд ли они были правильными: глаза мои исподлобья косились в сторону кровати, где на высокой подушке, закутанная в белую шаль, полулежала



ла моя мама, а рядом, на низеньком стульчике, сидел вполоборота ко мне «этот Зингер»... А мои ушки ловили каждый шорох и вздох, когда он поглаживал её слабую маленькую руку, угадывали мамин шёпот, что ребёнок всё видит, что уже вечереет, его ждут дома... А в тетрадке рядом с ответами расплывались сиреневые лужицы слёз после её прощальных и пророческих «вряд ли мы ещё когда-нибудь увидимся»...

С его сыном мы учились в параллельных классах, а потом он закончил школу ГВФ* в нашем городке и уехал по месту службы готовить к вылету самолёты. Пока мы росли, Зингер не объявлялся, видимо щадя чувства сына. Но стоило парню покинуть наш городишко, как в первый же мой летний учительский отпуск, то есть летние каникулы, его отец пришёл меня проведать. «Мамин Зингер» почти не изменился, только засеребрились виски да посветлела небритая щетина на щеках. Застенчиво отказываясь войти в дом моей тётушки, как правило уходившей со двора во время его визитов, он усаживался под вишнёвым деревом, не сводя с меня глаз и повторяя с лёгким астматическим придыханием: «Какая ты... Ах, какая ты стала, мэйделе*...»

Я, улыбаясь, ставила перед ним глубокую тарелку со спелыми сочными вишнями и стакан холодного компота из тех же вишен и пыталась вести светскую беседу. Мы разговаривали, как глухие, не слыша и не слушая друг друга, но видя одну и ту же картину: торопящийся к закату зимний день, бледные лучи холодного январского солнца освещают силуэт хрупкой маленькой женщины на высокой

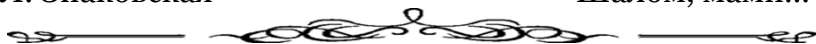
пуховой подушке и прильнувшего к её руке мужчины на низенькой скамеечке у её ног...

**ДПГ – «дуже погано»(укр.) – шкільна оцінка «очень плохо», равная единице.*

**ГВФ – Гражданский Воздушный Флот.*

**Мэйделе (иди) – девочка.*





САРАФАНЧИК С КАРМАНОМ

*Памяти Героя Советского Союза
Иосифа Дмитриевича Павленко –
человека добрейшей души.*


В это летнее утро тётушка не разрешила мне после завтрака бежать на речку, где мы с подружками усердно учились плавать уже второй месяц.

– Я тоже не пойду сегодня на поле: что-то небо немного хмурится, не хочется под дождь попасть. «Полям» у нас называли свободные участки земли за городом, которые раздавали владельцам маленьких огородов с тем, чтобы там, на поле, они посадили картошку. Это было отличным подспорьем семье в нелёгкие, полуголодные послевоенные годы.

– Но я не боюсь дождя, да и есть куда спрятаться: библиотека рядом, книжный магазин тоже, – возразила я.

– Не в том дело, давай побыстрее одевайся – пойдём в «Соцобеспечение».

Это магическое слово возымело действие: речь шла об отделе в горсовете, распоряжавшемся так называемыми «американскими подарками». Известная не только в США организация «Джойнт»* после войны собирала детскую одежду среди американского населения и предлагала её городским властям Украины и Белоруссии, куда после эвакуации стали возвращаться выжившие в голоде и холоде еврейские семьи. А ещё точнее, это была одежда



для еврейских сирот и многодетных семей. Но Советская власть оказалась на высоте: либо всем сиротам и многодетным семьям, либо никому. Разумное решение, конечно. Если забыть, кому досталось всё, что осталось в домах беженцев и расстрелянных во время оккупации...

Поэтому раз в год мне, чьих родителей отняла война, позволялось прийти в местный отдел «Соцобеспечения» и выбрать одну (!) вещь. Это могла быть юбочка, или платье, или пальтишко.

Тётя моя вечно искала что-то на вырост, а я не хотела выглядеть чучелом. Поэтому и рада была, и не рада этим походам. Но у меня уже были две красивые вельветовые юбочки на бретельках, и я решила подыскать что-то им в пару. А тётя по дороге меня настраивала на другое:

– Из шубки ты совсем выросла, да и не починить её уже, наверное. Значит, будем искать пальтишко. И никаких больше юбочек! Ты меня слышишь?

– Да слышу слышу, – нехотя отвечала я, мечтая о вязаной кофточке, как у Веры, или о плаще с пелеринкой, как у Женьки, моих одноклассниц...

Так, потихоньку ворча друг на друга, мы пересекли часть стадиона, примыкавшую к нашему забору, вышли к началу улицы Дзержинского, обогнули немислимой высоты памятник вождю «всех времён и народов» и нырнули в первый переулок, а в последнем его доме и находилось это самое «Соцобеспечение»...

Тщательно вытерев о мокрую мешковину пыльные подошвы своих растоптанных тапок, я потихоньку

постучалась в дверь.

– Прошу, прошу, заходьте, будь ласка, – раздался изнутри приветливый мужской голос на певучем украинском.

И я обрадовалась, что сейчас увижу его, нашего героя, единственного в городке настоящего Героя Советского Союза Павленко!..

Тётя легонько толкнула дверь, и мы обе оказались в плену его белозубой, сияющей улыбки на смуглом, почти юношеском лице. Наверное, ему было не более 25 лет, учитывая его участие в войне, в одной из самых опасных и тяжёлых операций по освобождению Украины – форсированию Днепра – за что и был удостоен этой самой высокой награды. (Позднее, став учителем истории и литературы, я неоднократно излагала старшеклассникам об этих событиях 2-й Мировой войны и всегда с гордостью добавляла, что лично была знакома с одним из истинных Героев этой операции – Иосифом Павленко).

Он стоял у окна, опершись руками о подоконник, и широко улыбался нам навстречу. Пряди густого чёрного чуба свободно ниспадали на лоб, тёмно-карие глаза приветливо искрились. А на груди, на полосатой планке, сверкала Золотая звёздочка Героя.

– Оце так гості! Вітаю, вітаю! Щось давненько вас не було видно...

– Здравствуйте, Иосиф Дмитриевич! – по-русски следом за тётушкой здороваюсь я.

– Здоровеньки були, дівчата! – ещё шире улыбнулся хо-

зьяин кабинета.

Тётушке явно нравится это приветствие, хотя по мне она уже «пожилая» в свои сорок с небольшим...

А меня, как обычно, ослепляет и обезоруживает его улыбка. Я не могу оторвать глаз от этого по-цыгански красивого лица. Тётушка между тем, не теряя времени, уже ходит вдоль рядов вешалок и внимательно рассматривает аккуратно висящую на плечиках одежду.

Иосиф Дмитриевич оттолкнулся от подоконника, при этом будто тень пробежала между густыми, пушистыми его бровями: позднее я узнаю, что ранение в позвоночник было причиной постоянных болей, и ему трудно было и стоять, и сидеть... Приобняв за плечи, он ведёт меня к тётушке, которая уже сняла с вешалки и внимательно рассматривает какую-то вещь.

– Вот, по-моему, очень тебе подойдёт, детка, а? – она, почти заискивая, говорит со мною, потому что здесь можно брать только то, что нравится ребёнку, и нельзя ничего ему навязывать.

Мне нравится то, что у неё в руках: совершенно новое, даже с бирками, пальтишко серо-синего цвета «в ёлочку», на шёлковой блестящей подкладке. Явно мой размер – не на вырост! Рукав закрывает не всю ладонь, а доходит лишь до большого пальца. И длина годится – чуть пониже коленок. Строгое, на пуговицах под самую шейку, со «сталинским» воротником.

Оба вертят меня из стороны в сторону. Иосиф Дмитрич даже цокает языком в знак одобрения.

— Наче на тебе шито, дитино!*— восхищённо приговаривает он.

Я и сама вижу, что лучшего и не надо. Правда, тётя моя сокрушается, что оно не тёплое, не зимнее, а так называемое «демисезонное», но теплее всё равно ничего нет...

И тут произошло нечто... Лучше бы они меня не вертели, так что я сквозь приоткрытые глаза различала только яркие пятна на вешалках вокруг. Вот и увидела это ярко-розовое пятно прямо перед собой на вешалке – сарафанчик цвета фуксии с большим карманом в форме сердечка. Я так и прикипела к нему, машинально сбросив на руки тётке новое пальто и, как во сне, пошла вперёд, забыв обо всём. Подпрыгнув, сняла его с вешалки. Приложила к себе – мой размер, мой любимый фасончик – присборенная в талии «татьянка» и широкий вырез горловины. Но главное не это! Главное – карман на правой половине юбочки, большой, будто две моих ладошки вместе образовали это сердечко. А на нём – яркие пятнышки фруктов и овощей, знакомых и невиданных, вырезанных мастерски из разноцветного мягкого сукна и прикреплённых так, что их можно было и потрогать, и погладить, и понюхать... Изумрудные огурчики, алые яблочки, лиловые сливы и тёмно-красные вишенки... А там что-то ярко-жёлтое прогибается, и душистый горошек обвивается вокруг арбуза и дыньки... И ещё, и ещё, и ещё...

Я всё любовалась на это сокровище и не замечала примолкшего хозяина кабинета, не замечала расстроенной

тётушки, в глазах которой уже закипали слёзы... При этом я не выпускала из рук эту яркую тряпку, от которой – ну! – никакой пользы...

Что делать? Приказывать нельзя, вразумить невозможно...

Повисло недолгое молчание.

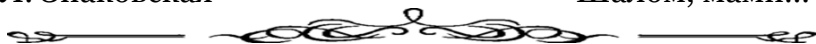
– Эх, была – не была! – вдруг по-русски воскликнул наш герой. – Семь бед – один ответ! Забирайте и то, и другое. И носите на здоровье!

Махнув рукой, он сел за стол и стал записывать в конторскую книгу мою фамилию, имя и отчество.

**«Джойнт» – еврейская американская благотворительная организация, действовавшая по всему миру по мере необходимости. В СССР помогала с 20-х годов прошлого столетия. Запрещена в 1950 году во всех странах социалистического лагеря, кроме Румынии.*

** Нече на тебе шито, дитино (укр.) – Будто на тебя шито, детка!*

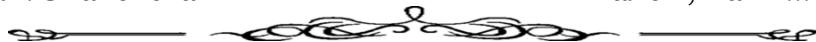




Цикл 3

ИЗ ДНЕВНИКА
УЧИТЕЛЬНИЦЫ





ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ, ИЛИ «НАД НИКОЛАЕВКОЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО»


«Над Николаевкой безоблачное небо», – пелось откуда-то оттуда, где скрывался тот неизвестный никому, кроме Риты, её тайничок-родничок. «Ну, да, и над всей Испанией тоже», – насмешливо заметил суровый страж этого родничка, обычно помалкивающий поначалу... «Вот досада, – согласилась девушка, – а так мило вроде бы начинается:

*Над Николаевкой безоблачное небо,
И путь далёк. А по краям – стога
Сухого сена. Пахнет свежим хлебом,
И мне дорога эта дорога.*

«Ну-ну!» – хмыкнул стражник не то насмешливо, не то одобрительно и надолго умолк: вздремнул, видно, под ровный перестук Ритиных новых «танкеток».

А путь, действительно, далековат, да и незнаком – в Новосёловку, что от дома деда Мухина, где Рита, начинающая «учителка» из Крыма, полмесяца назад сняла комнату, находилась километрах в десяти!

Это Андрей Леонтьевич, директор школы, подводя итоги первого дня занятий, потребовал немедленно выяснить причину отсутствия Ивана Лаврецкого на уроках в 9-м классе, где отныне Рита, то есть Маргарита Марковна, честь имеет быть классным руководителем. И на её вопрос, не подскажет ли он, как ей добраться до Новосёлки, где



живёт этот юноша, ответил, не раздвигая седеющих бровей:

– Ваша проблема!

– Будем решать! – в тон ему она щёлкнула каблучками и, не попрощавшись, вышла.

Школьный двор был уже пуст, только под окнами канцелярии, у красной кирпичной стены, ещё стояло с пяток «великов», видно, учительских. А когда утром, за полчаса до торжественной «линейки», Маргарита Марковна впервые пришла на своё учительское «1-е сентября», она даже растерялась, туда ли пришла: школьный двор напоминал скорее велодром или велотрек. Несколько сот велосипедов от «Малютки» до гоночного «Спортивного» ровными рядами стояли вдоль всего школьного забора, вокруг школьного здания и у служебных помещений. Но вот уроки кончились, и их как будто повымело...

– Жаль. Разъехались мои ребята, и посоветоваться не с кем...

Рита, сокращая дорогу домой, шла через кладбище, по протоптанной школьниками тропке между могил с простыми деревянными крестами, отметив про себя, что почти привыкла к этой дороге за пол-августа ежедневной ходьбы туда-сюда, на работу и с работы.

Груня Ивановна, старая, но удивительно статная и красивая хозяйка, встретила её особенно приветливо, зная, что этот день значит для её жилички: всегда сдавала парадную комнату учителям, но сегодня Рите некогда было отвечать на её вопросы. И она сослалась на хозяина – школьного

завхоза:

– Михалыч расскажет, а мне – в Новосёлровку ещё сбегать, а то назад по темноте боюсь...

– В Новосёлровку?! Пешком?! Ой, божечко! Да это ж так далеко!

– Ничего, бабуня Груня, может, кто подберёт по дороге, – торопливо жуя бутерброд с огурцом, бубнила девушка. Успела, правда, снять нарядное платье и туфли на каблучках. Надела простую сиреневую блузку и сарафанчик, перешитый ещё из школьной формы. В нём Рита чувствовала себя такой лёгкой, спортивной, подобранной. И новые босоножки, купленные на последнюю стипендию специально для деревенской жизни – без каблучков, на низкой «танкетке» – плотно облегли ступни, как спортивные тапочки.

– Отлично!.. Вот так, Андрей Леонтьевич! – она притопнула от удовольствия на порожке. – Я Вам не Ганна Панасовна и не Надежда Архиповна, что и духа Вашего бояться!.. На цыпочках мимо кабинета крадутся!.. Я докажу Вам!..

Деревенская улица была пуста: взрослые на работе, а детвора звенела голосами во дворе детсада. Те, что постарше, «управлялись» по хозяйству... Молоденькие тополя шагали рядом, почти в ногу. На сердце словно бы опускалась знакомая волнующая прохлада...

А там, вдали, где серебрятся ивы,

Где зеленью покрыты берега...

Она прислушалась: старый ворчун молчал – значит, что-то получается. Только бы не сбиться с ритма и передать

это состояние и радости, и печали...

Меня встречают, головой кивая...

«Ну, и кто ж тебя там встречает так, что ты о рифме забыла?» – вот он, тут как тут, и прав, как всегда!

Меня уже никто не ждёт, наверно...

«Только без слёз, пожалуйста, – он явно издевался. – А рифма так и не появилась. Уж потерпи до вечера...» Рита предпочла не связываться, хотя он ошибся: рифма была и неплохая. И вообще, вторая строфа уже выпевалась изнутри:

А там, вдали, где серебрятся вербы,

Где зеленью покрыты берега,

Меня уже никто не ждёт, наверно,

Но мне дорога эта дорога.

«Эй, хитрюга, – он весело подначивал её, – а где же ивы?» «Какие ивы? – она искренне удивилась, – мы же на Украине!»

«Вот то-то же, наконец, до тебя дошло!» – самодовольно проворчал стражник и успокоился. Девушка только головой покачала: что взять со старика!..

Так, незаметно дошла до центра Николаевки, значит, километра два скинула с ног долой! Дальше, по другую сторону трассы, идущей из Новомосковска, всё ещё тянулись улочки объединённого колхоза. Только у перелазов стояли – каждая у своего – бабульки, облокотясь на заборчик, и вдогонку спрашивали:

– Чья ж ты будешь, доню?

– Деда Мухина, – отвечала, не останавливаясь, только

улыбаясь следующей соседке.

– Учителка, что ли?

– А то ж! – отвечали уже за девушку сами старушки.

– Такая малая, а поди ж ты! – неслоьсь вдогонку...

Вот и ещё километра два остались позади. Дед Мухин велел никуда не сворачивать, идти прямо по утопанной грунтовке, если никто не подвезёт.

– А если стемнеет, Михалыч, что делать? Боюсь в степи заблудиться.

– А ты поглядывай на столбы электрические... Вот их и держись.

– Только близко не подходи, доню, а то наступишь невзначай на оборванный провод, как учительница из Губинихи, – перебила взволнованная хозяйка.

– И что?..

– А ничего... Наутро ученики ехали на «великах» в школу и нашли... Царство ей небесное. К доктору шла, говорят, зубы лечить...


«Ничего себе напутствие перед дорогой! – вспоминала Рита, оставляя позади Николаевку и оглядывая безбрежную, ровную «степь да степь кругом», с перепаханными кое-где полями, с желтеющими издали огрызками стерни после жатвы.

– «Так вот почему ни один грузовик не обогнал меня, – вслух подумала Рита, здесь уже всё убрано!.. Ладно, лучше вспоминать, как сегодня уроки прошли. Вроде бы неплохо. С пятиклашками – как в сказке: глаз с меня не сводили, пошевелиться не смели, пока не скомандовала:

— Ну-ка, дети, ручки в ручки, нос в тетрадки – пишем...

Спокойно, ровно, строго всё прошло в шестом и седьмом. Правда, этот Остроух из 7-го что-то всё дёргался, кривлялся, шептал на ухо соседу, хихикал... Ну, да разберёмся как-нибудь. На практике в институте и не такие попадались... В «родном» 9-м, как и хотела, провела не урок, а классный час. И хотя за пол-августа о своих ребятах узнала немного от коллег, почитала «Личные дела», а с некоторыми встретилась в школе, всё же расспросила каждого о семье, о любимых уроках. О себе несколько слов сказала, а потом – о главном, о том, что им предстоит в этом году изучать самый замечательный курс литературы от Гончарова до Чехова... А под звонок почитала им Тютчева, Фета и «Утро туманное» Тургенева. Так хорошо слушали... И лица такие красивые. «Нет, правда!.. И у девочек, и у мальчиков... Вот в 10-м мальчики понравились, а девчонки в ярких ситцах – ни дать, ни взять матрёшки!.. Всё-таки форма школьнице к лицу! У моих двух-трёх форменные платья – совсем по-другому девочки смотрятся... Однако странно: на дворе уже 1960-й, всё лето ребята работали в колхозе, на руках у каждого хорошие, дорогие часы. А школьное платье купить не могут?.. И экономно, и красиво, и зимой не холодно... На первом же собрании родителей поговорю об этом... Ой! А страшно как-то представить себя, девчонку, перед родителями!.. С Лаврецки-ми-то совсем скоро увижусь...»

И в это мгновение перед ней, как на ладошке, появилась Новосёловка, точнее её начало. Зелёная, тенистая, с чи-



стыми, побеленными хатками, с распахнутыми голубыми ставенками. У первой же калитки ей подсказали, что Ванько Лаврецкий «тут, недалечко», через три дома. Рита заторопилась и вскоре, облаянная дворовыми шавками, стояла у забора, за которым тянулись аккуратные грядки овощей и прогибались под тяжестью яблок несколько «антоновок». А в глубине подворья возвышался стог, на верхушке которого худенький темноволосый хлопец, умело орудуя вилами, укладывал сено. Рядом – никого.

– Вы Ваня? – окликнула его учительница.

– Ну? – вопросом на вопрос, смутившись от обращённого к нему взрослого «Вы», ответил парнишка.


– Что ж Вы уроки пропускаете?.. Я Ваша классная руководительница. Вот пришла узнать, не случилось ли с Вами чего...

– Ой, да, честно говоря, я в этом году не собирался учиться. Хотел маме, бабушке помочь: трудно им... Ну, раз такое дело, – он помялся. – Спасибо, что пришли... Я тогда завтра, если можно...

– Вот молодец! – обрадовалась Рита. – Жалко, если бросите! Я видела Ваш табель – без троек... Всего год – и среднее образование. Аттестат зрелости. Понимаете?.. А дальше – как захотите, как сложится... Значит, я так и передам директору – придёте, да?..

Ваня, всё ещё стоя на стогу, смущённо кивнул, отбрасывая со лба длинную прямую прядку.


– Ну, тогда я побежала, а то уже скоро шесть, а мне ж далеко.



– Нет- нет! Подождите! – он ловко скатился со стога и торопливо открыл калитку. – Не стоит Вам сегодня возвращаться. Посмотрите, скоро дождь, может, даже гроза. Вы не успеете в Николаевку пешим ходом! У нас переночуете, а с утра пораньше вместе и пойдём. Сейчас мама корову подоит, молочка парного попьёте...

– Нет, Ванечка, спасибо, я домой... Завтра у меня уроки – надо готовиться! Может, проскочу до дождя... А маме с бабушкой – привет от меня, – это уже на ходу, с опаской глянув на снижающееся небо.

Ещё полчаса назад такое ясное, приветливое, оно будто разбушевало, нагоняя страх... Километра полтора она то бежала, то шла быстрым шагом, да и ветер, откуда-то взявшийся, гнал в спину. А потом её просто накрыло дождём посреди голой, бескрайней степи. И в один миг исчезла плотная, тёплая, добротная грунтовка, а вместо неё из-под ног уходило что-то вязкое, склизкое, на чём не только ходить – устоять было невозможно... И вдруг это мгновенно ставшее чужим и недобрым небо расколосось надвое, и Рите показалось, что она ослепла и оглохла одновременно. Девушка в ужасе закрыла глаза, а когда открыла, было так темно, что и вправду испугалась слепоты. Но сквозь сплошные проливные потоки, в грохоте грома и ослепляющих вспышках молнии разглядела-таки справа от себя столбы с белыми фарфоровыми чашечками наверху. С трудом отрывая разъезжающиеся при каждом шаге подошвы босоножек, медленно побрела вперёд, стараясь не приближаться к столбам.

- 
- Трра-ра-раррах! – охнуло у самого уха.
 - Маа-ма! Мамочка родненькая, голубонька, спаси меня!..

Рита не узнавала собственного, захлёбывающегося от ливня и слёз голоса. Она плакала и кричала на всю степь. А вокруг ни огонька, ни деревца, ни кустика...И снова змеевидная жёлто-зелёная трещина полоснула сверху вниз, достав до самой земли, а следом орудийными залпами ударило совсем близко. Но девушка уже боялась закрывать глаза, чтобы с перепугу не пойти в обратную сторону. Не сразу она почувствовала, что идёт босиком, потому что уже не шла, а ползла на четвереньках по этому прославленному, жирному, украинскому чернозёму... Но ливень не стихал, а взбесившаяся молния никак не могла разорвать этот чёрный мрак неба, которое отвечало ей непрерывным звериным рыком.

И Рита не умолкала ни на миг. Ей казалось, что если она замолчит, её просто не станет, её вобьют в это чёрное, как дёготь, месиво мощные, жестокие струи воды. Вода была везде, даже в носу и в ушах, а длинные мокрые пряди волос, из которых выпали и потерялись все шпильки, облепили шею и спину и больно стянули лицо.

– Боже мой! Мамочка! Что ж это такое?! Сколько можно меня мучить?! Помогите!.. Кто-нибудь...

Её крик тонул в непрерывных раскатах, а при молниеносных озарениях она краем глаза успевала разглядеть очередного деревянного «попутчика», чтобы не сбиться с дороги, но держась от него на расстоянии.

– Господи! Ведь рассказывали же мне об этих страшных степных грозах!.. Что ж я не прислушалась?!.

Рита вспомнила, что, копаясь в каких-то списках учеников школы, она увидела против многих фамилий в графе «Родители» только фамилию и имя отца. Имя матери почему-то отсутствовало. «Отца нет – куда ни шло: разошлись, бросил... Но матери куда делись?» И ей рассказали о сельской трагедии, случившейся несколько лет назад в поле, где работала бригада колхозниц. Началась гроза, и работницы укрылись от ливня в шалаше, здесь же, на поле... Сюда и ударила молния... Погибли все двенадцать женщин. А у каждой дети. У кого трое, у кого четверо, а у одной – семеро сирот осталось...


...Рита держалась изо всех сил, но они были явно на пределе. Кричать уже не могла, только сипела и подвывала, не поднимая головы:

– Боже мой! Боже мой! Когда же это кончится? Нет моих сил больше, люди добрые, по...

– А кто ж это так горько плачет? Кто ж там так красиво причитывает? А, доню?

Рита оторвала глаза и руки от земли и увидела себя на краю села, у первой хаты Николаевки, где за перелазом всё так же стояла одна из бабулек и с ласковым любопытством всматривалась в неё...

Дождь, оказывается, уже не лил, а сеялся, даже едва капал и просто на глазах стихал. Молния ещё вспыхивала где-то на горизонте, а гром уже только ворочался-ворчал, огрызаясь и грозя кому-то вдалеке.



Девушка не могла промолвить ни слова, только длинно всхлипывала, уже без слёз, как горько обиженный ребёнок.

– Так ты мухинская учителка, дитятко? Да? Откуда ж ты в такую непогоду?

– Из Новосёловки, – только шепнула безголосо.

Старушка всплеснула руками, отворила калитку и дотронулась до мокрого дрожащего плеча девушки.

– Иди в хату, иди скоренько! Ты ж замёрзла совсем!

Но та только головой мотала: нет, нет, ей надо домой.

Тогда старая женщина решительно сняла с себя большой суконный клетчатый платок, обвязала им промокшую до нитки «дытынку», которую до сего дня и в глаза не видела, и успокоила её:

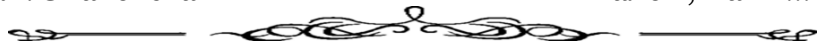
– Раз надо – иди, доню... А за платок не бойся: дед Мухин на базаре в воскресенье мне отдаст...

Рита не помнила, как шла ещё три-четыре километра по селу, чавкая в темноте босыми ногами по лужам. Но всё ещё звучал в ушах ласковый, певучий говорок, и было так уютно в этом тёплом колючем платке, плотно обхватившем её под мышками. Это наружное тепло шло, казалось, к самому сердцу, и там ему открывалась та потайная дверца, за которой жили и радость, и печаль, и смятение, и уныние... Не называя себя, они выплёскивались наружу в словах удачных и спорных, грустных и нежных, иногда просивших мелодию, как и сегодня:

От української мови – к російській речі

Мне любо каждый день перебежать...

Как праздники и те, и эти встречи,



И мне дорога эта дорога...

И когда она, наконец, ввалилась в тёплые голубые сенцы мухинского дома, в её комнате на полу уже стояло оцинкованное корыто, полное горячей воды, и Груня Ивановна сама раздела её и долго мыла, как в детстве мама, приговаривая, что ни у кого на свете нет таких шёлковых кос...

А над Николаевкой после грозы сверкало чистыми серебряными звёздами бескрайнее безоблачное небо.



ТЕТРАДИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

А дожди расходились не на шутку. Ясных дней как не бывало. Днём и ночью с неба то лило, то сеялось мелкое, чуть примороженное крошево. По утрам хозяйка Груня Ивановна, предварительно постучав в занавешенную стареньким тюлем стеклянную дверь, будила молодую учительницу:

– Вставайте, Рита Марковна!.. А то на дворе сегодня «мжичка», «калюка» – коротким путём до школы не дойдёте... Ой, «мжичка», ой «калю-у-ка»...

И от этого протяжного, тягучего «калю-у-ка» Рите хотелось ещё плотнее натянуть на голову одеяло, ещё глубже зарыться в большую мамину подушку, привезённую с собой в деревню...

Но уже через полчаса в ярко-красном прозрачном плащике поверх пальто, в такой же косынке, в резиновых сапожках и с тяжёлой сумкой, полной тетрадей, конспектов и томиков стихов, шлёпала она по лужам, по краю размытой дождями дороги, делая большой крюк до школы. Короткий путь представлял из себя тропку, бегущую то вниз между грядками соседских огородов, через неглубокий ручей, то вверх, петляя между могилами старого кладбища, на которое выходили окна школы. Эта тропка в дождь и непогоду просто исчезала из виду...

С неба сеялась та самая «мжичка» – изморозь, как перевела для себя Рита. А вот что такое «калюка», одним сло-

вом вроде бы не скажешь: грязь, лужи, мелкий, нудный дождик...

– А впрочем, может быть, слякоть?.. Точно! – обрадовалась находке девушка.

Она обожала диалектологию ещё в институте, а здесь, в украинской глубинке, где по-русски говорили только она и радио, Рита наслаждалась, купалась в роскоши сочной, богатой, образной украинской речи, в её певучих, тягучих переливах, в юморе переосмысления некоторых слов.

– Лёша! – обратилась она вчера к Чернышу, заглядывающему через её плечо в журнал. – У тебя сегодня так хорошо волосы причёсаны. Обычно, как у ёжика колючего, а сегодня, как на картинке!

– Ну, Рита Марковна, – вмешался вездесущий Антось Смачненький, – Вы просто угодили нашему Лёшке – похвалили его «политику»!


– Какую политику? – с недоумением спросила классная руководительница. – Причём здесь политика?

Лёшка смущённо поглаживал свой чубчик, не умея объяснить, а Олеся Зайчик, смеясь, растолковала:

– У нас тут, Рита Марковна, в наших краях, политикой называют причёску мужскую: волосы, зачёсанные назад, как у газетных политиков...

– Удивительно! – восхитилась учительница. – Никогда бы не додумалась!.. Да у вас тут языкотворцы какие-то живут!..

За размышлениями она не заметила, как дошла до высокого крылечка одноэтажной краснокирпичной школы. Ря-



дом стояли корытца с водой, в ведре – кляпы на палках, чтобы помыть сапоги. И ученики, и учителя ловко очищали обувь от грязи, торопясь на уроки. А дежурные, стоя в дверях, поторапливали их и следили, чтоб какой-нибудь грязнуля не проскочил.

Ласковая, улыбчивая Надежда Архиповна помогала своим первоклашкам, которые больше обливались и пачкались, чем очищали свои «чоботки».

– А ну, Ганнуся, поворачивайся живее!.. А ты, Толик, что стоишь – сон досматриваешь?.. Давай! Давай!.. А то нас и в школу не пустят!.. Ой! Гляньте – наш Санёк бежит, аж перекидается! Весь, как мышонок, мокрый! Да успел, успел!.. В первый раз за всё время не опоздал!..


От неё веяло духом домашнего тепла, уюта. Полная, широкобёдрая, она при этом удивляла какой-то молодой природной грацией. К ней тянулись не только малыши – не забывали и бывшие её «пестуны»-старшеклассники...

С Ритой Марковной их связывали особые отношения – шутливо-влюблённые:

– Где тут моя лялечка? – громогласно вопрошала она, входя в небольшую учительскую и тут же наполовину заполняя её собой. – Где тут моя крымская роза?!

– Я здесь, королева-матушка, к Вашим услугам! – бросалась к ней Рита, помогала снять мокрый дождевик и набросить на плечи большую украинскую шаль, чёрную, в розах. Потом приглаживала светлые косы, веночком обвивавшие круглую головку с ниточками седины на висках.

Не всем нравилась их взаимная симпатия: местные учи-



теля трудно свыкаются с приезжими. Да их и можно понять: бывает, приезжают не поработать, а отработать!.. Отработать – как сбросить груз с плеч долой. А ведь речь идёт о детях, о живых людях...

– Маргарита Марковна! К директору! – это молоденькая секретарша, а по совместительству пионервожатая Олечка окликает её.

– О Господи! Что это он с утра пораньше? – заволновались коллеги.

Рита всегда удивлялась подобной реакции: надо же так запугать свой коллектив! А ведь книжечей, умница! Такой великолепной украинской литературной речи ни в одном учебнике не сыщешь! Что за раздвоение натуры!..

Совершенно спокойно вошла она в кабинет, подошла к столу – не стала топтаться у дверей в ожидании приглашения.

– Доброе утро, Андрей Леонтьевич! Какое-то срочное дело? – и, не дожидаясь ответа, продолжала. – Мои все в классе. Надеюсь, ни в Новосёловку, ни в Губиниху сегодня идти не придётся? – намекнула на его не лучший педагогический приём по воспитанию кадров, когда в первый рабочий день в её жизни, после уроков, отправил её пешком за десять километров по делу, с которым за час на велосипеде справился бы любой старшеклассник...

– Присаживайтесь, Маргарита Марковна! – на этот раз он не только не хмурил брови, но почти улыбнулся.

– Если разрешите, я постою, а то у меня урок в 10-м! – вежливо возразила, строго и чинно держа журнал под



мышкой.

– Ладно. Никуда Вас никто не посылает, коллега. Тут звонила из РОНО Катерина Игнатьевна, чтоб к концу недели ей привезли Ваши тетради по развитию речи в 5-м классе. Они нужны ей на семинаре. Хвалила Вас очень...

– Спасибо Вам за добрую весть, Андрей Леонтьевич. Тетради мне сегодня нужны, но через день будут готовы. Только кто их в район доставит? Я не хочу пропускать уроки: из-за уборки картошки и так в программу не укладываюсь. А в свой свободный день хочу отоспаться...

Директор даже головой покачал: не привык к такому самоуверенному поведению подчинённых. Но возразить было нечего – кругом права!

– Ладно! До конца недели есть ещё время. Подумаем. Идите на урок.

Вышла спокойная, как и вошла, под густыми ресницами пряча победный огонёк: знай наших!..

– Ну, что, Марковна? За что он Вас на ковёр? – кто взволнованно, а кто и с ехидцей выпрашивал в учительской.

– За красоту! – ляпнула вдруг Рита, неожиданно вспомнив фразу из какого-то фильма. Все засмеялись, облегчённо вздохнув, и только Мария Емельяновна, ревниво глянув на молодого мужа-физрука, ядовито прогудела:

– Подумаешь, красавица-раскрасавица!..

– Молодец, моя лялечка! Не сдавайся! – это Архиповна уже с конца коридора, где малышей классы.

– Всё! Всё! Разошлись на уроки, товарищи! Был звонок!
– завуч Медведко суетливо мельтешил и блестел своей лысиной повсюду...

Маргарита Марковна секунду помедлила у двери: за нею так тихо, что кажется, будто там уже идёт урок.

– Доброе утро, дети, садитесь.

Пятиклашки, тихо и чинно стоявшие между рядами парт в ожидании учителя, молча наклонили в знак приветствия свои русые и белокурые головки и сели, стараясь не стучать крышками старых парт. Рита ласково улыбнулась:

– Молодцы! Хорошо к уроку подготовились! – она осмотрелась: доска блестит, и на ней чётко выведена дата. А на партах лежат тетради в зелёных обложках – по развитию речи, в отличие от розовых – для контрольных работ.

– А кто мне напомнит, чем мы сегодня будем заниматься?

В ответ взметнулся лес рук. Вот это да!.. Рита внутренне ликует.


– Будем подбирать разные слова к сочинению о родине,
– зататорила краснощёкая Катюша Барилко.

– А точнее?

– Будем собирать материал о земле родного края.

– Верно. Понятия «Родина» и «земля» очень близки по смыслу. О слове «Родина» мы говорили в прошлый раз, и вы такие хорошие стихи и песни прочитали. Молодцы! А сегодня поговорим о земле. О планете Земля будем говорить?

– Ой, как интересно! Будем! Будем! – это подскочил Са-



ня Беспалько по прозвищу «Спутник», непоседа с остриженной «под ноль» головой.

– Конечно, интересно. Но у нас всего 40 минут. – Рита посмотрела на свои часики. – Успеем мы связать нашу Николаевку с планетой Солнечной системы?

– Нет, не успеем...

– Значит, о планете в другой раз. О какой же земле пойдёт у нас разговор?

– О той, на которой мы родились, – тихо и неуверенно прошептала Веруня Пименова.

– Верно, девочка моя. Поэтому как мы её называем?.. Если мама тебя родила, она какая, твоя мама?

– Родная... Родная земля! – сначала выдохнул, а потом выкрикнул с места брат Сани – Лёнька, ещё недавно прогульщик и второгодник, а ныне довольно «авторитетный товарищ» в 5-м классе.

– Молодец, Лёньчик! Но посмотри: твой младший братишка тоже, глядя на тебя, собирается с места что-то закричать!

Лёня молча погрозил Саньке кулаком. Ребята дружно рассмеялись.

– Итак, родная земля, потому что мы на ней родились. А вот у Валентинки папа был военным, и она родилась далеко отсюда. Потом они вернулись, потому что папа её демобилизовался. И девочка растёт вместе с вами. Так что – может, Николаевка не её родная земля?..

Ребята молча мнутя, поглядывая на свою отличницу, не зная, что сказать: вроде бы не чужая им Валюшка Борисен-

ко, а против факта не попрёшь!

– А что скажет сама Валентинка? – учительница подошла к окну, у которого сидела девочка, очень спокойная, какая-то не по возрасту серьёзная.

– Я думаю: всё равно родная, потому что здесь родился мой отец, родились дедуня и бабуня, – как о чём-то давно решённом объяснила она друзьям.

– Молодчина! Очень правильно!.. А какие ещё эпитеты к слову «земля» подходят?

– Святая земля! – это тайная любимица Риты – Веруны.

– Ух ты! Как здорово сказано! А почему так говорят, ребята?

– Это церковники говорят, попы всякие! – зашумели мальчишки.

– Неправда, дети, не только верующие люди... Так говорят и поэты, и художники, и, вообще, люди в особых случаях. Когда?

– Когда прославляют её в стихах и песнях, например... Или по радио передают речь... – рассуждает вслух Валя.

– Ага! Как Андрей Леонтьевич на линейке 1-го сентября!

– Да, ребята, нам с вами очень повезло: такое слово о родной речи и по радио не услышишь! Помните, как он сказал: «Повитая славой, святая земля...» А были случаи, когда вы это почувствовали? Эту святость?

Дети притихли, вспоминая, перешёптываясь. Но вот на задней парте неуверенно приподнимается рука. Встаёт девочка-переросток. По-русски ни слова. Но в переводе это,

примерно, звучит так:

– Когда хоронили мою бабусю, её закопали в землю... А все люди обходили могилу и три раза бросали в неё жменьку земли. И я тоже бросала...

– Как хорошо ты рассказала, Галочка... Даже мы все сейчас почувствовали эту святость в твоём горе и понимаем тебя...

– А когда нашего Миколу провожали в армию, мама дала ему с собой мешочек с землёй, на шнурочке, маленький такой, вышитый ещё её бабусей, чтоб он носил на шее, – снова не выдерживает и вскакивает с места Санька-непоседа.

– Ага! Только он на шее не носит – он же комсомолец! – защищает старшего брата Лёньчик. – Он в забобоны не верит!


– Одно другому не мешает, – примиряет братьев Маргарита Марковна. – Мама ваша понимает, что вдалеке эта горсточка земли будет напоминать сыну о родном доме. И неважно, на шее он её носит или в кармане... Молодцы, братья, очень красивый пример из жизни нашей... А кто знает легенду, из чего Бог сотворил первого человека?

Опять лес рук:

– Я, я, я знаю...

И льётся пересказ библейской притчи устами пионеро-безбожников, втайне окрещённых бабками, так и не признавшими дарвинское учение...

– А почему говорят о земле, что она полита кровью?..



И снова дети рассказывают Рите Марковне о своих героях-односельчанах, о своих дедах и отцах, воевавших здесь, у Днепра... А она, сопереживая каждому, помогает им сделать краткие и яркие записи, работая у доски...

В конце урока дежурный положил перед ней стопку тетрадей, и учительница вспомнила, что ей надо отправить их в РОНО не позже пятницы...

После уроков неожиданно ярко прорвалось солнышко, и дорога стала подсыхать. А наутро, тоже светлое и солнечное, зашла за ней Катруся, внучка хозяев, и обрадовала тем, что можно уже пройти огородами – подсохло, а через ручей вчера вечером какие-то хлопцы проложили «мосточек»...

Этот ручей был камнем преткновения. Летом его куры вброд переходили, либо он вовсе пересыхал, а в пору осенних дождей так разливался, что и в сапогах не перейдешь – вода выше колена, да и шириь раздавался!

– Что же там мои мальчишки соорудили? – Рита была уверена, что это её девятиклассники. Но очень удивилась увиденному: это была не просто кладка – доски на столбиках. Это были два больших полукруга арматуры, с приваренными к ним её же отрезками, а поверх них укреплены дощечки – такой романтический горбатый мостик над ручьём – почти мечта Манилова...

– Катруся! А мы не свалимся?

– Давайте руку, Рита Марковна, раз-два и ещё раз-два – вот и всё! Да тут шагов семь – не больше, – учила её третьеклассница Катруся.

А дорога вместо сорока минут заняла всего пятнадцать.

– Ай, да хлопцы у меня! – восторженно рассказывала она в учительской.

– Ошибаетесь, голубушка, – возразил с улыбкой физрук.

– Не только Ваши, но и десятиклассники-интернатовцы тоже помогали такую махину тащить, а сварил вообще выпускник – подмастерье кузнеца... Но идея, конечно, Ваших пацанов... Для Вас старались...

Рита вся зарделась и заторопилась в класс к своим ребятам.

...Три дня было солнечно и сухо, и мосточек этот уже с налёту одолевался Ритой. Но на четвёртый, в пятницу, с утра полило, а в этот день завуч Медведко отвозил её тетради в Новомосковск. Вернее, должен был отвезти, потому что везти их было уже нельзя, нечего было везти...

В это утро Рита, проснувшись под привычное «калю-ука», не вскочила сразу, а понежилась ещё минут 15. Вот и пришлось огородами Евлампиевича бежать и пытаться одолеть мосток, затоптанный и изгвазданный уже десятками сапог. Но – увы! – не одолела... И не только не одолела, а на самой верхушке поскользнулась и, не удержав равновесия, спрыгнула в воду. Хорошо, что спрыгнула, а не свалилась! Но в сапоги воды набрала и полную сумку зачерпнула... Выбравшись на берег, заглянула в сумку и, плача и смеясь, вспомнила Багрицкого:

А в походной сумке –

Спички и табак,

Тихонов, Сельвинский,

Пастернак...

Вот только вместо спичек и табака лежали, точнее плавали в сумке, те самые зелёные тетради по развитию речи...

Так и не пришлось Маргарите Марковне покрасоваться в первый же год на районной «Доске почёта», как грозилась инспектриса РОНО.

– И, слава Богу, моя лялочка! – утешала её добрейшая Надежда Архиповна. – Не быть тебе ни утопленной, ни повешенной!..




**«ЗДРАВСТВУЙ,
МИЛАЯ КАРТОШКА-ТОШКА-ТОШКА...»**

Пока шли уроки, над селом опять прошёл сильный, но весёлый ливень. Солнце очень скоро разогнало серую наволочь туч, так что последние потоки дождя напоминали смех сквозь слёзы. Будто и не осень вовсе стояла в воротах октября в большом селе на Днепропетровщине.

Маргарита Марковна в этот день решила идти домой по дороге, то есть не напрямик – от школы, через кладбище, огородами – к дому Мухиных, а в обход. Иначе на резиновых сапожках (основной обуви сельчан с октября по май) пришлось бы тащить полпуда жирного чернозёма. А кроме того, надо было зайти за бельём к Стёше-бригадирше, единственной владелице стиральной машины на всей улице. Стёша, племянница хозяйки Груни Ивановны, однажды зайдя к тётке, увидела, как Рита с трудом выжимает пододеяльник в эмалированном тазу, и предложила молодой учительнице отдавать ей, Степаниде, бельё в стирку. Сама и цену назвала – очень даже божескую цену!.. Рита вздохнула с облегчением. Теперь дважды в месяц захаживала к соседке и забирала белоснежное, чуточку подсиненное и очень крахмаленное бельё.

– Стёшенька! – каждый раз удивлялась она. – Честное слово, красивей, чем в магазине!

Потетёшнав Стёшиного годовалого бутуза, выходила с двумя сумками за калитку – в одной бельё, в другой



школьные тетрадки.

А у соседнего перелазы уже стоял Витька. Он, как всегда, ждал её. И всё его лицо лучилось такой радостью, что невозможно было не ответить на этот порыв. Она оставляла сумки у калитки и раскрывала ему навстречу объятия:

– Ну!

Он не подбегал – он подлетал к ней, единым взмахом обнимая за шею, а ногами обхватывая её талию. И так замирал, пока она, переводя дыхание, не говорила:

– Витёк! Задушишь! Ой, сейчас в лужу вместе шлёпнемся!


Тогда он спрыгивал и снизу вверх смотрел на неё так преданно, что у Риты перехватывало дыхание. Она ерошила темно-русый чубчик:

– Ты ж моё солнце-солнышко!..

Пятилетний вздыхатель ещё шире улыбался, хватался за вторую ручку сумки с тетрадями, потому что другая, с бельём, была полегче. Так вдвоём, совершенно довольные друг другом, они подходили к дому, где квартировала Рита. Груня Ивановна, бабушка Вити, встречала их такой же широкой, как у внука, улыбкой и неизменным украинским приветствием:

– Ласкаво просимо, гости дорогие!.. А не поедите ли с нами казачьего кондёру? – приглашала она обычно Риту, ведя внука за руку на летнюю кухню.

– Нет, спасибо, – деликатно отказывалась девушка, хотя живот при этом начинал от возмущения урчать. – У меня ещё бульончик есть вчерашний. Не пропадать же добру!



Если честно, то в Рите говорила давнишняя обида: поселившись, она попросила хозяйку готовить и на неё за любую плату, какую та посчитает нужной назвать. Но мягкая, сердобольная Груня Ивановна на этот раз отказала:

– Мы кормимся с того, что есть. Мясо у нас редко гостует. Коровы нет. Только овощи да яйца, супы да борщи постные.

Рита и на это соглашалась, но хозяйка была неумолима:

– Наша еда Вам не подходит. Вы человек городской...


– А всё этот хитрый лис Никита (лыс Мыкыта)! – говорил о Хрущёве дед Мухин, хозяин квартиры и школьный завхоз. – Ишь, новую коллективизацию удумал... Лишил нас пастбищ, кормов для скота – пришлось скотину задарма в колхоз отдавать!..

– Мало ему было фокусов с кукурузой! – соглашалась с мужем бабуня Груня.

– Кабан перекормленный! – ругался в сердцах старик.

И действительно, на всей двухкилометровой сельской улице, где жила Рита, редко услышишь поросычий визг или бляянье барашек, только в двух дворах остались коровы – у той же Стёши-бригадирши да у колхозного бухгалтера Евлампиевича. У них Рита и покупала себе молочное, только у Стёши редко – семья большая, да и дитя малое. Приходилось у Евлампиевича покупать втридорога творог и сметану, чтобы раз в неделю побаловаться сырниками или блинами...


Да, вообще-то, довольно голодно было в сёлах в последние «хрущёвские» годы. За продуктами ездили в город – в



«губернию», как шутили сельчане. Но и в Новомосковске, райцентре, сверкали пустыми прилавками магазины-«стекляшки». Чтобы «отовариться» в областном центре, надо было пройти пять километров по степи до станции, сесть в электричку и ехать ещё два часа!.. И не забыть Рите, как зимой для неё, тяжело заболевшей, мальчишки везли из города бутылки пастеризованного молока, потому что две несчастные бурёнки перед отёлом не доились, и добрейшая Груня Ивановна напрасно ходила с пустой поллитровой баночкой по селу.

– Только осталось самой подоиться! – говорила пышногрудая Стёша-бригадирша...

Так продолжалось все три года Ритиной службы в Николаевке. Правда, с приходом нового директора в школу кое-что изменилось. Он в нарушение инструкции зачислил молодую учительницу «на довольствие» в школьный интернат, в котором жили старшеклассники, когда зимние метели, осенняя и весенняя распутицы не позволяли им добираться на велосипедах домой, в другие деревни. Это были дети колхозников, и колхоз содержал их за свой счёт. На Риту эти льготы не распространялись, и в этом как раз заключалось нарушение инструкции. Но Рита оплачивала свои обеды. За милую душу уплетала она вместе с ребятами и казацкий кондёр – густой пшённный суп, запавленный старым салом, и кашу-перловку по прозвищу «солдатская шрапнель», и прозрачный компот из сухофруктов. Стоило это всё сущие копейки, но и есть можно было только с голодухи, хотя повариха очень старалась...




Однако и до этой кормёжки надо было ещё дожить, а пока Рита либо жарила на электроплитке опостылевшую яичницу, либо топала в центр села, в «Чайную», где кроме неё обедали ещё две учительницы из школы-восьмилетки да заезжие шабашники-строители. Отсюда Рита отправлялась в книжный киоск и перерывала его сверху донизу. Без добычи не возвращалась: то Эльза Триоле украшала её книжную полку над столом, то Голсуорси, а то и нашу-мевший сборник стихов поэта... Обидно только, что по возвращении с «трапезы» снова хотелось есть...

Неожиданно пришло подспорье, может, даже спасение. Колхозники не справлялись с уборкой картофеля. Начинались затяжные дожди, а там и до заморозков недалеко. И в ноябре около сотни старшекласников забросили свои портфели подальше и вместо них две недели шли в школу с тяпками-трезубцами. К школе подъезжали грузовики и увозили ребят на поля, естественно, под «приглядом» учителей.

Урожай был удивительный: из-под каждого куста чуть не полведра выкапывали! Да такие крупные клубни Рита никогда не видела, хотя выросла в «картопляном» краю, на Житомирщине!.. Работали весело и споро: чувствовалась сельская, крестьянская закваска – не квёлая, студенческая!.. Рита переходила от одного ряда к другому, помогая чуть подотставшим. Ребята, шутя, подзывали:

– Ой, Марковна, помогите, устал...

В перерыве пекли на костре картошку, белую и рассыпчатую. Ели её, разламывая руками, обжигаясь и вопя при



этом, чуть присыпая солью, кто с хлебом, а кто – без, но от пуза... И пели все вместе забавную песенку первых, голубодных «артековцев» 20-х годов, которой научила их Рита:

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,

Низко бьём тебе челом-лом-лом!

Даже дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка

Нам с тобою нипочём-чём-чём!

Десятиклассники у соседнего костра весело подхватывали с подачи их классной руководительницы, новой Ритиной подружки:

Ах, картошка – объеденье-денье-денье-денье!..

Пионеров идеал-ал-ал!

Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья,

Кто картошки не едал-дал-дал!

И хотя после шести часов нелёгкой работы ребятам приходилось ещё и дома перелопачивать огороды, мальчишки размечтались:

– Вот бы весь год так...

– Как «так»?

– Ну, без уроков...

– Вот это да!.. А как же школа, ребята?


– Да мне всё равно на трактор!

– И мне!

– И мне!

– Ну, спасибо вам, родненькие мои!.. Я для них стараюсь, готовлюсь, а им и не надо...

– Да нет!.. Рита Марковна, если б Вы только объясняли, рассказывали, а то пока Ваш опрос закончится, я весь по-




том изойду, как в уборочную на тракторе! – своей привычной скороговоркой выпалил Лёшка Черныш.

– Ага! Как же!.. Да ты за это время читать и писать разучишься! – неожиданно поддержал учительницу общий любимец-пересмешник Антон Смачненький.

Из мальчишек ещё только оба Ванечки – Колыван и Лаврецкий – откровенно признались, что скучают по урокам. Девчонки деликатно помалкивали, но Рита знала, что большинство из них – с нею...

В последние три «картофельных» дня Рита заметила какое-то странное оживление и молчаливые переглядки в компании Черныша и Белодедко. Будто о чём-то заранее сговорились, а теперь только напоминают друг другу. Будучи всего на 6-7 лет старше их, не выпытывала, делала вид, что не замечает: мало ли какие секреты могут быть у 16-17-летних парней!.. Своих что ли секретов мало?.. Вот вернётся домой с поля, может письмо на столе дожидается. А если нет, перечитает старое, которое начинается так: «С тех пор, как ты мне отказала, прошло три месяца и три дня...»

А вечером, когда она сидела над тетрадами и просто подчёркивала «пятиклашкам» ошибки (пусть сами подумают и исправят), услышала во дворе какое-то тяжёлое потаптывание и приглушённые молодые баски. Прислушалась и узнала обоих Лёшек – Белодедко и Черныша. Пока вышла, Михалыч уже стоял с ними у летней кухни и, кивая головой, одобрительно похлопывал хлопцев по плечу. Но было их не двое, а четверо. Ещё и братья Невелички –



Сеня и Гриня – топтались там же. В темноте перепрыгивая через лужи с камушка на камушек, Рита заметила, что хлопцы снимают с деревянной тачки два огромных мешка. Увидев Риту, бросились со двора вон. Почуввав неладное, она закричала:

– Стойте! Я вас узнала! Мальчики!

Остановился только Черныш. Медленно, чуть вразвалочку, сунув для пушей независимости руки в карманы брюк, приблизился.

– Ну, ладно, Рита Марковна! Вы только не сердитесь!.. Ничего страшного мы не сделали!.. Просто привезли для Вас картошку!.. Думаете, не знаем, что Вам есть нечего?..

– Да с чего вы взяли?! – задохнулась от возмущения учительница. – Тоже мне нашли голодающую из Поволжья!.. Что за картошка?.. С поля?!. Да вы её просто украли!..

– Ну, это Вы бросьте! Мы не воры! Мы!..

– А как это прикажете называть? – она чуть не плакала, представив, что о ней завтра будут говорить в школе: позарилась на колхозное добро! Ужас!

Всё это время дед Мухин пытался что-то сказать, но ему не давали.

– Да никак это не называется! А просто за работу надо платить! Летом мы всем классом как бригадой работали – и нам платили! Чего это мы две недели бесплатно картошку копаем, да ещё и план перевыполняем каждый день?!

– Вот и назовите это оплатой натуральной, если Вам нужно название! – усмехнулся подошедший Белодедко. –

А на 28 учеников поделите 2 мешка картошки за две недели – смех, а не зарплата!

– Зарплату, даже натуральную, по дворам в темноте не таскают!

– Рита Марковна! Доню! Дай слово молвить! – про rvalся, наконец, Михалыч, школьный завхоз. – От послухай, шо я скажу: хлопцы к тебе с гостинцем – от всего сердца! Если ты их сейчас прогонишь с этой картошкой, они никогда больше ничего доброго для людей не сделают! Чуешь? Га? Ты им охоту всю отобьёшь! Понимаешь?!

– Хорошо бы отбить всякую охоту таскать с колхозного поля! – почти кричала Рита.

– Это наше поле! Это наш колхоз! И под картошку эту я после уроков землю трактором бороновал! И наши девчата её окучивали летом, и убирали опять же мы! Так у кого же мы ворует, чёрт побери?! – голос Черныша по-петушиному срывался на крик, он чуть не плакал от злости.


В калитку один за другим с поджатыми хвостами входили ещё два «кормильца».

– Вы хоть понимаете, что наделали?.. – обратилась к ним учительница. – И себя, и меня на всё село опозорили!

– А кто тут собирается по селу языком трепать? – неожиданно выпалил обычно сдержанный, молчаливый Гриня Невеличкий. – Хотел бы я на него посмотреть! И вообще, о чём Вы шумите? Смешно слушать – два мешка картошки, когда её в поле после дождей ежегодно тонны сгнивают!

– Как сгнивают?!

– А так, – поддержал брата Семён, – не успевают убрать



и всё! То машин не хватает, то студентов вовремя не при-
слали, то наши бабы погоду ругают, а сами на базар свали-
ли...

Рита подавленно молчала, почувствовав вдруг ничтож-
ность своей правоты перед горькой, суровой правдой этих
взрослых мальчиков. А проворный Михалыч уже с хлоп-
цами затаскивал оба мешка в клуню.

– Ой, ребята, не знаю, что и сказать! И ругать вас боль-
ше не хочется, и взять не могу – стыдно! – призналась она.

– А что ж Вы не стыдились работать с нами? Могли же в
канцелярии отсидеться или у костра всё время возиться!
Да Вы её заработали!

– А сейчас свою «бульбочку» почистите и поджарьте
себе на ужин. И весь стыд как рукой снимет!.. Всё. И до
завтра, Рита Марковна...

Девушка, покачав головой, попрощалась и пошла к до-
му, где на пороге стояла Груня Ивановна, молча, тихо по-
сторонившаяся. Как ни смутно было на душе, но Рита
опять поразила её врождённому такту, деликатности,
умению пошутить, когда нужно, и промолчать, когда ещё
нужнее...

На днях приезжала инспектриса из РОНО посетить уро-
ки молодых учителей во всех трёх школах колхоза.

Ну, приехала – и ладно! Так нет, предупредила загодя:
мол, жди и трясись, как осиновый лист! И добилась своего!
Весь вечер накануне Рита, волнуясь, ходила по своей ком-
нате и вздыхала:

– Ой, бабуня Груня, я так боюсь – я умру от страха!..

– Умрѣте – похороним!.. – спокойнѣхонько обещала та.

И Рита начинала смеяться, и пропадавал страх, и приходила уверенность...

Вот и сегодня, после злополучного «визита» хлопцев, когда Рита сидела у стола, тупо уставившись в раскрытую тетрадь, ничего в ней не видя, хозяйка тихонько постучала в застеклённую дверь и занесла в комнату две большие картофелины, каждая в полторы ладони!

– Этого Вам и на ужин, и на завтрак хватит. Давайте сковородку, Рита Марковна. Есть-то надо!..




«УЛЕТАЙ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА...»

Это весеннее утро вовсе не предвещало праздника. Со двора доносилось привычное уютное квохтанье яркорыжей наседки, за которой катился выводок писклявых жёлтых шариков, подчас заглушаемый тяжёлым потаптыванием разношенных валенок бабуни Груни Ивановны и сипловатое ха-канье деда Михальча, рубящего сосновые полешки для плиты.


– Весна весною, Рита Марковна, а старые кости просят тепла, – объяснил он своё занятие квартирантке, умывавшейся под рукомойником уже не в сенцах, а по-летнему – у крылечка.

На ходу вытирая лицо пушистым полотенечком, Рита подбежала к калитке, глянула направо-налево.

– Слава богу, подсохло по краям дороги. Можно сбросить наконец опостылевшие «резовики» и надеть туфельки, правда, без каблучков...

– Ну, шо, доню, «улетай на крыльях ветра»? – лукаво бросил ей вдогонку старый хозяин, когда она лёгкой походкой, несмотря на тяжёлую сумку с тетрадями, прошагала мимо в новых своих замшевых туфлях.

– Да-да! «На крыльях ветра», Фёдор Михальч, – удивлённо рассмеялась девушка, потому что именно эти слова с утра выпевались у неё в голове. – Надо же, запомнил старый казак слова из хора половецких девушек, что пели они



вчера со Светланкой, возвращаясь из областного центра, или, как шутят односельчане, «из губернии»...

Подружки жили и преподавали в соседних сёлах и устраивали иногда себе такие вот праздничные вылазки, соскучившись по киношке, по выставкам художников, по мороженому и просто по людным, оживлённым улицам современного города!

А возвращались вечером на электричке, усталые, «без ног»... Но ещё предстояло не пропустить свой разезд, на котором поезд стоит всего минуту, и удачно спрыгнуть в темноту с высокой подножки вагона. Да потом ещё топать и топать до Николаевки пять километров...

Но вчера им повезло: дед Михалыч, он же школьный завхоз, привёз к поезду очередного инспектора, который что-то искал, выковыривал, высиживая в школе почти неделю, а теперь, видать с той же целью, отправлялся к соседям. На обратном пути возница и захватил «девчаток». Тесно прижавшись друг к дружке, девушки тихонько пели под скрип старой телеги, которую легко и уверенно везла гнедая красавица Волга – такой вот гужевой школьный транспорт.

– Издалека долго меня везёт Волга! – по-зыкински выводила Рита, а Светланка, посмеиваясь, нежно и чистенько держала мелодию. – Меня везёт Волга – конца и края нет...

– А ну, девчата, не балуйте, а то высажу «серед степу»: ишь, насмехаются над моей красотулей! Лучше заспевайте другую, ну, хочь про водителя кобылы...

– Ой, дедуня! С Вами не соскучишься... То красотуля, а

то сразу и кобыла... Ну, да ладно, по заявке любителя песен Леонида Утёсова...

– «Только встанет над Москвою утро вешнее, Золотятся помаленьку облака», – мягко-мягко, почти вкрадчиво вступает Светлана, а Рита, боясь нарушить эту тёплую, льющуюся с полных губ подружки мелодию, пока ещё не поёт, а только чуть-чуть постукивает языком о нёбо, имитируя цокот копыт.

Зато потом, прибавив металла в припев, они войдут в песню вместе с Михалычем, и Волга будет весело прядать ушами, явно в такт приплясывая по долгой дороге от разъезда до села...

Когда же все заявки старика иссякнут и девушки бессиленно откинутся на домотканое рядно, брошенное поверх свежего сена, Рита, помолчав, попросит, глядя в глубокую черноту ночного неба с едва заметной одинокой звёздочкой:

– Светик, а теперь для меня мою любимую, пожалуйста, родненькая...

И польётся дивной красоты музыка Бородина, и Рита увидит воочию длинноносых, синеглазых половецких полонянок то ли поющих, то ли плачущих, то ли молящихся в такой же, как сейчас, чёрной, бескрайней, сожжённой ветрами степи, озаряемой дикими кострами.

– *«Улетай на крыльях ветра ты в край родной,
Родная песня наша...»*

...А на рассвете Светлана тихонько чмокнула в щёку ещё сладко спящую подружку и укатила на «газике» с хо-

зыйским племянником-бригадиром в свою деревушку: надо было успеть на первый урок в соседнюю 8-летку...

У Риты же с утра всё звучала в ушах эта мелодия. И первый урок в 10-м прошёл под её аккомпанемент, когда, рассказывая о зарождении «Серебряного века», молодая учительница читала ребятам из Анненского:

*Среди миров в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя
Не потому, чтоб я её любил,
А потому, что мне темно с другими...*

Ей вспоминался вчерашний вечер и одинокая звёздочка в бескрайней ночной глубине, тихо провожавшая их до самого дома...

Следующим был урок языка в этом же классе, и к ней с трудом протолкалась озабоченная староста Катюша. Отодвинув чей-то протянутый на оценку дневник, прошептала в самое ухо учительнице:

– Рита Марковна, может, опоздаю немного... Надо бабушку покормить...

– Да, да, Катя, я понимаю... Не волнуйся...

Маргарита Марковна знала, что девочке надо успеть перестелить постель парализованной бабушке, покормить её из бутылочки, как ребёнка. Может, и переодеть. Родители с рассвета в поле. А школа – слава Богу! – рядом с домом. Но девочка влетела в школьный коридор вместе со звонком на урок, даже забыв снять с себя домашний фартук, и лицо её было одновременно и радостным, и испуганным:

– Там... там человек полетел...

- Учителя, расходившиеся по классам, приостановились.
- В чём дело, Катерина? – строго блеснул очками и лысиной завуч Медведко.
- Я же говорю, человек полетел...
- Куда полетел? Кто?.. – весело перекликались учителя с разных концов коридора.
- Ой, боюсь сказать!.. Не поверите – в космос!..
- Катерина! – начал было Медведко.
- Да включите же радио! Слышите, что в Москве делается?!.

Видно, Нестор Васильевич за дверью кабинета всё слышал, потому что звуки праздничного марша так неожиданно огласили, точнее оглушили маленькую одноэтажную сельскую школу, что мгновенно распахнулись двери всех классов, и любопытные мордашки одна поверх другой с изумлением уставились на своих притихших наставников. А те, прижав пальцы к губам, дали знак молча слушать радио.

«Говорит Москва! Говорит Москва!

Работают все радиостанции Советского Союза!

Передаём особо важное правительственное сообщение...»

Рите казалось, что Юрию Левитану с трудом удаётся сдерживать льющуюся через край радость:

«Сегодня, 12 апреля 1961 года, впервые в истории человечества был запущен космический корабль с человеком на борту!..

Юрий Алексеевич Гагарин...» – диктор, ликуя, почти

пел...

– Так! – директор на мгновение приглушил звук радиоприёмника и радостно скомандовал. – Внимание! Всем учителям и учащимся школы построиться на торжественную линейку!

– Урр-а-а!!! – завопили пронеры-пятиклашки и первыми посыпались с крыльца, поблёскивая горошинами бритых наголо затылков и сверкая пшеничными колосками косичек.

Через пять минут каждый класс стоял на отведённом ему школьным ритуалом участке двора. Те, что поменьше, – впереди, что постарше и повыше, – сзади. Учителя на сей раз стояли рядом с директором, который сам радовался, как ребёнок. И так искренно, так сердечно говорил он об этой извечной мечте Человека о полёте в неведомый мир Космоса!.. Так по-мальчишески размахивал он правой рукой – левая, укороченная, в чёрной перчатке безвольно висела на перевязи ещё с войны – и досадливо смахивал со лба русую непослушную прядку!..

– Запомните этот день, мои дорогие коллеги! – обратился он к тесной группке стоящих рядом сельских учителей. – Запомните это имя, дорогие мои воспитанники! Когда-нибудь нам с вами позавидуют... А вы будете рассказывать своим внукам: «Да, да, да, я помню это утро 12 апреля 1961 года...»

В это мгновение в рядах пятиклассников точно что-то взорвалось, и оттуда словно вынесло белобрысого Саньку Беспалько, который рванул по диагонали куда-то к школь-

ным мастерским, где стояла распряженная, но прихваченная за уздечку к подводе школьная любимица Волга.

– Стой! Куда! Санька! А ну на место! – рявкнул физрук, хищно ссутулившись, будто прицеливаясь в хлопчика.

– Та! – отмахнулся тот, не оборачиваясь и продолжая бежать, смешно путаясь в чуть приспустившихся портках.

– Сашко! Куда ж тебя несёт, горе моё?! – это Надежда Архиповна, бывшая «классная мама» его по начальной ещё школе, так и оставшаяся для своих питомцев высшим судией во всех вопросах. Она подалась было ему навстречу, наперерез, распахнув крылья цветастой шали – ни дать ни взять бабы Грунина утренняя квочка и откатившийся от её стайки пушистый цыплёнок.

– Тикайте, Надия Архиповна!.. – издалека сердито предупредил Санька, чуть замедлив бег, чтоб не столкнуться вскоре с пышнотелой своей наставницей.

– Да что ж ты такое опять надумал, глупое моё дитя?!.

Вся школа покатывалась со смеху над шкодливым шалуном. Кто-то из «ответственных» старшеклассников попытался было помочь навести порядок на так неожиданно изменившей своё настроение торжественной линейке, но не успел.

– Да вовсе я ничего не надумал! – вроде бы со слезой в голосе заорал на бегу Санька, шмыгая носом и уже двумя руками придерживая сползающие штанишки. – Оно само!.. «Линейка» замерла в ожидании того, что ж там приключилось «само»...

– От паршивец! – ругнулся физрук. – Такой праздник ис-



портил! Ну, попадись ты мне!..

– Да что Вы, Максим Ильич! – удивилась Рита Марковна. – По мне, так ничего он не испортил: праздник ведь должен быть весёлым. Даже смешным, если хотите! Видите, он, как Гагарин, вырвался и летит себе на крыльях ветра...

Между тем Надежда Архиповна, несмотря на пышные свои формы, почти настигла беглеца, пытаясь ухватить его уже сзади за болтающуюся помочу от штанишек. Но он неожиданно резко, бычком, повернулся к ней:

– Тикайте, Надия Архиповна! Кажу Вам – тикайте!! – как-то протяжно, по-петушиному звонко прокричал он. – Тикайте, бо вссу-усь!

И, прошмыгнув под её цветастым крылом, помчался уже напрямую к подводе.

Громоподобный хохот заставил кобылу отпрянуть от охапки нежнейшего, душистого сена. Но через минуту она снова тянула с подводы мягкими губами хрустящие трилистники конюшины, тревожно прядая ушами и косясь одним тёмно-синим оком на детвору, как по команде присевшую на корточки и издававшую странные визгливые звуки. Другим же следила за знакомым пацанёнком, который обычно по утрам приносил ей любимое лакомство: корочки хлеба с солью и кормил её с детской ладошки, посмеиваясь от щекотки...

Вот и сейчас Волга потянулась к нему губами, расширяя ноздри и нетерпеливо потряхивая гривкой. Но мальчонка проскочил мимо, спрятался за подводу, и тотчас оттуда

раздалось нежное журчание весеннего ручейка... Волга понимающе вздохнула: точь-в-точь так справлял малую нужду её давно выросший гнедой жеребёнок... Она тихо пережёвывала ещё крепкими зубами прошлогодние цветки клевера, нежно-шершавые былинки пырея и чувствовала себя снова молодой и сильной на этой единственной планете, где так хорошо жить вместе и людям, и животным. И если кому-то случается вырваться за её пределы, то единственным его желанием становится возвращение домой, на Землю, и хорошо бы «на крыльях ветра»...





ЗАМОК ФЕОДАЛА

Перевернув с удовольствием последний листок с годовой контрольной по родному языку, Рита потянулась так, что хрустнули затёкшие плечи.

Пяти минут хватило, чтобы занести оценки в журнал и полюбоваться на аккуратную страничку с редкими тройками, но довольно частыми пятёрками с лихо заломленными горделивыми шляпками. И, глядя на себя в зеркало, сдувая с глаз на лоб уже отросшую густую чёлку, иронично заметила самой себе:


– Рано радуешься, училка! Опять завуч заявит на педсовете: «Быть такого не может! Все оценки завышены!»

Ну, что ж! Значит, сама пусть проводит повторную контрольную. Как в прошлый раз. Да ну её, в самом деле! Одно расстройство.

И в эту минуту раздался хриловатый, простуженный «би-бип» горбатого автобусёнка, доживавшего последний, видать, сезон перед вечной «пенсией»...

– Иду-у-у! – в тон ему в нос прогудела в открытое окно Маргарита Марковна, по привычке оглядывая свой стол и всю опустевшую ещё час назад учительскую. – Тётя Маша, я ушла! Будьте здоровы!

Школьная уборщица в синем сатиновом халате и допотопных калошах улыбнулась ей из глубины неширокого коридора, продолжая усердно елозить шваброй по линолеуму.



А из замурзанных окошек «автогорбунка» ей нетерпеливо помахивали ладошками в чернильных пятнах уставшие в «продлѐнке» ребяташки.

– И Вы в наши Ручейки, Маргарита Марковна! Не ко мне ли? – сначала весело, а потом с опаской вскинулся было весельчак-второгодник Славка Мороз.

– Да нет, не к тебе пока. А что надо бы? – улыбнулась учительница.

– Ой, нет, нет, я хороший! – сам себя погладил по белесому чубчику озорник под весѐлый смех ребят.


– Что ж ты такой негостеприимный, дружок? Или стакана чаю жалко?

Смуцѐнный Славка только картинно расставил руки, привстав в позе услужливого официанта.

А автобус тем временем спустился с одной горки, проехал пять минут по трассе, любуясь яблоневыми пальметными садами и, натужно дыша, карабкался на следующую горку, уже в Ручейки, и наконец остановился у странного незаконченного строения. И тот же Славка, выпрямившись и приняв на сей раз вид бывалого гида-экскурсовода, торжественно объявил:

– Перед Вами главная достопримечательность Ручейков – Замок феодала!

– Да уж замок! – протянула ошарашенная учительница, разглядывая эту двухэтажную махину – гору ракушечника, кое-как сложенного, будто кирпичики в детской игре, и явно не взрослым разумным человеком. Дом ещё был без крыши, с редкими дырами окон в неправильно, неровно



стоящих стенах. Сами стены были слегка перекошены на одну сторону. Но первый этаж, без признаков фундамента, был явно обитаем: по углам валялись матрасы, детские трусики, майки, обломки кукол, машинок.

Рита, с опаской поглядывая на стены, расставила руки, не давая сопровождающим её мальчишкам перепрыгнуть через «порог» – ракущечник, поставленный на-попа:

– Нет, нет, ребята! Там опасно. Подождём хозяев здесь.

– Тю, Маргарита Марковна, евойные хозяи могут и не прийти сегодня! – глубокомысленно протянула Татьяна из 5–В. – Им не впервой прямо в поле ночевать.

– Так, пока у меня уши не завяли, кто поможет Тане грамотно высказаться?

– А можно мне её поправить? – заметно робея, спросил Славка.

– А я именно тебя и хочу послушать! – улыбнулась учительница. – Ну-ка, Славка, тряхни стариной. Докажи, что ничего страшного во второгодничестве нет. Просто повторение пройденного.

– А вот и докажу! Хотя я и не парюсь по этому поводу. Подумаешь – на год позже в армию пойду!

– Ладно, попаришься потом. А пока исправь Танюшу.

– Нет такого слова «евойный»!

– А что есть? – одними глазами спросила довольная Рита.

– А есть коротенькое «его». Только я забыл – местоимение или междометие...

– Кто поможет?

– Я! Я! – прорвалась наконец сконфуженная Татьяна. – Конечно, местоимение: вместо имени. То есть хозяева его, дома этого!

– Ай, молодец, вторую ошибку сама исправила: не хозяи, а хозяева. А вот и они, кажется.

Давайте, ребята, все по домам, заждались, наверное, вас дома. До завтра.

Они – обитатели «Замка феодала» – шли длинной вереницей, или цепочкой, вдоль чьей-то заросшей травой, почти поваленной изгороди. Заметив непрошеную гостью, остановились. Но вторая в цепочке, за матерью шедшая Аллочка радостно рванулась к ней:

– Маргарита Марковна, Вы к нам! Какая радость! Давно ждёте?..


– Да нет, моя хорошая, – краснея от удовольствия в ответ на искреннюю радость ученицы видеть её, откликнулась Рита и обняла девочку. – Минут десять – пятнадцать не больше. Я и осмотреться не успела.

– Ну, и чем это мы заслужили такую радость! – с явной долей то ли ревности, то ли просто досады от неожиданности пропела мать семейства, поправляя на выпуклом лбу низко повязанный платочек.

– Во-первых, Аллочка действительно заслужила эту самую радость. Только от всего сердца. Учитя очень хорошо. Если б ещё не опаздывала постоянно и аккуратнее бы тетради вела, просто отличницей была б!

– А во-вторых, – не унималась хозяйка.

– А во-вторых, то же, что и во-первых! – уже серьёзно



вглядываясь в глубоко посаженные недобрые глаза, возразила молодая учительница. – Такая девочка! Я ведь знаю, как она Вам помогает и с мальчиками, и с малышатами! Но и Вы же пойдите ей навстречу! Неужели трудно поднять её пораньше, чтоб она на школьный автобус не опаздывала, а потом под дождём не шагала пять километров в школу пешком?

– А Вы меня не отчитывайте! Я Вам не девчонка! Я могу и послать...

– А вот это новость для меня! Давайте, послушаем вместе с детьми Вашими, куда это Вы меня пошлёте?! – опешила было Рита.


– Мамочка, не надо! Маргарита Марковна, я Вас прошу, не ссорьтесь с мамой! – девочка металась от матери к учительнице, хватая то одну, то другую за руки. – Поверьте, моя мама не виновата: это я просыпаюсь поздно, люблю утром поспать... Мамочка не виновата. Она у меня золотая...

Девочка с такой нежностью прижалась к матери, что Рита опомнилась: как это она позволила себе забыться и вступить в спор с матерью ученицы!

– Простите, меня, Нина Ивановна! Прости Аллочка... Я не должна была так начать разговор с Вами...

– Вот так-то оно лучше! Я у себя дома! – женщина картинно развела руками, демонстрируя просторы своих ракушечных «владений». – И ни в чьих советах не нуждаюсь. Лучше вон с отцом свои разговоры продолжайте...

Ткнув с презрением указательным пальцем куда-то в



сторону, она, отстранив дочь, вошла в проём намеченной двери и скрылась за голой ракушечной стеной. Все повернули головы не только на тык её пальца, но и на странные звуки то ли песни, то ли молитвы, с придыханием доносившиеся всё с той же тропы, по которой они пришли четверть часа тому.

– Ты только не покидай меня,

Песня моя, птица моя...

В этих стогах наша любовь

Пусть повторится вновь, – самозабвенно, соловьём заливался путник.

Да, это был он, отец, личность удивительная, по мнению Риты, правда, всего лишь однажды видевшей его в учительской... И тогда он поразил Риту чисто внешне: довольно высокий, очень худой, но плечистый, точнее, мускулистый, как сказали бы его односельчане, он поражал какой-то редкой природной красотой, словно спрятанной в отросшие, давно не стриженные чёрные волосы; небритый, со всклокоченными бровями, очень небрежно одетый. Но его пронзительной синевы глаза, очень бледная кожа впалых щёк, какая-то обречённость взгляда и опущенных краешков губ придавали молодому мужчине почти мученический облик. К тому же совершенно необычная, даже неестественная речь, очень эмоциональная, напевная. Вот и сейчас, даже увидев чужих у дома, он не оборвал свою песню, а мягко, напевно её завершил. Затем опустил наземь две тяжёлые торбы и, сбросив с плеч набитый початками рюкзак, он вытер о штаны вспотевшие ладони и



протянул Рите руку.

– С кем имею честь? Кажется, дочкина учительница литературы? – будто продолжая напевать, протянул он. – Меня, разрешите представиться, зовут Михал Ильич, отец сего семейства и, так сказать, хозяин строящегося дома.

Он, как только что его «половина», так же горделивокартинно обвёл руками своё «поместье».

– Да-да, я Вас помню! – откликнулась Маргарита Марковна. – Вас в начальную школу вызывали. Что-то с мальчиками...

– А-а, вот оно что... А я вот не припомню... Просто дочка так о вас рассказывает, что я вот такую и представил. А сам не видел.


– Ещё бы! Полная учительская, и все к Вам с вопросами...

– Да, знаете ли, не лучшие впечатления от той встречи...

– Я Вас понимаю, – Рита всё с большим вниманием всматривалась в этого на первый взгляд такого потерянного, а теперь вроде бы чуть приосанившегося человека. – Но сегодня я к Вам с добрыми вестями об Аллочке...

– Ну!.. И как долго голодные дети будут ждать на ужин твою поганую кукурузу?! – Нина Ивановна – руки в боки – стояла в тёмном проёме дверей. Из-за её спины выглядывали лукавые мальчишечьи мордашки, уминавшие разломанные куски батона, вытащенного уже из отцовской торбы.

– Иду, иду, моя пташечка, – засуетился было хозяин, словно застигнутый на месте преступления. – Но как же



наша гостья? Я ж хотел ей дом показать, рассказать про всё это.

– Ты б ещё ей экскурсию провёл, как тем американцам! – злорадно захохотала женщина. – То-то тебя милиция тогда потаскала-повозила на допросы. Давай-давай, продолжай в том же духе! Может, спасибо заработаешь!..

– Простите, мне пора, – Рита, оглянувшись, неожиданно обнаружила, что уже стемнело, – Ещё до троллейбуса идти...

– А Вас вон провожатые дожидаются! – это Аллочка, с виноватым выражением лица подошедшая к ней, кивнула в сторону упавшего заборчика. – Мама! Можно я тоже...

– Домой! – раздался окрик, удвоенный эхом от высоких стен, и обе вздрогнули от неожиданности.


– Будьте здоровы! – тихо попрощалась учительница, прижав к себе на миг девочку и легонько подтолкнув её к дому.

– И Вам не хворать! – с облегчением хохотнула хозяйка и скрылась в узком тёмном проёме окна-бойницы.

– И на том спасибо гостеприимным хозяевам, – Маргарита Марковна, улыбаясь, подошла к группе ребят, собравшихся её проводить. – А как же вы, дети? Я буду волноваться...

– А они не одни. Здесь и постарше есть! – это откликнулся чей-то папаша, и Рита облегчённо вздохнула.

По дороге узнала, что сюда и вправду частенько наведываются журналисты, но пока это были свои или ближнесоседские писаки, власть предержавшие смотрели на это



сквозь пальцы. Да и статейки их слова доброго не стоили. Так, парочка фотографий с чудаковатым хозяином «горе-постройки» и подписи соответствующие.

– Но как только сюда завернули «соб. корры» из Америки, – захлёбывался от восторга всё тот же Славка Мороз, – как нагрянуло к нам милиции больше, чем селян в деревне!

– Да только опоздали они! – перебил его кто-то из шедших сзади. – Уже по «Голосу Америки» передали и во всех газетах тамошних про наши Ручейки пропечатали.

– А вы откуда знаете? Да и когда это было? – удивлённо восклицала Рита.

– Да все об этом знают! Все говорят! Да мы и сами видели их, этих иностранцев!

– Да когда это случилось-то?

– Этим летом! В самом начале каникул!


– Вот оно что! На каникулах! Я ж домой, в Полесье уехала, – протянула учительница. – А приехала – никто ни слова...

– Ну, так улеглось понемногу, подзабылось, – важно растягивая слова, объяснял Славка.

– Может, и так. Только, знаете, ребята, давайте не будем об этом больше болтать. И вообще, об этой странной, конечно, семье. Ведь детей жалко! А то вроде как мы сплетничаем... Не будем сплетничать, правда?

– Правда... Не будем... – нестройным хором ответили ребяташки.

Но не удалось им сдержать слово! Дурная слава то и



дело накрывала бедную Аллочкину головку. И, хотя она первое время после визита учительницы успевала со всеми приезжать на автобусе из Ручейков в школу-8-летку соседнего села, выходила после всех и сразу искала глазами свою классную руководительницу: видно доставалось ей от сверстников в автобусе.

Рита в ответ улыбалась ей и издали любовалась хорошенькой русой головкой на тонкой изящной шейке. Расчёсанные на прямой пробор (а он, как известно, к лицу только очень правильным чертам) тёмно-русые волосы обрамляли прелестное, очень юное русское лицо с выразительными серыми глазами под чуть нервными змеевидными тёмными бровками. Очень редко смеющийся рот скрывал ровнёхонькие зубки. Прелестное личико! Но одежда её... Ой, вот о грустном – не хочется. Рита настаивала, чтоб родительский комитет купил девочке хотя бы форму. Но женщины резонно возражали: Алла не сирота, есть родители. А то, что они «детские» деньги в первый же день «получки» с колбасой и пирожными проедают, с вином и лимонадом пропивают, – никто не виноват...

Ну, что тут скажешь?! Справедливо, тем более, что в классе есть дети из неполных семей...

Да ещё и все деньги, выписанные им как многодетной семье на постройку нормального дома, они «вбухали» в ракушечник. А ведь нужна столярка на окна-двери, стекло, материал на полы, на крышу... Да и кто теперь этим будет заниматься? Ну, не этот же несчастный, вечно влюблённый чудак!.. Хотя любовь, говорят, вершит чудеса. Но

это не тот случай: потому не сказка это, а горькая правда...

Что не устраивало Нину Ивановну в преданной, романтической любви её рыцаря? Трудно сказать. Но то, что его любовь не была взаимной, это понимали не только односельчане, но и дети. Причём, симпатии большинства были на его стороне, несмотря на «безрукость», неумелость супруга... Её же откровенно не любили в деревне, не общались, не приглашали в гости по-соседски. Она платила всем откровенной грубостью, а то и хамством. Худошавая, горластая, порывистая в движениях, одетая в мужнину рубаху с закатанными рукавами и трикотажные, тоже закатанные до колен штанишки, резко окликала то одного, то другого из своих отпрысков, отправляясь со всей кавалькадой куда-то в кукурузные поля или поля подсолнечников.

Не уходи от меня в ветрополье,

Песня моя, птаха моя...

Мне без тебя и простор – не раздолье

Мне без тебя и моря – не моря.

Это он плакал-пел ей вдогонку, когда она запрещала ему идти с ними, заставляя одного строить «фамильный замок»...

Но это всё были только цветочки...

Рита изредка оставалась с Аллочкой после уроков: та опять опаздывала на занятия, и приходилось ей отдельно диктовать диктанты, знакомить с новыми правилами. Жаль было очень толковую девочку

– Ну, как дома? Мама не очень шумит на вас?

Алла обычно сжималась от этих вопросов. А ответы были очень лаконичны:

– У меня лучшая мама в мире. Вы просто её не знаете. Лучшая в мире!.. – повторяла уже истово, как клятву.

– Да я не сомневаюсь, – с лёгкой долей иронии добавляла учительница, не придавая значения нахмуренным бровкам ученицы.

Девочка без запинки отвечала на все вопросы по грамматике, получала очередную пятёрку за диктант и читала наизусть, всё, что было ею пропущено по литературе.

– Потрясающая память! – восхищалась Рита. – И в кого ты такая?


– Конечно, в маму! – тут же восклицала девчушка, никак не реагируя на Ритины ухмылочки...

Поговаривали, что жена и руку на мужа поднимает подчас, так что тот неделями глаз на люди не кажет из-за синяков и «фонарей». Но последний случай потряс всех, кто знал это несчастное семейство: Нина Ивановна обварила мужа. Да не просто так, а «причинное место» крутым кипятком обдала...

– Несчастливая! Она, наверное, нечаянно! – воскликнула Рита, ища глазами Аллу среди ручейковских ребят на школьном дворе.

– Как же, нечаянно! – передразнила коллега. – Да она прямо в штаны ему кипятком хлюпнула и сама даже ошпарилась!..

– Боже! Какое зверство! – только и смогла выдохнуть Рита.



В щколе девочка появилась лишь через пару дней: родители были в больнице, и старшая сидела эти дни с малышами.

– На немой Ритин вопрос Аллочка ответила, едва шевеля пересохшими губами:

– Маме уже легче...

– Маме?! – Риту точно подбросило. – Я тебя об отце спрашиваю! Он жив?!

– А мне нет до него дела! Лишь бы мама была жива!

И тут Риту понесло... Если бы её спросили, что она говорила – в жизни бы не вспомнила!

Единственное, что помнилось – это то, что задача дочери беречь обоих родителей, что и её вина есть в семейной трагедии. Нельзя было всё прощать матери. Не стоит она такой жертвенной любви...


При последних словах Рита поняла, чтохватила лишку, но было уже поздно. Рядом стояла не близкая, родная, любящая её девочка, а чужая, замкнутая и холодная.

– Прощайте... – только и ответила дрожащими губами.

Рита опомнилась. Но останавливать её не стала: всё равно не вернётся и не простит недоброты к матери...

Больше они не виделись. Никогда.

Всех их детей-школьников по настоянию матери перевели в другую школу. Отец выжил, выздоровел и устроился сторожем в небольшой ресторанчик в пригороде. Семья ещё некоторое время продолжала жить в Ручейках. А потом на отца свалилось очередное несчастье: будучи сторожем, Михаил Ильич имел возможность выпивать винца и



отсыпаться после этого пару часов в обнимку с ружьём. Вот и той злосчастной ночью, проспавшись, увидел свет в окне ресторана и пальнул без оглядки. Убил буфетчицу и оцарапал висок её любовнику. Получил десять лет в колонии строгого режима. В школе очень возмутились этим решением суда.

И тут Маргарита Марковна случайно встретила с Ниной Ивановной. В ответ на искренние соболезнования по поводу её мужа, та мстительно заметила:

– А так ему и надо! Бог шельму метит! Надеюсь, он от туда и не выйдет, поэт несчастный! А мы в другой город переехали, проживём и без его песен.

Рита подавленно молчала. Зато женщина, с интересом разглядывая её, протянула:

– Как же Аллочка Вас любила! Я думала, сбежит от меня к Вам! Уши мои уже не выдерживали этих сказок о Вас! И красивей Вас нет! И добрее нет! И вдруг всё кончилось! Что Вы там ей сказали? Что сделали такого, что и вспомнить о Вас не даёт?..

Рита молча покачала головой, боясь расплакаться, и быстро распрощалась с Ниной Ивановной, пожелав ей и детям наилучшей доли.

Она смотрела вслед этой женщине и думала, как, каким образом эта невзрачная, недалёкая, злая женщина обрела такую любовь, о которой иные только мечтают. Кроме того, даже не задумываясь о воспитании, она сумела вырастить такую дочь, преданную и любящую, надёжную и восторженную в своей любви!

А я, та, что назвала себя Ритой... Как смела я судить эту любовь! Как смела поучать и навязывать свои житейские правила! Ведь любовь всегда права, кого бы своим предметом ни выбрала... И в ушах моих всё ещё звучал мягкий, тёплый голос влюблённого певца:

*Не уходи от меня в ветрополье,
Птаха моя, песня моя...*



ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ


Надежды юношей питают...

М. Ломоносов.

Звали его Вася. Точнее, Василий Дубняк. Ко времени Ритиногo с ним знакомства он учился в областном сельхозинституте на агронома. Очень любил родное село и хотел работать в своём колхозе. А как иначе? Ведь поступил он по рекомендации колхозного правления. Колхоз и оплачивал его учёбу, надо правду сказать, отличную.

Каждую субботу Вася приезжал на электричке домой, к маме, помогал ей по хозяйству, чинил старый забор, чистил в сарае и клетушках после животных и домашней птицы. А воскресным вечером вместе с земляками, работавшими в городе на Автозаводе, возвращались каждый в свою «общагу», нагруженные продуктами на очередную неделю. Студентов было мало. А молодых рабочих, не пожелавших после армии оставаться в деревне, довольно много. Ведь в годы «оттепели» Хрущёв возвратил крестьянам паспорта (в деревнях с горечью иронизировали: вторично отменил крепостное право). И грех было не воспользоваться этим, устраиваясь в городе.

Рита в тот год приехала в Николаевку по распределению после окончания пединститута, и её взял к себе на квартиру школьный завхоз Фёдор Михалыч. Просторная комната в три окна, с кроватью и столом под льняной скатертью, с полкой для книг, чисто выбеленными стенами и хорошо



покрашенными полами пришлось ей по душе. Хозяйка, Груня Ивановна – высокая, статная, с седым пучком на затылке – встретила девушку приветливо, привычным украинским «Ласкаво просимо!» И покатались учительские будни со своими открытиями, маленькими радостями, небольшими огорчениями вдоль длинной-предлинной улицы Чапаева по селу Николаевка. В соседних сёлах учительствовали её подружки-однокурсницы. Все они преподавали русскую словесность, то есть язык и литературу. Как-то в кинозале Рита услышала за спиной диалог. Речь явно шла о ней:

– А шо викладає у вас ота мала вчителька? – слегка небрежно спросил молодой басок.

– Та панську мову!.. – в тон ему ответил детский голос.

С тех пор, изредка собираясь у Риты, подружки так шутили и называли себя «панночками» и «панянками»... Телевизоры тогда в деревнях были редкостью, поэтому вечера заполнялись проверкой тетрадей, чтением, репетицией школьных литературных спектаклей.

А однажды в гости к хозяевам зашёл тот самый Вася с забавными, испечёнными из теста шишками – символом свадебного приглашения. Женился его друг. И Васе предстояло объехать на велосипеде полсела! Но он не торопился уезжать и всё поглядывал на её окно.

– Хочешь познакоми́ться? – вполголоса спросил хозяин.

– Ну... – используя местный лексикон, утвердительно буркнул гость.

Хозяйка попыталась возразить, но не успела.

— Можно ли Вас проведать, Рита Марковна? — Михалыч, не дожидаясь ответа, переступил порог. — Разрешите вам представить нашего будущего агронома. Интересуется Вами человек.

При этих словах Вася так покраснел, что проступили даже несуществующие веснушки на чисто выбритом лице.

— Но я не биолог и не ботаник, вряд ли Вам будет интересно общаться со мной, — понесла Рита какую-то околесицу.

— Ну, есть и другие темы для беседы. Например, книги. Вон их у Вас сколько, — резонно возразил гость.

— Да вот придётся ещё одну полку мастерить, — почесал седой подбородок хозяин.

В это время Груня Ивановна внесла голубой чайник с кипятком и блюдцем, на котором лежали те самые две шишки.

— Что это Вы испекли, бабуня Груня? — искренне удивилась замысловатой выпечке Рита.

— Нет, это так у нас приглашают на свадьбу!

— Вы женитесь? — живо переспросила Рита.

— Да нет! Не жениховское это дело — развозить приглашения, — опять вмешался Фёдор Михалыч. — Вася у нас — старший дружка. Так, Васильку?

— Ну! — обошёлся гость всё тем же многозначительным словом, что вызвало лёгкую усмешку у Риты. Желая скрыть её, пригласила гостей к столу, куда положила коробку конфет и поставила вазочку с вареньем.

— Прошу, уважаемые гости. Извините — не готова, бед-

новато.

Так они и познакомились.

Приезжая к матери по субботам, Василий торопился переделать накопившиеся за неделю «мужские» дела и спешил к Рите. Всегда приходил с крошечными букетиками полевых цветов, уже повсюду почти отцвевших. Доставал их из-за пазухи и ставил в белый хозяйский кувшинчик-молочник. Передвигал на середину стола. И отходил, любясь.

– Спасибо, – с улыбкой благодарила его Рита. – Ну, куда отправимся сегодня?

Он садился на «велик», она устраивалась на багажнике, как в «дамском» седле, и они отправлялись то к его дядьке на пасеку, то в соседнее сельцо, где в 8-летке преподавала подружка Света, а то за яблоками в заброшенные или уже убранные колхозные сады.

Никакого смущения друг перед другом, вроде бы, не испытывали. Много смеялись. Дружески общались. Но в школе вездесущие коллеги, прознав об их безобидной дружбе, подкалывали:

– Ох, Маргарита Марковна, лучшего жениха у наших девчат увели! – говорила одна.

– Смотрите, обманете нам мальчика, будете наказаны! – вторила ей другая.

– Вы ж через год-другой отработаете и – поминай как звали... – с ехидной усмешечкой встревала третья.

И только добрейшая Надежда Архиповна из начальной школы вставала на её защиту:

— Не слухай их, лялечка моя! Это ж завистницы! Чего вытаращили на неё свои глаза завидушие? Обидно, что молодость прошла?.. Она ж вам в дочери годится! Эх вы!..

Рита едва успевала отнекиваться и отмахиваться, как от назойливых мух:

— Да мы просто друзья, поймите! Он мне вместо подружки...


— Да уж, конечно, подружка... — и хихикали по углам учительской.

Но оставшись наедине сама с собой, девушка сознавала правоту своих сварливых коллег: не собиралась она строить своё счастливое завтра с агрономом Дубняком в Алексеевке! Не прельщала её такая перспектива, что делать? Но вот насчёт «приехала отработать» — эта мысль обижала и обжигала недобротой... Рита так полюбила своих учеников и свои уроки у них и с ними... Она не отрабатывает. Она просто учится быть учителем. Хорошим учителем. А Вася и в самом деле был как подружка...

Он всё пытался научить Риту езде на велосипеде, но она наотрез отказалась: умеет, но боится, вспоминая, как ещё в десятом классе налетела на скамью, где сидели беременная женщина и бабка с коробом яиц... Хорошо, одноклассники отбили, вырвав её из рук разъярённых тёток! С тех пор — никакого вождения. Только пассажиркой!

— Так Вы бы хоть на раму уселись, а то скатитесь, а я и не замечу, — волновался Вася.

— Нет-нет-нет! — отмахивалась Рита, вовсе не желая оказаться как бы в его объятиях...



Так и месяц пролетел, а октябрь накати́л с дождями и холодным ветром. Сидеть вечером за чаем друг против друга и выслушивать его очередные байки о старых профессорах, не умеющих отличить семена одной пшеницы от другой, не радовали девушку.

– Ладно, может, всё-таки в клуб? – неуверенно так спросила к бурной радости юноши.

– Наконец-то! А то Вы вроде стесняетесь меня? – вопросом на вопрос ответил он.

– Да не Вас – я себя стесняюсь! Учительница всё же! Надо соответствовать.

– А я, значит, не соответствую Вам!

– Да, ладно, Вася, поехали!

– Да нет, на сей раз пешочком придётся. Дорогу дождями размыло. Оденьте резиновые сапожки и платочек на головку...

– Наденьте, наденьте, Вася, так надо говорить! Одеть можно кого-то...


– Ну, наденьте, какая разница? Вы ж меня поняли?

– Вася, Вы опять за старое? Сколько мы об этом уже спорили! Вы ведь соглашались со мной! У интеллигентного человека речь должна быть безукоризненной. А то ведь можно и без слов обходиться – языком жестов!

– А давайте!

Оба весело рассмеялись и заторопились в клуб.

Из-за размытой дороги, очень скользкой и неровной, шли в центр села около получаса. Рита просто вцепилась в локоть робко притихшего Василия и готова была вернуть-



ся, боясь поскользнуться на этом жирном чёрном месиве, которое так безобидно выглядит в сушь. Но уж очень соскучилась по кино, да и мысль, что в такую погоду мало кто захочет плестись за семь вёрст киселя хлебать, тешила её.

Да где там! Фойе Дома культуры просто гудело обрывками мелодий, то сыгранных на баяне, то задорно выданных голосистой девчонкой, то скрипуче выводимых где-то сверху репродуктором. Их сразу окружили её старшеклассницы, искренне радуясь приходу молодой учительницы, жалея только о том, что танцы уже кончились.

– Да мы только в кино и хотели попасть! – Вася светился, как новая копеечка, приветливо встреченный односельчанами.

– А вот и напрасно, Маргарита Марковна! У нас хороший зал, хорошие танцы, – наперебой затарахтели девчонки.

– Ну!.. – вставлял свой веский аргумент и Вася.

– Ладно-ладно! Уговорили! В следующую субботу потанцуем! – с улыбкой обещала Рита.

Кино оказалось старым, скучным, плёнка рвалась несколько раз. Наконец, битком набитый зал двинулся к дверям, и Риту просто вынесло сначала в фойе, а потом и на массивное крыльцо клуба.

Поздний осенний вечер обдавал сырым ветром.

А ей было нестерпимо жарко, и она вытирала мокрый лоб кончиком косынки, повязанной вокруг шеи, поворачивая лицо навстречу ветру.

Вася подошёл подозрительно близко, так что Рита слегка отпрянула.

– Рита Марковна, – вполголоса проговорил он. – Рита Марковна, запнитесь, а то простудитесь.

– Что?.. – у неё медленно вытягивалось лицо и всё более округлялись глаза. – Что я должна сделать, Вася?..

– Запнитесь, пожалуйста... А то простудитесь...

И тут её прорвало: у него был такой несчастный вид, и это так противоречило его словам, что кроме смеха, хохота, от которого просто сводило скулы и заболел живот, она ничего не могла ответить:

– А может, мне... ой, боже мой, я не могу больше... может мне... вообще заткнуться?

Вася подавленно молчал.

– Рита Марковна! Садитесь, подвезём! – закричали с дороги. Зять её хозяев Стёпа-бригадир приехал в кино с семьёй на «вездеходе», и это было наибольшей удачей нынешнего вечера, потому что не надо было объясняться с совершенно растерянным в своих наилучших побуждениях студентом. Не надо было опять пускаться в дебри языков и диалектов. А главное, не надо было поддерживать этот слабенький огонёк надежды на взаимность в наивном и влюблённом Васином сердце...





ЧЕРНОБУРКА


Имя было милое и ласковое – Аля, Алевтинка, но все её звали Чернобуркой. Многие и не знали настоящего имени, даже те, кто говорил ей «ты». В волосах её, густых и чёрных, отражались солнечные блики, но холодновато-белым, серебристым был их отсвет. Кажется, за это Алю и прозвали Чернобуркой ещё тогда, в детдоме, в войну. А может, за узкое нежное личико с тонким нервным ртом, в котором было что-то лукавое, лисье?.. Наверное, за то и другое вместе.

Она только помнит того ушастого мальчишку, который первым так её назвал. Они играли в «ловушки» на пыльной улочке маленького аула, куда на время войны переехал их детдом. Ушастый бросился её догонять и схватил за взметнувшуюся косичку. Девочка резко обернулась и, хищно сверкнув мелкими треугольными зубками, вонзила их ему в кисть. Он отдернул руку, зажал толстым пальцем другой руки каплю выступившей крови, и, слегка побледнев, медленно проговорил:

– А знаешь, на кого ты похожа? У мамы до войны была чернобурка...

– Ха, подумаешь, – мама! Нет у тебя ни мамы, ни чернобурки!.. – зло перебила его Алька.

Мальчик как-то сразу ссутулился, будто постарел. Он ещё чуть помедлил, странно посмотрел на неё, будто ждал чего-то, затем отвернулся и зашагал вниз, к арыку. Алька



видела, как он сел на берегу, обнял руками колени и долго-долго смотрел на воду.

Неведомое доселе чувство заставило её подойти и сесть рядом. Он не повернул головы. Глядя вниз на стремительный поток воды, девочка скороговоркой пробормотала:

– Ты не думай!.. Это я так... У меня тоже никого нет, ещё раньше, чем у тебя...

Ушастый продолжал сосредоточенно смотреть вниз. Аля тихо встала и пошла к дому.

А через несколько дней её с группой других детей отправляли в освобождённый уже Киев; другая часть, среди которых был и Ушастый, оставалась здесь.

Когда грузовик тронулся, мальчик ухватился за борт машины одной рукой, а другою бросил ей на колени небольшой свёрток.

– Это тебе! – крикнул он, спрыгнув в густую пыль и не оглядываясь, побежал назад, к детдому.

В свёртке были два граната и персик сочный-сочный. Персик она тут же съела сама, а гранаты отдала двум одинаковым малышам.

Больше они не виделись...

Училась она весело и шумно, всегда радуясь и «тройкам», и «четвёркам», и очень редким «пятёркам»... После школы закончила педучилище. Смеясь, распрощалась с детским домом и уехала по распределению в райцентр, в маленькую школу-восьмилетку. Здесь её первой любовью стали маленькие первоклассники, всегда нарядные, ухоженные, кстати, привязавшиеся к ней с первой же минуты




её появления в классе

К этому времени она уже была красива, очень красива. Резкая худоба сменилась природным изяществом, стройностью. Особенно хороши были волосы, густые, волнистые, чёрные, блестящие холодноватыми огоньками. Да и глаза были хороши – светло-зелёные, в продолговатом, словно чуть прищуренном разрезе век...

Первое время, почти месяц, она целыми вечерами не выходила из крошечной своей комнатки, наслаждаясь покоем, созданным ею уютом и тишиной. Впервые у неё была своя комната, ключ от комнаты, и она могла сколько угодно подпрыгивать на пружинистой кровати, петь и даже насвистывать любимые мелодии, если хотела...

А однажды в воскресный вечер она надела любимое чёрное платье с узким продольным вырезом, открывающим худенькие матовые ключицы; обулась в чёрные «лодочки», пригладила щёткой растрепавшиеся тяжёлые свои волосы, отросшие до плеч, и пошла туда, откуда доносились звуки знакомых мелодий. Аля чувствовала себя не очень уютно под взглядами прохожих, с любопытством оглядывающихся на неё. Шла, почти не поднимая глаз, впервые ощущая красоту как тяжёлую ношу...

И в фойе «Дома культуры», где по субботам и воскресеньям были танцы под местный духовой оркестр, её тоже заметили сразу. Даже на время замолк предшествующий началу гул голосов и притихли репетиционные редкие вопли медных труб. Румяные девушки в ярких шёлковых платьях с любопытством рассматривали её туфли, платье,



волосы, а юноши поправляли галстуки и принимали небрежные позы...

Она даже не успела растеряться: прямо на неё шёл, слегка покачиваясь, белокурый великан.

– Разрешите? – и, не дожидаясь ответа, властно обнял её за талию.

Во время танца он несколько раз откидывал свою величественную голову и бесцеремонно рассматривал её, бормоча при этом:

– Прелестно! Очаровательно! Шарман! – по-детски прикусывал пухлую нижнюю губу неправдоподобно красивыми зубами.

Его звали Эжен.

«Почему Эжен? – подумала девушка. – Гораздо красивее Женья...»

Но вслух она ничего не сказала: непонятная робость сковала её по рукам и ногам. А он уже не оставлял её ни на минуту и всё время говорил ей о её волшебной красоте, о том, что сегодня самый счастливый день в его жизни

– Почему? – одними губами спрашивала Аля, ожидая и страшась ответа.


– Как Вы недогадливы, юное моё дитя... «Я встретил Вас, и всё былое...»

У неё кружилась голова и хотелось пить.

– Мне жарко! – она умоляюще посмотрела на него. – Я хочу пить.

Он ответил загадочной фразой:

– Заметьте: не я первым это предложил...



Бокал ледяного шампанского и мороженое в маленьком кафе напротив словно бы смягчили какое-то тревожное, неприятное чувство от насмешливых переглядок девушек и презрительных улыбок на недавно восторженных лицах молодых людей, когда они шли к выходу из клуба.

– Куда мы? – робко спросила она, когда он снял её прямо с крыльца и закружился с нею. – «Куда? Куда вы удалились, весны моей золотые дни?..» – опять пропел Эжен.

– Вы артист?


– Почти угадали! Я свободный художник. И я напишу Ваш портрет, моя Саския! – он заглянул ей в глаза своими – очень светлыми, почти без радужки. – А Вы мне, конечно, поможете?

Он поставил её на ноги, опять же властно и нежно повернул к себе лицо девушки и, погладив тыльной стороной ладони подбородок и шею, крепко поцеловал в губы. Она пошатнулась.

– Я не знаю... А что я должна для этого сделать? – пугаясь его прозрачного неподвижного взгляда, она всё же пыталась стряхнуть с себя странное это наваждение.

– А для начала я должен кое в чём убедиться, – он снова подхватил её на руки и понёс в сквер напротив...

...В звенящей тишине ночного сквера Аля слушала перешёптывание липовых листьев. Один из них опустился на её запрокинутое лицо. Он был прохладный и влажный. А может, он стал влажным, коснувшись её ресниц, из-под которых словно бы выкатились остывающие на ветру росинки?..



...Этот, только этот вечер она запомнила весь, до последней минуты, когда он удивлённо спросил её о том, как это ей удалось сохранить девственность в детдоме... И только после этих слов, сказанных им между стряхиванием невидимых соринки с брюк и приглаживанием своей роскошной шевелюры, Аля пришла в себя. Как бы очнулась. Но не было ни отчаяния, ни ненависти к нему. Будто что-то сломалось в ней, как в заводной кукле от неумелых рук... А в ней – от этих его слов. Вроде бы ничего особо обидного и не сказал, но... сломалась и всё.

Потом было какое-то тупое, однообразное и мучительное состояние. Их странные отношения продолжались. Однажды она даже согласилась ему позировать. Но увидев то, что Эжен называл этюдом к шедевру, пришла в ужас: багровые пятна перемежались с ослепительной белизной, на фоне которой чётко прорисовывалось копыто и её собственный слегка раскосый глаз.

– Что это? – у неё даже голос пропал.


– Так и знал, что ничего не поймёшь... Да и откуда?.. – он сочувственно и снисходительно отмахнулся. – Одним словом – детдом...


Она вспыхнула, но тотчас остыла: он ведь был по своему прав!..

– Неужели непонятно? Ведь всё как на ладони!.. Смотри: копыто – что символизирует? – он прикусил в ожидании пухлую свою губу.

– Ну, конь, дорога...

– Вот-вот, уже теплее. А белый цвет?


- 
- Наверное, чистота, невинность.
- Молодец! Чё ж ты овцой-то прикидываешься, а?.. А багровые полосы?
- Может, убийство, гибель...
- Вот именно, потерю этой самой невинности... Да чего ты? – он испугался её мгновенной бледности и бросился к ней.
- Уйди! Уйди!!! — она кричала шёпотом, потому что у неё в гневе пропал голос, но лучше бы орала, так было страшно на неё смотреть.
- Вот дура!.. Да не про тебя это! Про зебру, понимаешь? Не конь – зебра это! «Невинность зебры» – так называться будет эта картина. Чернобурка минуту тупо смотрела на него, такого смешного и почти заискивающего в этом его желании понравиться во что бы то ни стало. И вдруг её прорвало. Дёрнувшись, как от щекотки, она захлебнулась собственным вздохом-всхлипом, сама не понимая, плачет или смеётся, и вдруг зашлась таким неудержимым хохотом, что на столе зазвенела неубранная с вечера посуда.
- Ой, не могу, ше-ше-шедевр... Мамочки!.. Ой, спасите!
- она каталась по старенькому диванчику, не в силах остановиться...
- Замолкла только, услышав стук захлопнутой двери. Из окна увидела, как он, держа под мышкой свёрнутый холст и широко шагая, пересёк улицу, сел в такси.
- Наверное, это был конец. Хотя ещё были редкие встречи, мучительные для обоих...
- А с её стороны это было ожидание. Каждый раз, когда



наружная дверь многоквартирного дома глухо и протяжно стонала и следом раздавался нервный приглушённый стук, она болезненно улыбалась и, усталым движением отодвинув пепельницу с дымящимся окурком, подходила к двери. Прислонившись плечом к некрашеному косяку, медленно поворачивала ключ... Месяца через два он уехал в Москву на конкурс со своею «Зеброй» и больше не вернулся... Говорят, чего-то там добился. Где-то выставлялся. Ради московской прописки женился на немолодой критикессе. А вот живут душа в душу – так рассказывали ей коллеги по работе...

И ушли в прошлое светлые девочки в белых фартучках и кружевных воротничках, которым больно было отдавать своё теперешнее опустошённое сердце. А руки её, ещё недавно с таким, почти детским старанием выводившие на доске простые, но полные тепла и нежности слова – «мама», «си-то», «о-са», – теперь привычным, заученным движением выбивали фиолетовые цифирки на бледно-серых чеках. Вместе с ними бросала в окошко покупателям одни и те же слова: «Следующий... В какой отдел? Следующий...»

А в душе поселилась злость. Сначала маленькая, злая обида. Потом она стала расти и переполнять душу. Хотелось делать людям больно, грубить им, смеяться над ними. Сначала сотрудницы пытались как-то наладить отношения с молоденькой кассиршей, приглашали в гости, напрашивались «на чаёк», но натыкались на холодное непонимание, равнодушие, а то и грубость. А ровесницы-практикан-




тки, ежегодно стажировавшиеся в большом стеклянном «Универсаме», просто боялись холодного огня зелёных насмешливых глаз и её презрительной улыбки. И Чернобурка жила в себе, жила, копаясь в своих переживаниях, в своей насторожённой, такой ранимой душе. Но где-то на самом её доньшке крошечным «солнечным зайчиком» вздрагивала, оживала иногда надежда...

И однажды совсем рядом остановился кто-то в тяжёлом дорожном плаще с пыльными мохнатыми ресницами. Хотел что-то сказать и замер, глядя на её руки. Ей показалось, что он читает их... Что же он в них увидел?.. Неужели прочёл, как в глазах, её невысказанную боль?.. Может, почувствовал всю тревожную усталость совсем ещё молоденькой девушки?.. А она неожиданно для себя сняла большие очки с затемнёнными стёклами, за которыми пряталась от людей, и её светло-зелёный в чёрных ресницах взгляд встретился с ласковыми карими глазами и просто растворился, утонул в них...

Он проводил её гулкими ночными улицами, разговаривая с нею без тени наигрыша, серьёзно и внимательно. Она плохо слушала его, взволнованная и растроганная. И думала о том, что где-то уже видела эту мягкую складку у губ и смешные оттопыренные уши...

Уже дома, пытаясь воспроизвести в памяти его загорелое, обветренное лицо и медленно помешивая остывающий чай, уловила в нём что-то общее с тем детдомовским мальчишкой, который остался в маленьком знойном ауле. И это сделало его ближе и понятней.



...Он оказался геологом и однажды достал из рюкзака несколько бесформенных кусков породы; один из них положил на ладонь. Камень был тёплый: он хранил тепло его рук... Ей так нравилось, когда он, рассказывая, внезапно спрашивал:

– Правда?.. Верно?..

Чернобурка поспешно кивала головой и слушала, слушала... О камнях он рассказывал с нежностью, как о людях...

Каждый вечер этот странный человек ждал её у магазина и провожал тихими безлюдными улочками до самого дома, а потом смотрел, как она поднимается на четвёртый этаж, включает свет в своей комнатке и подходит к окну.

Как он потом добирался до дальней слободки, где разбили свой лагерь геологи, она не знала, а спросить – стеснялась: ещё подумает, что хочет пригласить к себе... По дороге, слушая его, она вдруг поймала себя на мысли, что ей тоже хочется рассказать ему о самом дорогом – о своих первоклашках, таких наивных и восторженных, о кляксах, неумело затёртых до дыр. Но боялась расплакаться...

...У него были дети – дочка-школьница и маленький сын, о котором он рассказывал ей приглушённым шёпотом. При этом на загорелой его шее неровно билась тёмная жилка, и Чернобурка понимала, что он тоскует по детям в долгих своих странствиях... Дети... Девочка, наверное, такая же, как её ученицы, от которых она ушла... А сын совсем маленький. Какой он?.. У него, наверное, такие же тёмные доверчивые глаза и пушистые ресницы... Она

спросила его об этом. Он улыбнулся: нет, сын был светлоглазый и озорной.

Светлоглазый? Значит, похож на мать... Конечно, у них есть мать... Девушке вдруг стало трудно дышать: ведь ей придётся с ним расстаться!.. Забывшись, она потрогала эту взволнованную жилку на его шее и провела пальцами по глазам.

Он взял её руки, повернул их ладонями к себе и уронил в них большую, темноволосую голову...

Аля взглядом одним ласкала её и смотрела, как неровно бьётся под тёмной кожей эта ниточка, по которой течёт кровь из самого сердца... И больше не было злости в душе. Была только разрывающая душу нежность к этому человеку за то, что окружающее обрело свой цвет, свои оттенки, свои звуки.

Она верила, она знала: ей опять будут улыбаться её малыши из 1-го «А»... С этого дня даже небо казалось ей выше и чище...

И однажды застенчивым весенним утром из маленькой тихой комнаты на четвёртом этаже слышалась песня. Соседи удивлённо переглядывались и улыбались друг другу. Это была простая детская песенка о солнце и «солнечном зайчике», но её пела Чернобурка, и это радовало их.





НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ ГЕНСЕКА

– Пиночетик! Ты сегодня уймёшься, наконец?! – кричала бабушка трёхлетнему Митьке, дорвавшемуся до книжных полок и сметавшему их содержимое на ещё влажный после мытья пол.

Толстый кот Маркиз недовольно фыркнул и отправился на поиски более безопасного лежбища.

Рита, опершись на швабру, от души смеялась и над проделками неугомонного шалуна, и над барской спесью четвероногого аристократа, и над бабушкиной очередной импровизацией с именами и прозвищами.

– Ну, бабуль, ты даёшь! В прошлый раз была, кажется, «банда Тито» и какая-то «антипартийная клика»... А сегодня уже до «Чёрного полковника» добралась?..

– А что? Ты посмотри на него! Это же настоящий хунвэйбин! – не унималась бабушка, несмотря на Ритины стенания от хохота. – Разве то, что он вытворяет в доме, не похоже на «культурную революцию по-китайски»?!

Внучка, втрое согнувшись, даже швабру с тряпкой уронила, и та, падая, расплескала воду из таза. На шум выскочила из столовой Ларуся, младшая бабушкина дочь, Митина мама, подхватила поскользнувшегося на мокром полу сынишку, не забыв его легонько шлёпнуть.

– Мам!- воскликнула она, тоже смеясь. – Ну, остановись же на чём-то одном! Что ж ты нам политинформацию в новогодний вечер выдаёшь? Или ты делаешь обзор всех

военных переворотов за истекший период?.. Так есть кому и без тебя!..

– А ну вас! Все вы хороши, как я погляжу! – отмахнулась бабушка, стоя у догорающей русской печи и лучась всем своим круглым румяным ликом. Вот она шутиливо замахнулась хватом на прошмыгнувшего мимо шкодливого внука, но тот, весело взвизгнув, повис на шее только что вошедшего отца. Борис с громким топотом стряхивал остатки снега с валенок.

– С наступающим, родичи!.. Ах, какая чистота – «шик, блеск, красота!» – пропел он. – Знаю, знаю, чья работа, Ритуля! Твой почерк ни с чьим не спутаешь!.. Ну, как? Все в сборе? – он подёргал легонько «конский хвостик» племянницы и ещё раз по-хозяйски оглядел просторный свой новый дом.

– Вроде бы Мирон обещал заглянуть на огонёк, да и Шурика прихватить... – полуспросила-полуответила бабушка. – Да вот и они, кажется...

На крыльце застучали подковками сапог, зашуршали ребристым веником, обметая снег, Ритины двоюродные братья, скорее годившиеся ей в дядя. Зычными своими, «командирскими» голосами здоровались они со всеми, а гостью-кузину, приехавшую на свои первые учительские каникулы из Крыма, и малыша крепко целовали в щёки, неумело суя им в руки какие-то гостинцы.

– Ну, что, учителька? Что, крымская роза? – наперебой гудели они. – Подмерзаешь у нас на Полесье? А?..

– Это тебе не подснежники в феврале собирать! – выда-

вал свои познания о Крыме Шурик, навестивший пару раз сестрёнку в её студенческие годы.

– Нет, неужели правда? Подснежники в феврале?! – разом заговорили Мирон и Борис.

– Да запросто! – горделиво отвечала Рита. – Это называется у нас «февральские окна». Бывают и «январские окна», когда очень тёплые деньки, примерно, с недельку постоят. А после в лесу и появляются белые подснежники... Как свечечки на тонких ножках... Не насмотреться...

– Чудо прямо!.. Как в сказке у Маршака, кажется... Да? – это вышла из спальни принаряженная, похорошевшая Ларуся.

– Да-да, «Двенадцать месяцев» она называется! – поддержала её Рита. – Кстати, сказка-то о Новогодней, о сегодняшней ночи!


– Вот-вот! Не пора ли за стол, а то что-то похолодало, бабуль!

– Да стол давно накрыт, а вы чего-то в передней да на кухне топчетесь! – отозвалась из столовой чем-то ещё позвякивающая хозяйка. – Проводим с прохладцей старый год, то есть холодцом, фаршированной рыбой, салатом «Оливье» – как же без него?! А уж Новый встретим горячо – мясным пирогом да кроликом в соусе..

– Ой, мам, не томите! – воскликнул проголодавшийся зять.

– Мите, Мите! – подхватил примолкший было на плечах отца малыш.

Все рассмеялись:



– Вот и главный едок отозвался. Ну-ка, на свой стульчик! Дай отцу поесть! А самому спать давно пора! – Ларуся решительно протянула руки к сынишке, но тот намертво вцепился в отцовы кудри так, что Борис дурашливо заорал, морщась от боли:

– Пираты скальп снимают! Пощадите, братцы!

– Митька! – топнула ногой Ларуся.

– Да ладно тебе, дочка: сын отца днями не видит. Дай им порезвиться вволю хоть в праздник!

...За овальным столом, касаясь друг друга плечами, громко и весело переговариваясь, сидели Ритины родные, вырастившие её после смерти совсем ещё молодых родителей.

И девушка была счастлива видеть и слышать своих близких, изредка вставляя словечко в старые семейные байки... Приближался Новый 197... – й год, и лицо красивого бровастого Генсека мелькало и мелькало на чёрно-белом экране. Никто особенно не вслушивался в его южно-украинское га-канье, и бабушка досадливо махнула зятю:

– Да приглуши ты телевизор! Дай же отдохнуть нашему гЕнзеку! – и все рассмеялись: бабушка, как всегда, пряча улыбку, вроде бы нечаянно перевирала слова, делая ударение на первом слоге.

– Хорош «гусёнок»! – смеясь, комментировал идишское словечко Мирон. – Да это «гусак» целый!

– Только бы к кукурузе нас не стал принуждать, как тот, «вчерашний»! – покрутил головой Шурик.

– Нет, этого я не выдержу! – подала голос Ларуся. – Ма-

ло мне маминых выступлений в будни, так ещё и в праздник слушать политические бредни.

– ...за овальным столом! – с важным видом продолжила Рита.

– Вот именно, девочка! Но лучше расскажи нам, когда ты с поезда домой вчера добралась? – ехидненько заметил Борис, с аппетитом уплетая золотистые ломтики фаршированной рыбы. – А то я так и не дождался – заснул...

И все наперебой стали, смеясь, рассказывать друг другу, как Риту по приезду в городок на каникулы, по четверть часа задерживая у каждого крылечка, все соседи на родной улице расспрашивали о студенческой жизни. А бабушка, не забывая подкладывать детям и внукам в тарелки, притворно возмущалась:

– Нет, вы подумайте: чемодан и сумка уже два-три часа дома – соседские пацаны летом на велосипеде, а зимой на санках привозят – а моей внучки всё нет!

– Ну, что Вы, мам, – подхватывал зять, – ведь ей Фишбейны который год обещают лучшего жениха из Черновцов доставить!

– Только в случае повышенной стипендии! – смеясь, подтвердила Рита. – Но теперь её нет!

– А старая Ента с миской и ложкой в погоне за внуками не забывает им ставить мою внучку в пример... Дед Арончик расспрашивает о погоде, тётя Милька – о крымских ценах, дед Шмерко о здоровье родни, но Хинечке есть дело до всех её экзаменов, особенно по политэкономии! Причём, спрашивает по всей строгости, будто допрашива-



ет!

– Ох, уж эта бабушка Хиня – я её с детства обожаю... Особенно её песни на идише... – с нежной улыбкой вспоминала Рита.

– Не знаю, не знаю, как ты там зигзагами носишься от дома к дому, но поезд приходит около восьми, а моя внучка – около одиннадцати только дома!..

И все, будто опомнившись, посмотрели на часы. До Нового года оставалось менее четверти часа, и опять во весь экран что-то безголосо гудел Генсек.

Бабушка поспешно вытащила из духовки кролика, запечённого в каком-то ароматном, вишнёвом соусе, и румяный, высокий крымский пирог – «кубете». Все ахнули и снова плотно придвинулись к столу, но глянув на уснувшего Митьку, примолкли.

Борис чуть прибавил звук, осторожно выпростав руку из-под головки тихонько посапывающего сынишки.

– Вот сейчас поздравит нас «дарагой таварищ»...

– Да пора уже, в самом деле...

– Ну, и разошёлся нынче наш «пурец»*!

Генсек говорил уже не менее пяти минут... Ещё пару минут прошли в томительном ожидании.

Между тем кролик остывал и как-то усыхал на глазах, а пирог оседал и оседал...

В это время из кухни, потягиваясь и сыто жмурясь, показался толстый кот Маркиз.

– О! Ещё один господин явился! А тебе что тут надо, Марксист?! – бабушка даже вздрогнула от прорвавшегося

хохота. – Да что это вы расшумелись, дети? Ну, ошиблась, извините старуху... Не умею я по-французски... Хотела сказать – Маркиз, конечно... Чшш!.. Дитя вон разбудили!..

И вправду – Митька проснулся, протёр кулачками глаза, глянул на чёрно-белый экран телевизора, улыбнулся Генсеку как старому знакомому и закричал:

– Зек! Пливет! Хаёсая песня!..

**пурец (идиш) – господин*





МАХА


новелла

Влюблённые расстаются в полночь. Любящие на рассвете. А мы? Ответь мне, кто мы?.. Помнишь зелёный плацкартный вагон и смешного мальчугана, деловито переползавшего из одного купе в другое? И добрую старушку, похожую на стряпуху, шумно угощавшую меня удивительно пахучим вареньем из северных ягод? И серебристые слезинки дождя за толстыми вагонными стёклами?.. Помнишь? Нет, ты не помнишь: тебя тогда ещё не было... А когда ты был?..

Помню, как все уснули, а я лежала лицом к стене и считала до ста одного, чтобы уснуть, потому что было жарко, и колёса уговаривали не спать, обещая что-то хорошее через час, через час, через час...

Потом поезд остановился на пару минут. Маленькая станция или разъезд. Хлопнула дверь. Кто-то вошёл. Но я уже досчитала до восьмидесяти трёх и не хотелось оборачиваться. Я продолжала шёпотом, старательно зажмурив глаза: «Восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь...»

Кто-то прошёл мимо, стараясь идти осторожно и тихо, но и лёгкого порыва ветра было достаточно, чтобы все непослушные мои прядки, старательно причёсанные и убранные назад, скользнули вниз и закрыли мне всё лицо и шею... «Девяносто три, девяносто четыре, – почти с отча-



янием шептала я, чувствуя, что если шевельнусь, то уже не усну...

А прядки насмешливо щекотали шею и губы и шептали в самое ухо в такт колёсам: «Через час, через час, через час...»

Потом? Потом было «девяносто восемь», и я почувствовала, что кто-то коснулся моей головы и погладил волосы. Я вздрогнула, резко вскинула голову – прядки, вздохнув, с лёгким шорохом разлетелись.

На меня, улыбаясь, смотрели мягкие карие глаза из-под сведённых у самой переносицы бровей; губы слегка шевелились, словно ещё помогали мне считать...


Это был ты. Ну, конечно, ты!..

Я приподнялась на локте, и тогда в лице твоём что-то изменилось: брови, будто испугавшись чего-то, разбежались в разные стороны, губы так и остались полуоткрытыми, но глаза...

Ты стоял, не двигаясь, а мне показалось, что глаза твои втянули меня в себя, потом вытолкнули и так смотрели, смотрели, смотрели...

А я сначала ничего не поняла: ты как смотрел — на меня никогда так не смотрели... Наконец, я прочла в твоём взгляде восхищение, правда, совершенно детское, искреннее и наивное... И тогда я смутилась и поспешила отвернуться.

– Не надо! – и в твоей приподнятой руке и умоляющем шёпоте я опять услышала что-то мальчишески-наивное, неповторимое.



Я в ответ улыбнулась и так продолжала смотреть на тебя.

А ты присел на корточки у вагонной полки, так что наши лица оказались на одном уровне, и спросил шёпотом:

– Кто ты?

Свет от алой моей кофточки падал тебе на подбородок и резко оттенял холодные овалы щёк... От этого ты казался необычным, сказочным, и я молчала, глядя то на крутые завитки чёрных волос у тебя на висках, то на большие добрые руки с весёлыми коричневыми трещинками на запястьях.

– Кто ты – Маха?

Я тогда не знала, что это такое – «маха» и только медленно покачала головой. Ты улыбнулся. Как ты улыбался!.. Вместе с губами задрожали в улыбке и крутые завитки на висках, улыгнулись брови, и весь ты, большой, добрый, похожий на мавра.

– А ты знаешь, кто это махи?

Я опять покачала головой, неотрывно глядя в твои глаза. И было в них что-то ласковое, чуть насмешливое и мудрое, как будто ты знал меня давным-давно.

– Хочешь, я расскажу тебе сказку? Ты спи, а я расскажу тебе сказку, – и ты положил мне на лоб большую прохладную ладонь.

– Махи – это прекрасные девушки из народа в Испании. Лучше всех их живописал великий Гойя.

Так я впервые узнала о Фейхтвангере, о Гойе, о махах. С тех пор я всегда думала, что у Фейхтвангера такой же глу-

ховатый, тёплый голос, такие большие и прохладные ладони и разбегающиеся в улыбке брови...

Мне стало спокойно и хорошо. Я закрыла глаза. И мгновенно смешались в одно голубые слезинки дождя за вагонными стёклами, запах варенья из северных ягод и весёлые трещинки на умных и сильных руках.

– А ты похож на мавра! – вслух подумала я, не открывая глаз.

– Не знаю. Может быть... – в твоём голосе угадывалась улыбка. А колёса всё так же пели, одновременно убаюкивая, предупреждая и тревожа: «Через час, через час, через час...»

И я уснула, но, засыпая, я вроде бы слышала, как заторопились, заволновались, колёса, обгоняя друг друга: «Сейчас, сейчас, сейчас...»

А когда проснулась, по узкому проходу плацкартного вагона, толкаясь и громко переговариваясь, пробирались увешанные узлами новые попутчики. А из соседнего купе доносился лепет вчерашнего малыша, который уже не ползал, а деловито переступал вязаными пинетками, держась за нижние полки вагона. Вот он, пыхтя, подобрался ко мне. Я протянула к нему руки, и вдруг у меня из-под щеки выскользнул листочек бумаги, наспех вырванный из записной книжки. Что-то дрогнуло во мне, я торопливо схватила его. Круглые большие буквы рванулись ко мне, наскакивая друг на друга:

«Ты уснула, Маха, а я всё так же сижу и смотрю на тебя. А через час мне выходить. Ты – прелесть, Маха,

будь всегда такой же юной и непосредственной. Мавр»

Малыш уже стоял совсем рядом, цепко держась за моё плечо, и что-то доверчиво лепетал мне, обдавая тёплым молочным дыханием. И только колёса сердито стучали, словно упрекали меня в чём-то: «Через час... через час... через час...»



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТЬ «Имя твоё»	3
РАССКАЗЫ	
<i>I. МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ</i>	
«Шалом, мамі!»	106
Танцор на крыше	119
Несчастье по имени Нисим	125
Азаля	135
Видит Бог...	144
Белушка	156
<i>II. ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ:</i>	
Новый год в Кабанкино	171
Кукла.	177
«Эта женщина минула...»	186
«Белый налив» из сада	203
Брат мой Мирон	213
Дядины часы	241
Студенточка	263
Этот влюблённый Зингер	279
Сарафанчик с карманом	285

III. ИЗ ДНЕВНИКА УЧИТЕЛЬНИЦЫ:

Первое сентября	292
Тетради по развитию речи	304
«Здравствуй, милая картошка...»	316
«Улетай на крыльях ветра...»	327
«Замок феодала»	336
Превратности любви	351
Чернобурка	359
Новогодняя песня генсека	370
Маха	377

